

Е. ЭТКИНА

**ЗАПИСКИ
НЕЗАГОВОРОЩИКА**

**ЗАПИСКИ
НЕЗАГОВОРЩИКА**

Efim ETKIND

**NOTES OF A
NON-CONSPIRATOR**

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE

LONDON

1977

Ефим ЭТКИНД

**ЗАПИСКИ
НЕЗАГОВОРЩИКА**

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE

LONDON

1977

Published by
OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE Ltd.
40, Elsham Rd. London W14 8HB

in association with

OXFORD UNIVERSITY PRESS
LONDON AND OXFORD

who will publish an English language edition
under the title

NOTES OF A NON-CONSPIRATOR

ALL RIGHTS RESERVED. No part this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Overseas Publications Interchange Ltd.

Обложка
Вильяма Бруя

ISBN 0 903 868 091

© EFIM ETKIND 1977
Printed in France by
Première Imprimerie Ukrainienne
3, rue du Sabot, 75006 - Paris

*Екатерине Зворыкиной,
разделившей мою судьбу.*

ВСТУПЛЕНИЕ

*Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*
Анна Ахматова. 1961

На Западе нередко сталкиваешься с полным отрицанием того, чем жила интеллигенция Советского Союза на протяжении почти шестидесяти лет, — всей созданной ею гуманитарной науки и литературы, всех ее поисков, если только они не носят явно оппозиционного характера. Некоторые из наиболее радикальных «заграничных русских» закрывают глаза на интеллектуальную жизнь Советской страны, стараясь вообще ее не видеть, словно этих шести десятилетий и вовсе не было или словно в течение всего этого исторического периода имело место только одно: насилие партийно-государственной власти над умами и душами граждан. Это — вульгаризация, а значит искажение реальности, ведущее к ложным выводам и логическим тупикам. Российская культура пробивала себе дорогу, одолевая преграды, которые воздвигали на ее пути гасители мысли,

разрушители поэзии, душители театра, живописи, музыки. Скажу больше : борясь за право дышать и жить, культура крепла. Этот процесс заслуживает изучения, — оно едва началось.

Официальная история изображает путь нашей культуры как однонаправленный и триумфальный. Когда читаешь что-нибудь вроде « Истории русской советской литературы » 1974 года (под редакцией П.З. Выходцева, М., « Высшая школа »), то кажется, будто сознательно провоцируется негодование осведомленных читателей. « Социалистическое все более становилось самим воздухом поэзии и органическим качеством духовного мира нового человека, выразителями которого осознавали себя новые поэты... В камерную лирику А. Ахматовой, главным образом через воспоминания о прошлом, начинает просачиваться тревожная мысль о необходимости снова научиться жить, о ценности активно-жизненного искусства ("И упало каменное слово"...) » (стр. 306-307). Всё тут в этой характеристике поэзии 30-х годов, движется « вперед и выше », и каждое слово — ложь. Характерно, с какой пошлой примитивностью делается фальсификация : *Надо снова научиться жить* — строки из « Реквиема », куда входит стихотворение *И упало каменное слово*, — « ценность активно-жизненного искусства » тут не при чем : у Анны Ахматовой речь идет о приговоре по делу ее сына Льва — это и есть « каменное слово », и даже стихотворение называется « Приговор » (1939) — ей *надо снова научиться жить* одной, без сына :

*И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.*

*У меня сегодня много дела :
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить, —*

*А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.*

Я цитировал новейший университетский учебник, — а ведь в 1974 году его издатели могли бы догадаться, что время безнаказанных фальшивок миновало, что их, фальсификаторов, непременно схватят за руку.

Такова одна сторона. Восточная.

Но есть и другая. Западная.

С этой другой стороны советская литература трактуется в противоположном и, увы, не менее ложном освещении. Об Анне Ахматовой в западных работах можно прочесть, что она изначально была внутренним эмигрантом, что жила она в Советской России, отделяя себя от окружающего и от людей, ища уединения, несоприкосновения с реальностью, обществом. И это — неправда. Менее броская, чем прямое мошенничество Выходцева, но тоже — искажение. Анна Ахматова сделала в 1917 году признание — в знаменитом

стихотворении *Когда в тоске самоубийства*: ей слышится сатанинский голос, утешно зовущий:

*Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.*

*Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид...*

Почему *черный стыд*? Не было же на Ахматовой вины за кровь, лившуюся в революционной России, никого она не убивала. Это, как мне кажется, и есть высокая, да и единственно возможная позиция поэта, ответственного за свой народ, за все, что случилось с ним и что делает он. Сорок пять лет спустя Анна Ахматова могла гордо произнести слова, вынесенные мною в эпиграф.

Это не внутренняя эмиграция, а соучастие. Соответственность.

Вот и автор этих строк несет ответственность за все, чему был свидетелем и в чем участвовал. Он не может стоять в стороне и, поглядывая на оставленную страну, со злорадством писать о бедствиях и преступлениях. Злорадство — удел посторонних.

Стыд — тот самый *черный стыд*, о котором сказала Ахматова, — это чувство, предполагающее сопричастность. Я (да и мои сверстники) рано и остро ощутили его. До войны и много лет после нее все мы жили в коммунальных квартирах, где

на кухне возле керосинок и примусов толклись хмурые хозяйки — у каждой был свой, отдельный электросчетчик, свой звонок перед входной дверью (« К Романовым — 6 звонков », « К Лурье — два длинных и три коротких »), свое сиденье в уборной. Но не кухни меня удручали, а запрет приглашать иностранцев. « Примите ваших знакомых в ресторане, — советовали в Союзе писателей, — в коммунальную квартиру их звать нельзя ». Почему же, собственно, нельзя? Как живем, так и живем. Чего нам бояться? Кто нас осудит? Нельзя. Иностранцам нельзя видеть наш быт. Каждый раз, когда я сталкивался с этим « нельзя », меня охватывали стыд.

Знает ли читатель, что такое — « показуха » ?

В Советском Союзе есть автомобильные шоссе, разрешенные для иностранцев. Они покрыты гладким асфальтом. По обе стороны от них — нарядные домики, окруженные палисадниками с клумбами, киоски с цветастыми матрешками. Позади кустов — проселочная дорога, утопающая в лужах. Там пестрых киосков нет, разве что случайный сельмаг с хлебом и водкой. Сельмага иностранцы не увидят, в грязи не застрянут, и доедут они до гостиницы, не нарушив привычки к комфорту. В « Астории » для них все приготовлено — лишь бы они не столкнулись с реальностью; даже магазин « Березка », где в изобилии на иностранную валюту — отборные товары. Вокруг гостиницы все очень красиво и торговля приятная — иностранцы далёко не ходят, в пределах же их пеших прогулок обдуманно все. В мясной лавке за два квартала отсюда мяса нет,

зато здесь — богатые магазины с никому не нужными, но импозантными телевизорами и старинным фарфором.

Это — «показуха».

Она во всем... Советский Союз демонстрирует себя иностранцам, построив фанерные макеты и раздумяившись театральной помадой.

Каждый раз, видя «показуху», я испытывал горчайший стыд. Словно это обманываю я — ну, скажем, скрываю от любимой женщины, что на мне парик, а под париком плешь.

На улице, где мы жили в Ленинграде, росли небольшие липы — они создавали уют и прелесть довольно-таки неказистого, пыльного проезда, превращая его в тенистый маленький бульвар. Однажды утром я увидел самосвал, увозивший последние из наших липок, — следом за самосвалом уехал и экскаватор, их корчевавший. Я остолбенел: кому понадобились эти деревья? Позднее выяснилось, что через два дня в Ленинград приезжает Никсон, и вот на одной из улиц, по которой пролегал его маршрут, надо было навести красоту — туда липки и увезли. Дело было в мае; деревья потом засохли. Но глаз президента скользил не по пустырю, а по зеленым кронам. А на других улицах по его движению дома помыли и даже покрасили — всюду только первый этаж: выходить-то он не станет, а из машины виден только первый этаж.

И это — показуха, на сей раз народ назвал ее: «Книксон».

И это — внушало мне стыд.

В конце войны советские войска вошли в Европу, и я прошел с нашей армией через Румынию,

Венгрию, Австрию, Болгарию. Какое счастье, какую гордость испытывал каждый из нас, офицеров армии, победившей фашизм! Как любили нас, как рады были нам румынки и болгарки, бежавшие нашим танкистам навстречу с цветами! Я был счастлив и горд, потому что это мы победили нацистов, это мы освободили наших друзей. А когда воины-освободители, нахлебавшись до безумия молодого вина, врывались в часовой магазин и набивали мешок часами, так что весь огромный мешок шевелился и тикал, как живой, — я испытывал мучительный стыд, я не мог смотреть в глаза тем румынам, с которыми вчера обнимался. Потому что освобождали — мы, и грабили — мы.

И когда войска стран Варшавского пакта вступили в Чехословакию, я понял моих пражских и брноских друзей, переставших мне писать и отвечать на письма: они считали и меня ответственным за оккупацию. Ближе всего мне были пронзительные строки А. Твардовского, ходившие по рукам:

*Что делать мне с тобой, моя присяга?
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречала в шестьдесят восьмом?*

Не забуду патетических строк другого советского поэта, которые родились после двадцатого съезда и тоже проникнуты трагизмом соучастия:

*Мы все — лауреаты премий,
Врученных в честь него,*

Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.

Мы все — его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда;

Таившиеся друг от друга
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей;

Для статуй вырванные тонны
Всех каменных пород,
Залившие людские стоны
Водой хвалебных од;

Глашатаи высоких, добрых
И светлых аксиом, —
За кровь Лубянки, темень в допрах
Ответственность несём.

Пускай нас переметит правнук
Презрением своим,
Всех одинаково, как равных —
Мы сраму не таим.

Да, очевидность этих истин
Воистину проста.
Но не мертвец нам ненавистен,
А наша слепота.

Они и мы... Поймут ли на Западе, как трудно, как иногда невысказанно противопоставить друг другу эти местоимения? В странах западных демократий существуют политические партии, и члены одной говорят про других: «они». Или левые говорят о правых: «они». Или молодые о старших. Или христиане об атеистах. Все отчетливо и обозримо. Мой коллега Н. — член социалистической партии, потому что он убежденный социалист, а не потому, что кто-нибудь его заставил поступать в нее; партия не сулит ему ни выгод, ни неприятностей. Он остается самим собой; разочаровавшись в социалистических идеалах, он, может быть, выйдет из партии, а, может быть, вступит в другую. У каждого — своя газета, свой круг, свой клуб. У нас все иначе, и люди Запада понимают это с трудом.

Вот перед вами человек с партийным билетом КПСС. Кто он? Относится он к «ним» или к «нам» (безразлично, с какой позиции употреблять эти местоимения)?

Может быть он старый ленинец, с наивной твердостью верящий в идеалы семнадцатого года? Может быть, солдат антифашистской войны, вступивший в партию в год сталинградской битвы, когда всех объединял единый порыв и единая вера в более справедливое будущее? Может быть карьерист и проходимец, ищущий легких путей для преуспевания? Может быть он, слабый и беспринципный, дал себя запугать? Может быть он политический идеалист, убежденный в том, что честные люди должны массами вступать в партию, чтобы обновить ее состав и облагородить

руководство? Может быть — простодушный конформист, который принимает за чистую монету все, что говорит ему радио и что пишет «Правда»? А, может быть, скептик, давно разуверившийся в былых иллюзиях, но обреченный носить свой партбилет либо вечно, либо пока его еретические взгляды не прорвутся наружу и не дадут повод для изгнания? Выйти из партии нельзя: такой поступок равен либо гражданскому самоубийству, либо заявлению о выезде из страны. И, конечно, каждый член КПСС несет ответственность за все, что делает его партия и даже за все, что пишут ее, этой партии, газеты. Он несет ответственность даже в том случае, если сам не участвует ни в чем и даже если не знает ни о чем. И не только потому, что в его кармане лежит красная книжечка; как член партии, он обязан подчиняться закону «демократического централизма»: отстаивать решение, принятое (пусть против его воли) большинством, под каким бы внешним прессом это решение ни принималось. Каждому писательскому собранию предшествует партийное; там еще можно робко высказать собственное мнение, но потом, на общем собрании с участием беспартийных, всякий коммунист обязан (под страхом исключения!) отстаивать партийную, там выработанную, позицию. Он уже не личность, а винтик механизма. И он, относящийся к «нам», волей-неволей становится — «они». Член партии редко соглашается на бунт. Его покорность можно осуждать и даже ею возмущаться, но миллионы и миллионы таких вынужденных покорностей — это реальный факт, который игнорировать нельзя и который одновре-

менно и драма, и вина. Партия — это всемогущая церковь, а много ли бывало еретиков ?

Беспартийные в Советском Союзе неизбежно тоже становятся участниками дьявольской круговой поруки — если только они хотят делать свое дело, а не смотреть со стороны. Можно ли их осуждать за это ? Врачи — лечат, композиторы — сочиняют музыку, журналисты — пишут статьи, учителя — обучают, инженеры — выполняют план. Люди добросовестные стараются делать свое дело как можно честнее; они творят культуру своей страны, нередко задыхаясь в безвоздушном пространстве и содрогаясь от негодования, приходя в ужас от навязанного обществу лицемерия и от сознания собственной безнравственности. Лишь немногие становятся в ряды открытой оппозиции — буквально единицы из двухсотпятидесятипятимиллионного народа. Потому что — во имя чего ? Мало кто верит в то, что слабые силы одиночек изменят строй. Мало таких, кто видит нравственный смысл в отъезде за границу, в решении, которое принимаешь лично для себя, отделяя свою судьбу от судьбы страны и общества. Мало героев, согласных уплатить несколькими годами в каторжном лагере за правдивое слово или смелый поступок.

Они — и мы... Насколько легче жить при такой поляризации ! И как трудно — при нерасчлененном, диффузном, непроявленном обществе, когда среди нас так много их, а среди них так много нас.

Эта книга написана на Западе, когда я был уже под чуждым небосводом, и даже под защитой

чуждых крыл. Я мог позволить себе рассказывать многое, чему был свидетелем и чего оказался жертвой. И все же я смотрю на события, происходившие в Советском Союзе, не извне, а изнутри, и рассказываю обо всем не для того, чтобы обвинять мою страну. Она моя, и другой у меня нет.

Глава первая

НАКАНУНЕ

В перерыве между лекциями меня разыскала лаборантка и сказала, чтобы я позвонил в ректорат. Ничего странного в этом не было. Странен был голос ректора — обычно медлительный, официально равнодушный и все же подчеркнуто приветливый, на этот раз он звучал приглушенно, торопливо, нервно :

— Пожалуйста, зайдите ко мне. Да, да, сейчас, лучше всего сейчас, не откладывая.

— У меня еще лекция. После лекции будет поздно ?

Короткая пауза, и нервно приглушенный голос сказал :

— Ну, эту лекцию прочитайте, потом приходите. Буду ждать.

Я ничего не понимал, и даже предчувствие ничего мне не говорило, пока вдруг не услышал — *эту*. *Эту* : последнюю. *Эту* : так уж и быть, сделаю вам поблажку, великодушный подарок; мы много лет знакомы, на большее не рассчитывайте, я

бессилен, ничего для вас не могу, я чиновник, но все же здесь я пока хозяин, «эту лекцию прочитайте», и потом не считайте меня злодеем; я уже все знаю, вы более не профессор института, вас на пушечный выстрел нельзя подпускать к студентам, я рискую ректорским креслом, прошу вас это сознавать и на будущее запомнить, но я беру на себя ответственность, буду преступно либерален. «Эту лекцию прочитайте, потом приходите».

Все это мне почудилось в голосе человека, которого я знал давно, и с которым меня связывала не только многолетняя работа, но и взаимная симпатия. Ректор педагогического института был и в самом деле чиновником исправным, неукоснительно выполнявшим требования своего начальства, ленинградского обкома, но был он и феодалом, обладавшим всей полнотой хозяйственной власти в пределах своих владений. Позднее оказалось, что внутри своего института он создал целый строительный трест, принимавший заказы даже со стороны, от посторонних учреждений, и существовавший вполне законно, но в то же время и наперекор установившимся нормам, нарушая привычную иерархию, обходя правила социалистического хозяйствования.

В этих действиях Б. несомненно обнаружили и смелость, и творческая инициатива, и бурная энергия, и, главное, мироощущение, свойственное феодалу новейшей эпохи.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ВЕЛОСИПЕДИСТАХ И НОВЫХ ФЕОДАЛАХ

*Typischer Radfahrer : nach oben
buckeln, nach unten treten.
Deutscher Spruch 1).*

« Феодал » — это не обмолвка, а, может быть, наиболее точное определение для такого человека, как Б., весьма типичного для своего времени и своей страны руководителя. Феодал обязан бесприкословным повиновением сюзерену, ибо он вассал, но ведь и сам он сюзерен, обладающий властью над вассалами. Этот особый феодально-психологический комплекс — соединение бесправия и власти — характерен для значительной части советских директоров; каждый из них одновременно и вассал, и тиран. В ЦК, в обкоме, в министерстве им помыкают, на него могут кричать, его матерят как нашкодившего подростка, заставляют топтаться в приемных, представлять ненужные отчеты и сводки, увольнять работников, которых он ценит, и принимать других, которые ему не нужны и только болтаются под ногами, мешая заниматься делом; он привыкает к повиновению и безответственности, к рабской униженности, к постоянному страху перед начальственным произволом. Но ведь и сам он, этот двуликий Янус, заставляет своих

1) Человек подобен велосипедисту : он гнется наверху и давит книзу.

Немецкая поговорка.

подчиненных безропотно ожидать, когда он соизволит их принять в своем беспредельном, обитом дубовыми панелями, почти обкомовском, почти министерском кабинете; сам он может безнаказанно материть их, требовать от них ненужных отчетов и сводок, внушая им такой же постоянный страх, какой испытывает сам перед своим сюзереном. Вот почему в выражении лица, в повадках, в голосе советского руководителя улавливается удивительное соединение униженности и деспотизма, холуйства и хамства. Вероятно в древности маркиз де Карабас был так же противоречив, как нынешний советский директор; вероятно и он вымещал на собственных вассалах возмущение жалкой ролью, которую он, вассал, играет по отношению к своему господину. Но ведь и те в свою очередь были господами над своими вассалами, и тоже вознаграждали себя за свое бесправие — тираническим хамством.

Увы, мы не знаем нашего общества: социологи не имеют возможности его изучать, писатели — изображать его в романах, историки и философы — обобщать его закономерности. Все они принуждены исходить не из реальности, которая им неведома, а из некоей разработанной заранее идеальной схемы. Пока мы общество не изучили, мы ничего не сможем ему предложить; исходя же из схемы (идеально-прекрасной или, что то же самое, идеально-безобразной), мы будем выдвигать более или менее заманчивые решения, которые все будут в равной мере

утопичны. В XIX веке изучение нового, буржуазного общества, возникшего во Франции в эпоху Реставрации, началось с физиологических очерков; мастером этого жанра стал Бальзак, автор «Физиологии туалета», «Физиологии причесок» и «Физиологии походки»... В ту пору выходили собрания очерков, описывавших типы современного общества так, как это делается относительно племен и народов в учебниках этнографии. Большую службу сослужили не только романистам, но и политикам книги вроде четырехтомной «Французы» с литературными портретами пекаря и модистки, жандарма и трактирщика, канатной плясуньи и генерала, проститутки и профессора, бездомного бродяги, шахтера, министра. Мы же о самых себе не знаем ничего. Начиная любое повествование, невольно сбиваешься на физиологический очерк. Не только иностранный читатель не знает России, но даже советский не имеет представления (разве лишь интуитивное) об окружающем его мире. Если он что-нибудь и знает, то лишь как обыватель. К сожалению, за пределы такого вульгарно-обывательского знания редко выходят даже выдающиеся умы нашего времени: изучать в одиночку современное общество нельзя; коллективные же усилия неосуществимы.

Я далек от того, чтобы пытаться здесь выполнить эту задачу. Я не хотел бы также представить читателю ректора Б. как наиболее типичного советского руководителя. Од-

нако отмеченные выше черты моего ректора принадлежат не лично ему — они свойственны общественной группе, к которой он относится. Страх перед высшими и тирания относительно низших — это сочетание вырабатывается в каждом современном феодале, даже если природа одарила его великодушием и благородством, честностью и добротой. Ведь и прежние феодалы бывали разными; их воспитывали в принципах чести, и такие, как дон Родриго или как сын и отец Черновы, готовые собственной кровью смыть нанесенное им оскорбление, были не так уж редки. Современному феодалу ректору Б. свойственно представление о чести и даже о другой категории, выработанной позднее, в девятнадцатом веке — о совести. Впрочем, ни то, ни другое не мешает ему быть феодалом.

Эту лекцию я прочитал, понимая, что она — последняя. Кажется, и мои слушатели это поняли; волнение и особая торжественность, с какими я говорил, им, наверное, передались. То был эпизод из истории французской литературы, и речь шла о поэзии Теофиля Готье. Читатель простит мне эту подробность, казалось бы, совершенно случайную; для меня она стала не только существенной, но даже символической. Мне пришло в голову не замеченное прежде совпадение: сборник стихов Готье «Эмали и Камей» появился в том же 1853 году, что и «Возмездие» изгнанника Гюго. Готье создавал стихи преднамеренно-вечные, он писал об искусстве и любви, бессмертии

и славе. Стихи Гюго сегодня назвали бы газетными — их политическая злободневность давно ушла в прошлое. Между тем нетленные Эмали и Камеи — при всем их художественном совершенстве — померкли, «газетность» же бешеных инвектив Гюго оказалась бессмертной; стихи, бичующие лже-Наполеона и всю его банду, живы сегодня, как и тогда, сто двадцать лет назад :

*С тех пор, как справедливость пала,
И преступленье власть забрало,
И попраны права людей,
И смелые молчат упорно,
А на столбах — указ позорный,
Бесчестье родины моей...*

*С тех пор, как стали все бездушны,
И только ползают послушно,
Забыв и совесть, и закон,
И все прекрасное на свете,
И то, что скажут наши дети,
И тех, кто пал и погребен, —*

*Я полюбил тебя, изгнанье !
Венчай мне голову, страданье !
О бедность гордая, привет !
Пусть ветер бьет в мой дом убогий
И траур сядет на пороге,
Как спутник горести и бед.*

(Les Châtiments, II, 5
Перевод Е. Полонской)

Строки эти стали актуальны для меня немного (о, совсем немного !) позднее; но ведь только два

месяца назад был отправлен в изгнание Солженицын, и мои слушатели без дополнительных комментариев отлично понимали, кого следует разуместь под изгнанником, поднявшимся во весь рост против ненавистной ему тирании:

*И если мой народ в бессовестном обмане
Погрязнет, — может быть, и это впереди, —
И, если отказав в приюте, англичане
Изгнаннику шепнут: « Нам страшно, уходи! », —*

*Когда отринут все, чтоб угодить тирану;
Когда помчит судьба меня, как лист сухой;
Когда скитаться я от двери к двери стану
С изодранной в клочки, как рубище, душой;*

*Когда пески пустынь и в небесах светила —
Все будут против нас, отверженных гоня,
Когда, предав как все, трусливая могила
Откажется укрыть от недругов меня, —*

*Не поколеблюсь я! Я побежден не буду.
Моих не видеть слез тебе, враждебный мир.
Со мною вы всегда, со мною вы повсюду,
Отчизна — мой алтарь, свобода — мой кумир!..*

*Во вретнице своем, под пеплом униженья
Греметь я буду: « Нет! », как яростный набат.
Пусть в Лувре ты теперь; но предвещаю день я,
Когда тебя сведут в тюремный каземат.*

*К позорному столбу вас пригвождаю ныне,
Продажные вожди обманутой толпы!
Я верен вам навек, опальные святыни,
Вы — стойкости моей гранитные столпы...*

*Изгнание свое я с мужеством приемлю,
Хоть не видать ему ни края, ни конца...*

(Ultima Verba. Les Châtiments, VII, 16.
Перевод Мих. Донского)

Повторю : мои слушатели в комментариях не нуждались никогда. И, чтобы они поняли живую современность « Возмездия » Виктора Гюго, не было надобности унижать их и себя двусмысленными намеками или усмешечкой. Потому что дело ведь было ничуть не в намеках, а в устойчивости исторических ситуаций. Когда-то Карл Маркс, перефразируя Гегеля, обмолвился, будто в истории всё повторяется дважды : один раз как трагедия, другой раз — как фарс. Наш опыт свидетельствовал об ином : повторение оказывается новой, еще более страшной трагедией. И слушая раскаленные инвективы Виктора Гюго, наши современники осмыслиют их по-своему. Так же, как умеют они по-своему воспринимать и горько-иронические раздумия Пушкина, для маскировки приписанные русским поэтом итальянцу Пиндемонте :

*Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.*

*Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода :
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.*

Никому

*Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...*

Пушкин по-своему читал «Гамлета» (...слова, слова, слова), мы читаем по-своему Пушкина. Это закономерно и неизбежно. Понимать советских людей значит, помимо прочего, уметь их глазами читать великую литературу прошлого. И нет удивительного в том, что польские власти в недавнем прошлом запрещали ставить «Дзяды» Мицкевича: поэма, созданная полтора столетия назад, звучала слишком актуально; поляки читали (а тем более — слушали в театре) стихи своего национального поэта, как современное обвинение колонизаторов, продолжающих порабощение и разграбление Польши:

*Быть может, золотом иль чином ослеплен,
Иной из вас, друзья, наказан небом строже :
Быть может, разум, честь и совесть продал он
За ласку щедрую царя или вельможи.*

*Иль, деспота воспев подкупленным пером,
Позорно предаёт бывших друзей злословью,
Иль в Польше тешится награбленным добром,
Кичась насильями, и казнями, и кровью...*

(Русским друзьям. 1832.

Перевод В. Левика)

Заигрывать с читателями, навязывая им аллюзии, подмигивать студентам, вызывая у них политические ассоциации — всё это недостойно, да и ненужно. Советские люди умеют читать, умеют и слушать.

И вот я переступил порог необъятного ректорского кабинета, обитого дубовыми панелями. Ректор вышел мне навстречу, запер дверь и усадив рядом, сказал :

— Послезавтра состоится общеинститутский Ученый совет, на котором будет обсуждаться ваш вопрос. Вы обвиняетесь (*опускаю перечисление, все будет подробнее изложено ниже*).. На этот раз мы не сможем вам помочь, — шесть лет назад вас удалось спасти, тогда все шло по другой линии (*Я понял : тогда — по партийной, теперь — по линии КГБ*). Это вне наших возможностей. Работу вы потеряете, но может быть (*может быть !*) удастся сохранить за вами степени и звания — это зависит от вашего поведения. Вам следует притти на заседание Совета и вести себя разумно.

Ректор был официально сух, но как будто отстранялся от предстоящего : гражданская казнь должна была осуществляться под его руководством, в сущности его руками, ему было это противно; в чем состояло обвинение, он толком не знал. Я так понял из его сбивчивых намеков, что его вызвали в Большой дом¹⁾ и показали мое « дело » или какую-то выжимку, само « дело »

1) Большой дом — так ленинградцы называют дом КГБ (Литейный пр., 6).

произвело на него меньшее впечатление, чем категоричность устных суждений его тамошних собеседников; теперь ему предстоит труднейшая задача — поставить спектакль, который называется заседанием Ученого совета, призванного вынести свое вполне независимое и свободное решение.

ОТСТУПЛЕНИЕ О РЕЖИССУРЕ

Человечество вступило в такую полосу, когда изменяются его взаимоотношения и понятия.

Вс. Мейерхольд (1920)

Как создается сценарий и каковы правила постановки — всё это давно известно. Даже я, всего лишь участник подобных собраний, наизусть знал, как они протекают. Ректор же десятки раз был их устроителем, он умел их вести с образцовым тактом и достаточным показным темпераментом. Процедура была обычно такова. Ректора вызывали в обком и там ему давали понять, что необходимо свободное, принятое после творческой дискуссии решение Ученого совета, которое осудит, ну, скажем, профессора генетики Л., сторонника лженауки, обслуживающей новейший фашизм. Вернувшись в институт, ректор совместно с секретарем партийной организации выбирал будущих ораторов, затем приглашал их по очереди к себе, полутайно и подолгу беседовал с каждым. Трудность была не в отвлеченных принципах генетики (хотя и о них честно ученому

лгать не хочется), а в судьбе профессора Л.; о нем, талантливом и добросовестном исследователе, популярном лекторе, порядочном человеке, придется говорить как о шарлатане, тунеядце, мракобесе. Его нужно во что бы то ни стало скомпрометировать — слишком велико его влияние на студентов, слишком устойчив авторитет среди коллег. Но ведь поручить эту грязную работу секретарю партийного комитета нельзя: — кто же примет его слова всерьез? Нужны речи убежденных сединами профессоров, нужны разоблачительные выступления учеников, возглавляющих научные направления, — если этого не будет, обком выразит недовольство: брак в работе. И несчастный ректор приглашает к себе одного за другим «убежденных сединами» — он готовит заседание. Тактика и техника уговоров разработана давно, успех ее во многом зависит от таланта и обаяния ректора, от его ума и обходительности.

Вот пришел старый профессор-зоолог, обладатель громкого имени, автор многочисленных трудов. Чего он хочет, этот старик? Во-первых, он давно заслужил право быть академиком или хотя бы членом-корреспондентом; в Академию наук его может выдвинуть институт, в котором он работает сорок лет (но может и не выдвинуть). Во-вторых, он не возражает стать членом или хотя бы членом-корреспондентом Академии педагогических наук (в презрительном просторечии именуемой Акапедия) — выдвижение целиком зависит от Ученого совета института, то

есть от ректора. В третьих, по возрасту он давно пенсионер, и держат его в институте из почтения к заслугам — в любой день это может оборваться, и наутро профессор-зоолог проснется уже не заведующим кафедрой, не членом нескольких Ученых советов и редакционных коллегий, а глуховатым стариком, вышедшим в тираж. И все это в руках ректора. — Вам следует непременно высказать свое мнение, Иван Степанович, — искушает профессора-зоолога многоопытный дипломат. — Ваше выступление позволит Совету удержаться в рамках подлинной научной дискуссии. Вы ведь знаете наших сотрудников : они легко опускаются до сплетен, склок, обычной брани. А вы... вы... Да и потом : ваше участие профессору Л. почетно и полезно. Ведь вы не морганист ? Вы с принципами буржуазной генетики не согласны ? Почему не сказать об этом вслух ? Почему не напомнить, что такой знаменитый зоолог, как вы, издавна считает это научное направление, скажем, ошибочным ?.. (А через месяц будут объявлены выборы в Академию Наук, а через два месяца — в Академию, а не выступишь, пеняй на себя. Профессор-зоолог все это отлично понимает, и еще помнит рассказ про Тыбу : Тыба — так называют в семье деда-пенсионера, которому все говорят : « Ты бы сходил за молоком... Ты бы пошел в садик, погулял бы с внучкой... Ты бы купил газету... » Профессор-зоолог не хочет быть Тыбой, лучше смерть). А ректор продолжает : — Я ведь и сам намерен спустить это

дело на тормозах. В обкоме настроены свирепо, они жаждут крови, хотят уволить Л. со скандалом и с позором. Но мы можем его отстоять. Для этого нужно выступить очень строго, не бояться даже грубостей, но пусть вывод будет помягче: дескать, человек он способный, мы его перевоспитаем, он осознаёт свои ошибки. Вот для такого поворота необходим ваш авторитет». И профессор-зоолог постепенно склоняется выступить: и человека спасешь (да, да, не потопишь, а спасешь!), и на пенсию не выпрут — судьба Тыбы, глядишь, отодвинется на год-другой, и в академики выйдешь... А если в академики, то сколько полезного можно совершить: вот когда я буду за гонимых заступаться, и бояться мне уже будет нечего и некого. К тому же мне, как академику, и дачу дадут, и квартиру в роскошном академическом доме, и похороны будут по особому разряду... — Ну, что ж, — скажет профессор-зоолог, — подумаю. Только вы ведь меня знаете, я человек самостоятельно мыслящий, я скажу, что думаю. В травле принимать участия не собираюсь, но в научной дискуссии — почему бы нет? (И он в самом деле уверен в своей порядочности, позднее он сам себе удивится — как это его понесло? Как это случилось, что коллеги ему руки не подают?)

Но ректор уже принимает следующего, и этот следующий — академик с прочным положением, академической дачей и квартирой в академическом доме, и даже с уверенно-

стью, что после его смерти выйдет собрание его сочинений в четырех, а то и в шести томах, и что перворазрядные похороны обеспечены. Ничего ему, академику, не надо, и не боится он ничего. К нему подход другой.

— Неужели вы, Степан Иванович, не были в Японии? Я недавно летал в Токио, вас там ценят. Это так интересно, так непохоже на все, что мы видели в Европе... Подайте заявление, затруднений думаю, не будет. Партийный комитет вас непременно поддержит. Вы ведь тоже, Степан Иванович, не откажетесь поддержать партийный комитет? Кстати и насчет вашей дочери: я знаю, ее не приняли в аспирантуру Консерватории (*Да, не приняли дважды, у нее мать — еврейка, и ничего он сделать не мог при всех своих связях*), — этому делу мы поможем, я скажу в обкоме, а понадобится, и до ЦК дойду, ведь какое безобразие — отказывать в приеме талантливой пианистке... (*О, академик ни в чем не нуждается и никого не боится, но побывать в Японии — его давняя голубая мечта, и вот ведь оказывается, что судьба дочери тоже в его руках. Он стар, болен, скоро умрет, нельзя же быть эгоистом и не обеспечить детей; дочь ему не простит, если он упустит редчайший шанс*). — Хорошо, скажет академик, только не ждите от меня речей, я произнесу несколько слов, а на мою активность не рассчитывайте: я выступлю только потому, что не согласен с научным направлением профессора Л., нужно молодых оберечь от его неверных

идей. Я хорошо отношусь к Л., но истина мне дороже.

А уже в кабинет с дубовыми панелями входит молодая женщина, недавно защитившая докторскую и всегда отличавшаяся резкой прямоотой суждений. С ней будет еще труднее: она всем обязана профессору Л., была его студенткой, восторженно бегала на его лекции, он выбрал ее себе в аспирантки, дал ей тему для кандидатской диссертации, потом подсказал и тему докторской, он для нее — духовный отец.

— Да ведь мы вовсе не собираемся травить вашего учителя или, упаси бог, уволнять его. Ученый совет рассмотрит его труды, обсудит его идеи, его лекции и семинары. Вы уже не девочка, у вас ведь есть свои мысли, не так ли? К сожалению, про вас толкуют, будто бы вы ни одной работы не сделали самостоятельно, а только как помощница Л. Большинство ваших статей подписаны вами вместе с ним. Почему? Либо вы в самом деле только технический исполнитель (тогда за что вам дали ученую степень доктора?), либо он эксплуатирует вас, делает карьеру на ваших исследованиях. Как, и это неверно? Вы работаете совместно? Кто же этому поверит? Кто знает, что вы самостоятельно думающий ученый? Докажите это Ученому совету, объясните ему, чем ваши идеи отличаются от идей вашего профессора. Не отличаются? Значит, вы не доктор наук, а просто его лаборантка? Знаете, вы ставите себя в опасное положение,

ведь ваша докторская еще не утверждена ВАК'ом ¹⁾, на заседании будет представитель министерства, едва ли он вас поддержит. Вы не хотите предавать учителя? Кто же требует предательства или отречения? Разве мы в средние века живем? Я приглашаю вас участвовать в научной дискуссии. Ваш профессор принадлежит другому поколению, он отстал от современного уровня науки, это естественно и не может быть иначе. Вы идете дальше, вы пользуетесь математическими методами, он же не знает математики и отвергает возможность ее использования в биологии. Так ведь? Выступить об этом вы, надеюсь, можете? Будем честны, профессор Л. и марксизма тоже не знает, а вы — марксист. Вам не хочется говорить о политике? Не надо, ни в коем случае не надо, я вас на этот путь не толкаю, оставайтесь в рамках академических проблем и научной полемики. *(Если ее докторскую не утвердят, если она будет считаться помощницей Л. без всяких самостоятельных мыслей, ей грозит самое худшее... Ведь каждый год количество ставок сокращается, ее уволят, где она найдет работу, имея такое клеймо на лбу? Профессор Л. защищен своими книгами, своей мировой известностью, он богат, ему ничто не угрожает, как бы его ни топтали. Она беззащитна, погубить ее легко. Что выиграет он,*

1) ВАК — Высшая Аттестационная Комиссия при Министерстве Высшего образования; она утверждает все ученые степени.

если его ученица погибнет? Зато, получив докторскую степень, она сможет и ему помочь... К тому же у нее ребенок, она мать-одиночка, ей нужно прокормить стариков. Да и опыты хочется продолжать: без института — где она возьмет мышей и лягушек для опытов? Где — лаборантов? Аппаратуру?) — Хорошо, я выступлю, но говорить буду по сугубо частным вопросам, и ни слова о политике. В этом смысле не рассчитывайте на меня...

А в этом смысле на нее никто и не рассчитывал. Для политических выступлений найдутся другие — их вполне достаточно на кафедрах истории КПСС, политэкономии и философии. Они подхватят то, что скажут Иван Степанович и Степан Иванович, всё, что скажет она, преданная ученица, полагающая, что ее профессор отстал от современной научной методологии, и они дадут всему этому верную политическую оценку, они, как говорится, «расставят акценты». Они скажут (все это можно предвидеть заранее), что профессор Л. не марксист, что он идеалист в биологии, что его идеи давно разгромлены Лениным в гениальной книге «Материализм и эмпириокритицизм», что его лекции порочны — он постоянно ссылается на реакционных западных авторов, тем самым проявляя недооценку отечественной науки, а значит антипатриотизм; изучение студенческих конспектов показывает, что профессор Л. презирает свою аудиторию и сыплет мудреными псевдоучеными терминами ино-

странного происхождения, вместо того, чтобы объяснять слушателям материалистические основы мичуринской биологии. Наконец, в студенческом общежитии было несколько краж, а неделю назад в комнате, где живет студентка З., утром обнаружили пожарника. Где был профессор Л.? Посещал ли общежитие, вел ли воспитательную работу? Нет, не посещал, не вел. Можно ли такому, с позволения сказать, профессору доверять обучение и воспитание нашей молодежи? А в заключение выступит секретарь партийного комитета, который будет читать отдельные фразы из книг лжепрофессора Л., и все убедятся в том, что автор этих книг в лучшем случае воинствующе беспартиен, что марксизм-ленинизм ему чужд, что он позволяет себе ссылаться на Вернера Гейзенберга («...который сотрудничал с гитлеровцами, а в последние годы находится на содержании у американского монополистического капитала») и Нильса Бора («...который в 1943 году был вывезен британской разведкой "Интеллиджен-Сервис" из Дании в Швецию, оттуда он был переправлен в Америку, где и консультировал изготовление атомной бомбы»), и что вообще он генетик, а генетика — «биологическая поповщина», «мракобесы, орудующие в буржуазной генетике, находятся в прямой идейной связи с обскурантами, манипулирующими внутри атомной физики». Вывод: «Смердящий труп махизма гальванизирован и втащен в современное

естествознание » ¹⁾). Такие обсуждения всегда развиваются по законам эскалации; каждый следующий оратор делает шаг вперед, и в конце оказывается, что перед Ученым советом стоит вовсе не профессор, а лжепрофессор или горе-профессор, вовсе не биолог, концепции которого обсуждаются его коллегами, а пособник фашизма, которого следует в шею гнать с кафедры или, для полной гарантии, арестовать.

Итак, ректору предстояло готовить такой — или почти такой — Ученый совет на послезавтра. Стоял 1974 год, возвращаться к недоброй памяти пятидесятым было нелегко, но ректор накопил опыт, он знал: при умелой организации осечек не бывает. Я тоже это знал. Спорить или негодовать было бессмысленно. Я поблагодарил за благожелательную информацию и ушел.

Не успел я притти домой, как мне позвонили из Союза писателей,

— Вам надлежит 25 апреля в пятнадцать часов явиться на заседание секретариата, — сказал официальный голос.

Я понял, что спектакль «гражданской казни» затеяли в два действия. Утром в десять часов начнется заседание Ученого совета, который уволит меня из института и снимет с меня научные степени и звания. Днем, в три часа, соберется секретариат, который исключит меня из Союза писате-

1) Все цитаты, приводимые здесь или ниже в кавычках, подлинные. В данном случае цитируется статья Вл. Львова, опубликованная в журнале «Звезда», 1949, № 1, стр. 149-150.

лей. К вечеру операция будет завершена, и я буду — «голый человек на голой земле». А потом что они со мной собираются сделать? Арестовать? Сослать в Сибирь? Вышвырнуть за-границу, как было сделано два с половиной месяца назад с Солженицыным? Оставить помирать — без работы, без права преподавать и печататься? Ясно одно: украшать задуманный ими спектакль своим участием не следует. Достаточно притти, чтобы они засыпали меня провокационными вопросами, на которые я не мог бы ответить. Лгать в ответ — мерзко. Говорить правду — губительно. Я охотно бы сказал и в институте, и в Союзе писателей все, что думаю, но тогда они только о моих ответах и будут говорить — их положение окажется устойчивее. А так, если меня нет, о чем они станут произносить свои речи? О слухах? О двух-трех фразах из двух частных писем? О сомнительных намеках и двусмысленностях, обнаруженных в моих статьях? О лекциях, на которых доносчиков, как будто, не бывало? Я ведь и не симулирую: у меня в самом деле побаливает сердце и, как в таких случаях полагается, отдает в левую руку; можно пренебречь, а можно и счесть предынфарктным состоянием.

Вызванный на другое утро врач обнаружил тревожные симптомы и велел три дня лежать. Это определило мое решение окончательно. Я рвался в драку, меня разбирало любопытство (все-таки побывать на собственных похоронах — интересно), но я понимал, что на провокацию поддаваться нельзя. Им было нужно, чтобы я присутствовал, они звонили, настаивали, но чем больше меня завлекал противник, тем меньше я стре-

мился к нему навстречу. В середине дня позвонил сам первый секретарь Союза писателей, Г.К. Холопов, и потребовал, чтобы я непременно подошел к телефону, как бы ни был болен.

— На секретариат притти необходимо, — сказал он мне утрашающим тоном. — Бывает случаи, когда уклоняться нельзя.

— Да я не уклоняюсь, я, знаете ли, болен. Отложите на несколько дней заседание (Это так естественно — отложить, пока человек поправится... Но я понимал, что они на это не пойдут: им из Большого дома приказано закончить всю операцию в один день).

— Отложить нельзя. Конец апреля, все разъедутся, где их потом найдешь. Нет, явиться необходимо...

— Вам будет приятно, если я у нас в кабинете умру, Георгий Константинович?

— Умирать не надо, а притти необходимо, — только и нашел Холопов, что мне сказать.

Этот ответ значил: мне приказали — кровь из носу — провести заседание не откладывая; кроме того, завтра в три к нам приедут из обкома, горкома, райкома — не отменять же их? Поверят ли они, что жертва больна? Да и все уже оповещены, разве можно допустить брак? Конечно, обсуждать поведение члена Союза писателей заочно, да еще заочно, в его отсутствии, принимать решение об исключении его из Союза — неприлично. Но откладывать заседание из-за болезни обсуждаемого тоже невозможно: влетит. У Холопова был выбор между действием позорно-недемократическим и другим, навлекавшим начальственный гнев. Какое чувство сильнее, стыд — или страх?

Что возьмет верх, совесть — или инстинкт самосохранения?

Позднее я узнал, что откладывать было действительно трудно. Устроители предприняли чрезвычайные меры, чтобы собрать секретарей (многие были в разъездах), и меры эти исходили не от Союза писателей. Один из членов секретариата, профессор В.Г. Базанов, оказался в Москве на заседании Комитета по Ленинским премиям; ему позвонили в гостиницу и от имени КГБ приказали немедленно выехать в Ленинград на срочное заседание; Базанов тщетно отговаривался предстоящим обсуждением и даже голосованием в Ленинском комитете, — пришлось подчиниться. Другой, поэт Михаил Дудин, отдыхал в Крыму, в доме творчества писателей; его вызвали, и он, разумеется, покорно вылетел; говорят, что получив срочную телеграмму, он свалился в постель, пролежал целый день (о чем он думал? Не о том ли, что его самого хотят посадить? Понимал ли, что ему предстоит работать палачом? Чувствовал ли, что на карту поставлена его честь? Скорее всего и понимал, и чувствовал, но страх оказался сильнее) и потом, ни с кем не прощаясь, уехал на аэродром. Третий, поэт Анатолий Чепуров, был вместе с Даниилом Граниным в Тбилиси на каком-то писательском совещании; телеграмма вызвала их обоих, но Гранин решительно отверг (назавтра ему надо выступать о рабочем классе в советской литературе); Д. Гранин оказался и дальновиднее, и честнее, и, главное, храбрее своих собратьев. Чепуров же, бледный и дрожащий, отправился в Ленинград на свой позор. Еще один из секретарей бродил по дальнему заповеднику,

за ним отрядили вертолет, но счастливица не нашли. Так собрали секретарский кворум, — в самом деле, можно ли при подобных обстоятельствах принять во внимание столь ничтожное обстоятельство, как болезнь подсудимого? Да и не все ли равно, что он скажет в свое оправдание, и скажет ли вообще что-нибудь? Решение принято заранее, и писательский секретариат должен только проштамповать его, придать ему внешний вид законности.

Все это я узнал позднее. Но уже в те дни, 23 и 24 апреля, я не сомневался в главном: и полсотни профессоров, составлявших Ученый совет, и десяток писателей, входивших в секретариат, не более, чем статисты. Партийно-полицейское начальство уверено в себе и в успешности своей тактики, оно знает людей, которыми манипулировало много лет подряд. Сопротивление не угрожает.

Глава вторая

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ.

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Весь день 25 апреля 1974 года, в течение которого решалась моя гражданская судьба, я просидел дома. Телефон безмолвствовал. Время от времени раздавался короткий звонок в дверь, это приходили друзья — позвать руку, рассказать о просочившихся слухах, помолчать (телефон прослушивался, а так может и проскочишь незаметно?) Приходили потрясенные ученики, у них не было спасительного опыта, накопленного моими ровесниками за несколько десятилетий; сталинской эпохи они не знали, выросли после Двадцатого съезда и о гражданских казнях разве что слышали от старших. — Что же это значит? — недоумевал каждый из них. — Почему это случилось? Как может быть, чтобы профессора вызвали с лекции и вдруг объявили преступником? Почему не объяснили, в чем он провинился? Почему?.. Почему?..

Они не столько возмущались, сколько горевали. Для большинства из них мое внезапное изгнание было катастрофой: моральной, потому что они достаточно хорошо, в течение долгих лет, знали своего учителя и им ни прежде, ни теперь не приходило в голову, что он заговорщик; материальной, потому что их диссертации, доклады, дипломные работы, переводы вдруг все погибли, сгорели, провалились сквозь землю. В тот день у меня должна была быть очередная лекция; слушателям объявили, что они свободны: профессор больше в институте не работает. Они требовали объяснений, никто им ничего не сказал. Толпой отправились они к декану А.И. Домашневу; тот, застигнутый врасплох, бормотал невнятицу — он еще не получил указаний, какие сведения можно сообщать. Студенты настаивали; декан, взбешенный их бестактностью и собственным бессильем, послал их к чертовой матери. Сдержанный, лощеный джентльмен, прошедший дипломатическую выучку, неизменно подтянутый, безукоризненно аккуратный, учтивый, никогда не повышавший голоса, уважаемый и улыбкастый, он позволил себе закричать и, кажется, даже затопать ногами. Студенты, с изумлением поглядев на него, ушли. Что он делал, оставшись один? Вспоминали ли, как лестно отзывался о статьях и книгах, которые диверсант неизменно, с весьма благожелательными надписями ему дарил? Сетовал ли на партийных начальников, обрекших его на ничтожную роль бесправного исполнителя? Негодовал ли на подчиненного, который много лет успешно маскировался профессором-филологом, и теперь нанес сокрушительный удар по его карье-

ре ? Или звонил в Большой дом, чтобы донести на студентов, оказавшихся с преступником заодно ? Или вспоминал недавний Ученый совет, где он, декан, выступал, не жалея бранных слов по адресу того, кто не мог ему ответить и, может быть, надеясь, что произнесенная им постыдная речь так и останется неизвестной за стенами конференц-зала ? Если последнее предположение справедливо, то Домашнев ошибался : не прошло и двух недель, как его речь опубликовали западные газеты, прежде других — миллионная « Вашингтон пост », и передали — на русском языке ! — иностранные радиостанции.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ГЛАСНОСТИ

... tout se passe dans le plus effrayant mystère, les faibles sont livrés sans scandale aux vengeances des puissants, et les procédures, toujours ignorées du public ou falsifiées pour le tromper, restent, ainsi que l'erreur ou l'iniquité des juges dans un secret éternel, à moins que quelque évènement extraordinaire ne les en tire.

Rousseau juge de Jean-Jacques
Dial. 1¹⁾

Прошло время, когда можно было душить в темноте, убивать безнаказанно, ходить по

1) ... все происходит в самой страшной тайне, слабые без всякого шума предаются мщению могущественных, и судебные процедуры, о которых публика ничего не знает или которые фальсифицированы, чтобы обмануть, навсегда остаются — равно как ошибки или несправедливость судей — в вечном мраке, если только их не извлечет на свет какое-нибудь чрезвычайное происшествие.

Руссо — судья Жана-Жака. Диалог I

трупам среди всеобщего безмолвия. Мир изменился. В наши дни все тайное становится явным. Еще так недавно домашневым было легче: они делали свое черное дело, редко со сладострастием, чаще с отвращением, понимая, однако, что большая карьера стоит малой подлости. Да ведь и подлость не так страшна, если никто о ней не знает, кроме немногих соучастников. Так было в начале пятидесятих годов, — кто слышал о доносах, погребенных в недрах Большого дома? Кто — об убийственных речах, произнесенных на проработочном собрании, когда ученики разоблачали эстетство, или космополитизм, или антипатриотизм учителя? Кто — о действиях администраций, изгонявших из университетов и академий, консерваторий и театров евреев-ученых, евреев-артистов, евреев-преподавателей? Блаженное было время! Какой-нибудь Георгий Бердников, в ту пору декан филологического факультета Ленинградского университета, уже доносами способствовавший аресту своего любимого профессора Григория Александровича Гуковского (который умер в тюрьме под следствием в 1949 году — сорока восьми лет), Бердников произносил погромные речи в колонном зале университета и в присутствии тысячи студентов восклицал патетически, обращаясь к Виктору Максимовичу Жирмунскому, крупнейшему филологу-энциклопедисту нашего века: — Написали ли вы хоть одну строку, которая была бы нужна советскому народу?

Дело было в 1950 году, Жирмунского тогда изгнали из университета, в котором он заведовал кафедрой западноевропейских литератур более трех десятилетий — за космополитизм (то есть за еврейство), за приверженность теориям великого компаративиста Александра Веселовского, за принадлежность в молодости к кругу русских формалистов, за книги, которые он написал и за то, что не написал других, прославляющих его гонителей; а Георгий Бердников был за особые заслуги вознесен в ранг заместителя министра культуры, потом поднялся еще выше, и еще, на какие-то тайные посты, откуда управлял советской литературой и определял литературную политику... (Недавно, в 1974 году, он выпустил в свет биографию Чехова. И почему это самых непроницаемо черных тянет заниматься Чеховым? Однажды Чехов заметил: «Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Помнят ли об этих словах? О, конечно, помнят, но, видимо, есть неизученный тип интеллектуального мазохизма). Так вот, о Бердникове никто на Западе и слыхом не слыхал: в те годы, когда он лез вверх по трупам, еще не было Самиздата, не было Тамиздата, не было всепроникающей радиоинформации, которая сегодня сообщает имена подлецов на весь мир. Декану Домашневу пришлось хуже, чем его предшественнику декану Бердникову: едва он совершил низость, как об этом узнали все; даже, вероятно, его сын, поймав Би-Би-

Си или «Голос Америки» и услышав речь Домашнего-старшего, стал другими глазами смотреть на отца. Домашнев занимался австрийским вариантом немецкого языка, привык ездить в Вену, где его окружали уважением и благодарностью; что же он теперь будет делать, куда ездить? Конечно, у западных ученых короткая память на русские фамилии, но имя Домашнего они, думается, запомнили. И ведь, пожалуй, заплуют! Поневоле задумаешься; стоит ли малая карьера большой подлости?

С этой точки зрения поучительно вспомнить о трех ленинградских судебных процессах за последние двадцать пять лет: 1949-1974.

1949. Дело Ильи Сермана, историка русской литературы XVIII века, ученика Г.А. Гуковского. Его обвиняли в антисоветских настроениях. Судили дважды: в первый раз приговорили к десяти годам лагерей; этого показалось мало, И. Сермана «пересудили». Во втором заседании свидетелем обвинения выступал его (наш общий) университетский приятель Евгений Брандис, настойчиво твердивший, будто бы Серман высказывал еврейско-националистические идеи; дескать, евреев в аспирантуру не берут, а ведь они от природы способнее к наукам, чем русские. Даже прокурор с некоторым сомнением спрашивал Брандиса, так ли именно говорил Серман? И настаивает ли свидетель на том, что обвиняемый вообще говорил на подобную тему? Ведь других свидетелей, подтвержда-

ющих эти показания, нет. Брандис настаивал. На сей раз Серман получил 25 (двадцать пять !) лет лагерей — показания Брандиса, только одного Брандиса, прибавили ему пятнадцать лет. Если бы срок осуществился, Серман вернулся бы только теперь; к счастью, он (и его жена) были освобождены вскоре после смерти Сталина.

Социально-психологический феномен Брандиса меня давно интересовал. Евгений Павлович Брандис — не лишенный литературных способностей, порядочно образованный германист, искренно любивший поэзию, когда-то и сам писавший стихи, даровитый переводчик; впоследствии занялся историей и теорией научно-фантастической литературы, написал книгу о Жюле Верне, издавал и переводил его сочинения, руководил секцией писателей-« фантастов » в Ленинграде. Он, вероятно, не был « сексотом » или « стукачом », но, вызванный в Большой дом, смертельно струсил. О том, что наш приятель Брандис не отличается героическим характером, мы знали и прежде, во время войны это стало особенно очевидно, а после войны... После войны Брандис из малодушия совершил подлость. Им однако руководило — помимо трусости — еще и сознание безнаказанности: судебное заседание было закрытым; показания, данные в тех четырех стенах, наружу не выйдут; Серман приговорен к двадцати пяти годам лагерей — это вечность, за такой срок забывается любое преступление. Но главное : ни дело Сермана,

ни участие в этом деле Брандиса не станет достоянием гласности. Ни пресса, ни радио, — никто, никогда, ничего. И в самом деле : прошло четверть века, и вот я, случайно выброшенный событиями на Запад, впервые в печати называю имя Брандиса. Впрочем, сказано неточно : это имя появлялось не раз — на книгах, в оглавлениях, в примечаниях, — как имя литературоведа и писателя. А люди должны бы его знать как имя, если не полицейского провокатора, то, во всяком случае, активного пособника. Но стоял 1949 год, мы жили в изоляции, Самиздата еще не было. Нас уничтожали в темноте, в безмолвии.

1963. Дело Иосифа Бродского. На этом процессе, где поэта обвиняли в тунеядстве (мы ниже вернемся к нему), главным свидетелем обвинения выступал Евгений Воеводин, молодой прозаик. На этот раз процесс был открытым — в зал заседаний пустили кое-каких посторонних (заполнив его предварительно доставленными на грузовиках строительными рабочими), и Воеводин знал, что карьере делает гласно, в присутствии не только сотен строителей, но и десятка писателей. Однако к резонансу международному он не подготовился. Очень скоро мировая пресса (начиная с *Фигаро литерер*) опубликовала полный отчет о судебном заседании, да и по Советскому Союзу эта запись — блестящее публицистическое (даже художественное) произведение Фриды Вигдоровой — передавалось из рук в руки и приобрело

широкую известность. Имя Евгения Воеводина стало символом низости, а, также как его отец, тоже писатель и тоже Воеводин (Всеволод) отнюдь не отличался порядочностью, то родилась отличная эпиграмма, заклеившая их обоих :

*Дорогая Родина,
Чувствуешь ли зуд?
Оба Воеводина
По тебе ползут.*

Е. Воеводин просчитался : он ориентировался на прошлое безмолвие, а время наступило другое. Разумеется, он не мог догадаться, что история, в которой он принял участие, положит начало Самиздату — тогда и слова этого еще не было, оно только рождалось (первоначально в чуть иной форме — « Самоиздат »). И разве могли знать тогдашние руководители ленинградского Союза писателей, что войдут в историю благодаря делу Бродского ? Прежде всего это относится к поэту Александру Прокофьеву; однако об этом ниже.

1974. Дело Михаила Хейфеца. Молодой историк и писатель обвиняется в том, что написал предисловие к собранию стихов Иосифа Бродского, подготовленного (В. Марамзиным) для Самиздата, и еще в том, что хранил у себя машинописные копии статей, почему-то признанных антисоветскими (например, А. Амальрика). Обвинитель привлек множество свидетелей, более десяти. Среди них начинающего прозаика Валерия Воско-

бойникова; на Хейфеца донес он. И что же? Даже этот Воскобойников, выступая на суде, взвешивает каждое слово и стремится «сохранить и в подлости осанку благородства». Неизвестно, кто его более страшит — органы безопасности или мировое общественное мнение. Конечно, органы имеют над ним полную власть, от них зависят его договора, публикации, доходы, привилегии; но попасть в передачу Би-Би-Си, в *Хронику текущих событий*, в газету *Ле Монд*, а, значит, в газеты многих стран — в качестве прислужника полиции, это для писателя (пусть даже маленького, провинциального, третьестепенного — сам автор так не думает никогда) — страшнее страшного.

Представим себе на месте Брандиса, Воеводина, Воскобойникова одного-единственного человека; ведь они все трое — литераторы, все трое «помогали следствию» (так говорят сотрудники органов, поощряя «помощников»), все трое согласились выступить на суде свидетелями обвинения, все трое не гнушались клеветы. Так вот, среднеарифметический свидетель Икс в 1949 году боялся только органов — и не ошибся. В 1963 году он боялся только органов — и ошибся, уже надо было бояться всемирной огласки. В 1974 году он боялся и органов, и Самиздата, и радио, и западной прессы; за двадцать пять лет свидетель Икс присмирел, научился лукавить и прятать концы в воду. Страх перед общественной оглаской еще не пересилил страха перед органами безопасности, но вот

что существенно : был один страх, стало два. Два разнонаправленных страха. Изменились времена. Положение свидетеля стало неза-видным.

Помните, вы, еще не прошедшие испытаний, вы, которых в кабинетах с дубовыми панелями будут склонять на погромные выступления и которым взамен посулят квартиру, внеочередной автомобиль, кафедру, лабораторию, отсрочку пенсии, поездку в Японию, издание книги или даже (в особых случаях) собрания сочинений, помните :

вам не удастся уйти в темноту. Наступила пора гласности. Ваше предательство будет выставлено на всеобщее обозрение, ваши доносы извлечены из архивов и сейфов, ваше имя предано позору. Что литератору дороже имени ? Может быть, только истина.

А если он наплевал на истину и опозорил имя, что ему остается ?

Петля.

Вернемся, однако, к 25 апреля. В то время, как ко мне приходили молчаливые друзья и заплаканные ученики, в большом конференц-зале института, под огромными портретами Маркса и Ленина, шло заседание общеинститутского Ученого совета. Члены его, приглашенные к 10 часам утра повестками, не содержащими особой информации, увидели в зале скромных молодых людей, сидевших за разными столиками; позднее догадались, что это были агенты, приставленные следить за ними и в конце церемонии наблюдать

за тайным голосованием. Обо всем этом я знаю по рассказам; теперь мне следует отойти в сторону и дать место документу — протоколу заседания.

ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ

Ученого совета Ленинградского педагогического института им. Герцена 25 апреля 1974 г. Вопрос — о профессоре института Е.Г. Эткинде

...Присутствуют члены Ученого совета, большое число посторонних лиц, корреспонденты, секретарь Горкома партии Б.С. Андреев. Сам проф. Е.Г. Эткинд на заседании не присутствует; он представил в ректорат официальный врачебный документ, свидетельствующий о том, что у него приступ стенокардии и что ему предписан постельный режим. Несмотря на болезнь проф. Эткинда, заседание Ученого совета состоялось.

Заседание открывает ректор института. Ученый совет, говорит он, не впервые занимается обсуждением профессора Эткинда. В 1968 году он рассматривал политическую ошибку, допущенную им во вступительной статье к двухтомнику «Мастера русского стихотворного перевода», где, как известно, говорил: «Лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, русские поэты — особенно между XVII и XX съездами — разговаривали с читателем языком Гете, Шекспира, Орбеллиани, Гюго». Тогда Ученый совет принял серьезное решение, предостерег проф. Эткинда. Но проф. Эткинд и не думал менять своих воззрений, — он поддерживал тесные отношения с Солженицыным, составил воз-

звание к молодым евреям, уезжающим в Израиль.

Ректор предлагает Совету обсудить вопрос о снятии Эткинда с должности профессора института и ставит на голосование это предложение; оно принято единогласно. После этого ректор общается:

« На заседании Совета Эткинд отсутствует. 23 апреля состоялась моя беседа с ним. На другой день, 24 апреля, ко мне пришла его жена и вручила мне конверт, содержащий письмо ко мне и письмо членам Совета. Последнее будет зачитано на заседании ».

Затем ректор переходит к характеристике деятельности проф. Эткинда и зачитывает Справку из КГБ.

Справка КГБ
(сжатая запись)

В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году; он более 10 лет знаком с Солженицыным, встречался с ним, оказывал ему практическую помощь, хранил у себя клеветнические произведения, рукопись « Архипелага ГУЛаг ». Через Солженицына был знаком с Воронянской, машинисткой, печатавший его рукописи, и поддерживал с ней хорошие отношения. На допросе Воронянская показала: « Солженицын приехал в Ленинград в 1971 году; два экземпляра рукописи « Архипелага ГУЛаг » он передал Эткинду, и далее Эткинд лично привез два экземпляра ко мне домой ». Факт хранения рукописи Эткиндом подтверждает Самутин, бывший власовец: « Несколько раз в 1971-1972 гг. Воронянская упоминала в

письмах, которые отправляла и получала через Эткинда или жену во время поездок в Москву. Летом 1970 г. Воронянская проживала на даче Эткинда.

Другие факты, характеризующие деятельность Эткинда. В начале апреля с. г. управление ГБ возбудило уголовное дело по распространению антисоветских клеветнических документов. Составились обыски у Марамзина и Хейфеца, членов профгруппы Литфонда, которыми был издан в Самиздате пятитомник стихов И. Бродского: у Хейфеца было обнаружено написанное им предисловие к этому пятитомнику, в котором автор клеветает на внутреннюю и внешнюю политику КПСС («После оккупации Чехословакии Советское государство превратилось в полуколониальную державу...» и т. п.). Была изъята также рецензия Эткинда на это предисловие, в которой содержится положительный отзыв о политической стороне предисловия. Будучи допрошенным, Эткинд показал, что является автором этой рецензии и что он никогда не скрывал своего отношения к событиям в Чехословакии. Хейфец показал, что Эткинд поддерживал близкие отношения с Бродским, демонстрировал свою привязанность к нему. Эткинд старался внушить писателям и начинающим литераторам свой взгляд на право таланта выбирать образ жизни.

В марте 1964 г. поведение Эткинда на суде над Бродским обсуждалось на заседании секретариата Союза писателей, но Эткинд и там не признал вредности своих взглядов.

О вредной деятельности Эткинда свидетельствует также его «Письмо к молодым евреям,

стремящимся в эмиграцию»; там содержатся призывы к евреям не уезжать в другую страну, а бороться за свою свободу и гражданские права здесь.

Кроме того установлено, что Эткин*д* использует свое общественное положение для протаскивания в своих работах взглядов, враждебных Советскому строю. Так было во вступительной статье к двухтомнику «Библиотека поэта» в 1968 г., получившей справедливую оценку общественности. Однако Эткин*д* продолжал публиковать вредные книги. Вот как их оценивают видные советские ученые.

Доктор филологических наук проф. П.С. Выходцев: «Взгляды Эткин*д*а на поэзию мне глубоко чужды и никак не соотносятся с марксистско-ленинскими принципами».

Кандидат филологических наук писательница Е. Серебровская (о книге «Разговор о стихах»): «У Эткин*д*а нет классовости, нет слов «Родина», «патриотизм», нет идеологической оценки поэзии».

Писатель А.Н. Чепуров пишет о политической вредности таких работ Эткин*д*а, как статья «Пауль Винс — переводчик советской поэзии» в сборнике «Мастерство перевода» и как книга о Брехте. Неверные положения книги о Брехте критиковал также А. Дымищев в рецензии в «Литературной России».

В 1949 году за методологические ошибки в кандидатской диссертации Эткин*д* был уволен из Ленинградского института иностранных языков, после чего он поступил в Тульский педагогический институт. В 1968 г. допустил политические

ошибки во вступительной статье к «Мастерам русского стихотворного перевода».

В 1973-1974 гг. были осуществлены различные мероприятия в отношении Солженицына и его круга. Однако никаких выводов Эткинд для себя не сделал. Эткинд сознательно, на протяжении долгого времени, проводил идеологически вредную и враждебную деятельность. Он действовал как политический двурушник».

Из зала голоса: просят прочесть письмо Эткинда. Оно оглашается:

«Ученому совету ЛГПИ им Герцена.

Уважаемые члены Ученого совета!

К сожалению, приступ сердечной болезни помешал мне присутствовать на заседании Совета, когда будет рассматриваться мое дело. Прошу участников заседания выслушать следующее заявление, которое я сделал бы сам, если бы имел возможность выступить.

1. В Институте им. Герцена я преподаю 23 года. Иначе говоря, почти вся моя жизнь прошла в его стенах; здесь работают многолетние мои коллеги, ученики, ставшие сотрудниками. Герценовский институт стал для меня вторым домом. Хочу выразить ему глубокую благодарность и сказать, что если мне удалось что-то сделать в науке, то в большой мере я этим обязан Институту им. Герцена.

2. Я мог бы многое сказать в свое оправдание. В настоящем же заявлении полагаю необходимым сослаться лишь на то, что в течение моей четвертьвековой работы в институте я делал все, что было в моих силах, стремясь внушить моим

слушателям любовь к поэтическому слову, интерес к гуманитарной науке, уважение к подлинным ценностям культуры. В лекционном курсе по теории и истории перевода, который я вел много лет, я неизменно проводил мысль о важности взаимопроникновения культур и их взаимообогащения за счет друг друга, о переводе, как практическом осуществлении интернационализма в области науки и художественной литературы. Едва ли найдется среди моих братьев, аспирантов или слушателей хоть один, кто бросит мне упрек в том, что в течение этих 23-х лет я недобросовестно или с вялым равнодушием исполнял свои обязанности, или что учил своих учеников не тому, чему их следовало учить. Сознание выполненного долга позволяет мне испытывать хотя бы некоторое удовлетворение.

Разумеется, это удовлетворение омрачено событиями последнего времени, послужившими поводом для настоящего обсуждения. Мне остается смириться с решениями, которые примет заседание Ученого совета, — решениями, которые я, может быть, предвосхищаю, подавая заявление об уходе из института. Прошу однако иметь в виду, что магистральная линия моего поведения определяется не двумя или тремя неудачными фразами, написанными в частных письмах и по частному поводу — инкриминируемые мне высказывания извлечены именно из документов подобного рода. В октябре прошлого года я был избран в члены ПЕН-Клуба («за выдающиеся заслуги в области перевода поэтических произведений немецкой литературы и за труды в области германистики»), но официальным письмом и телеграм-

мой отказался от этой чести, заявив, что считаю безнравственным нести ответственность за решения и декларации, которые приняты без моего участия и согласия. Я не мог поступить иначе, потому что судьба моя — здесь.

24 апреля 1974 ».

Голос : «Иезуитское письмо ! »

Выступления членов Совета.

Галина Ивановна Шукина (профессор, зав. кафедрой педагогики). Сожалею, что Эткинда здесь нет, что нельзя ему задать вопросы : выполнял ли он добросовестно свой долг или делал все возможное, чтобы расшатать здание подготовки специалистов, воспитателей, учителей? Я бы спросила : каков его статус в советском обществе? Чью философию он исповедует? Какую идеологию он защищает? Почему он поддерживает активные связи с людьми, порвавшими с нашим обществом? Материал, который нам зачитали, сам за себя говорит. Эткин — двурушник, и более того (голос : « Он антисоветчик ! ») Совершенно верно. И никакого долга перед наукой он добросовестно не выполнял. Сейчас все совершенно ясно. Человек подрывает основы нашего строя — и еще пытается сказать о том, что добросовестно выполняет свой долг. Он боролся за антисоциалистические, за антисоветские утверждения относительно нравственности (?). Он разлагал молодежь, призывал ее к борьбе — с каким строем? Со строем, который вскормил и воспитал... (и т. д.). Нет никаких сомнений, что Эткинду не место не только в

рядах преподавателей нашего института, но и вообще среди преподавателей нашей молодежи.

Б.Д. Парыгин (профессор, доктор философских наук, зав. кафедрой философии). Очевидно, Эткинд не родился таким, но его эволюция закономерна. От этой позиции недалеко до другой — до идеологической диверсии. Это несовместимо с пребыванием Эткинда в нашем институте.

Анатолий Иванович Домашнев (декан факультета иностранных языков, профессор, зав. кафедрой германской филологии). Эткинд работал на факультете иностранных языков... Я сознательно употребил слово «работал». Я все-таки думаю, что Эткинд — антисоветский отщепенец и двурушник. Он не в открытую заявлял о своей антисоветской платформе. Он не уехал в Израиль, а проводил свою политику более тонко. Такая скрытая позиция позволяла ему долго оставаться в наших рядах. Сохраняя внешнюю пристойность, он длительное время проводил эту свою линию. Сейчас надо не долго говорить, а дать оценку. Не место таким, как Эткинд, в советском коллективе преподавателей. Он должен быть изгнан из института и лишен ученого звания и степени, которые тоже получил в нашем институте.

Андрей Иванович Зотов (?) Документы, которые были оглашены, говорят о враждебной деятельности Эткинда. В своем письме он показывает, что его деятельность остается и сейчас; он прибегает и тут ко лжи. Он не только был, но и остается враждебным нашей идеологии, нашему строю.

Ему нет места среди наших советских ученых, как недостойно быть не только доктором наук, и он профессором Советского Союза (?!)

А. Мерзон (преподавательница философии). Этот случай должен показать, что нельзя быть двуликим Янусом и сидеть между двух стульев. Сейчас каждый момент нашей деятельности требует особой ответственности. Мы знаем, как критиковал Ленин национализм; то, что мы сегодня слышали, это выражение вывернутого наизнанку еврейского национализма (!). Отступления от нашей идеологии, может быть сначала и не столь значительные, приводят в конце концов к полному крушению.

Павел Львович Иванов (профессор кафедры философии). У меня нет ни одного вопроса к Эткинду. Документы свидетельствуют, что среди нас работал идеологический диверсант, внутренний Солженицын. Он калибром меньше, но по роли в международной реакции они равны между собой. У Эткинда нет двух стульев: он сидит в одном кресле, кресле Солженицына. Надо от него освободиться и сегодня же выдать ему документы.

Проф. Кульба (зав. кафедрой неорганической химии). « Скажи мне, кто твой друг... » Речь идет не об ошибках, а о планомерной, целеустремленной вражеской диверсионной деятельности среди наших советских людей. Эткинду надо было бы порекомендовать отправиться за Солженицыным, — пусть там творит и делает, что хочет.

Искак Станиславович Эвентов (профессор кафедры советской литературы). Я почти не соприкасался с Эткиндо. Из его письма видно, что он не понимает, что такое советский педагог (в зале шум: «Понимает!»). Он не учитывал того, что педагог — это духовный воспитатель. Он стал духовным отцом для проходимцев, молодых антисоветчиков, распространителей Самиздата. Эти энергичные, но молодые подпольщики — Хейфец, Марамзин — смотрели на Эткинда. Им нужно было благословение человека, который пользуется в обществе каким-то положением. Он был в известной степени знаменем какой-то части молодых, которых тов. Брежнев в речи на XVII съезде ВЛКСМ назвал сорняками. Такому человеку, как Эткинд, не место среди советских педагогов.

Вопрос с места. А в Союзе писателей как он работал?

И.С. Эвентов. Мы в разных секциях. Знаю только его труды и согласен с их оценкой.

Раймонд Генрихович Пиотровский (профессор, зав. кафедрой французского языка). Я думаю, что сердцевина вопроса совершенно ясна. От имени тех членов кафедры, которые познакомились с документами, я считаю (!), что идеологическому диверсанту Эткинду не место в наших рядах. Если нужно, кафедра это обсудит. Возникают сложные организационные вопросы: Эткинд читал курсы французской литературы. К сожалению, эти лекции читались не под контролем кафедры зарубежной литературы. Нам совместно с этой кафедрой нужно будет серьезно разобраться в продукции Эткинда и скорректировать ее —

на будущее (недоумение в зале). Нужно вообще обсудить вопрос о чтении этого курса.

Александр Израилевич Райх (?). Бесспорно, что мы все несем ответственность за все, что произошло. Бесспорно, что это поведение сохраняется в том, что Эткиндр просил зачитать его письмо в конце заседания. Я полностью поддерживаю... (и т. д.).

Л. Манизер (зав. кафедрой биологии). Хочу как советский гражданин и член партии выступить с оценкой поведения Эткиндр. Всей своей деятельностью я обязан институту Герцена, у нас атмосферы для процветания двурушничества нет и быть не может!

Юрий Вячеславович Кожухов (профессор истории СССР, член-корреспондент Академии педагогических наук, проректор по научной работе). Вопросов Эткиндр я бы тоже не задавал. Двойственности тут нет — это тактика врага. Он на своей позиции стоит давно и твердо, начиная с 1949 года, и кончая 70-ми годами, когда эволюция неизбежно столкнула его с такими подонками, как Солженицын, Хейфец, Бродский и др. Наш институт проводил определенное профилактическое мероприятие: в этом же зале Ученый совет осудил в 1968 году поведение Эткиндр, но действия это не возымело.

И беда наша и вина в том, что за 23 года работы Эвентова (!) в нашем институте (смех в зале), простите, Эткиндр, мы его не распознали.

Он в письме пишет, что толковал своим слуша-

телям о любви к поэтическому слову, о гуманитарной науке, внушал « уважение к подлинным ценностям культуры », но не пишет, что старался воспитать коммунистическую убежденность. Но как мы-то это допустили? Мы ему создавали зеленую улицу. Он руководил аспирантами, ездил по городам и весям и оппонировал, и издавал, и редактировал ученые труды, читал ответственные курсы. Значит, мы плохо координируем наш учебный процесс, плохо знаем наших людей. Я согласен с двумя предложениями: на пушечный выстрел Эткинда к студенческой аудитории подпускать нельзя. И на основании новой инструкции ВАК'а мы имеем права лишить Эткинда ученого звания профессора. (Читает параграф о возбуждении ходатайства перед ВАКом.) И звания мы можем лишить его сегодня же. Что касается ученой степени, то вопрос должен решать Ученый совет, присваивавший эту степень.

Оратор из президиума (видимо, секретарь партийного комитета). Сегодня стыдно говорить: запятнано слово « герценовец », которое означало — « воспитатель гражданской и политической зрелости ». Эткинд эту негативную сторону блестяще проводил в течение 23 лет работы в институте. Основное оружие — убежденность самого воспитателя; студенты воспринимают позицию учителя. Как факультет мог оценивать лекции Эткинда блестящими? На своих занятиях он именно проводил свою враждебную позицию.

Давайте посмотрим на самих себя. Надо оценивать не количество научных трудов, а политическую и гражданскую зрелость человека. Наша

литературная общественность очень плохо знала его труды.

Два часа назад состоялось совместное заседание парткома и месткома. Они приняли решение просить Ученый совет о лишении звания и освобождения от работы в институте Эткинда.

Ректор. Желаящих выступить еще много, но вопрос ясен. Дана правильная оценка, правильно расставлены акценты.

Избирается счетная комиссия: Иванов (председатель), Домашнев, Волкова. Два бюллетеня:

1) об освобождении от должности

2) ходатайствовать перед ВАКом о лишении звания профессора. Результаты голосования по обоим бюллетеням: принято единогласно (57 голосов — за).

Таков этот документ, позволяющий читателю проникнуть в конференц-зал института и принять участие в этом столь необычном заседании. Я хотел было его комментировать по ходу изложения, но отказался от этого: запись достоверна в своей цельности, комментарии нарушили бы единство. Она опубликована на русском языке и в переводах; понятно, что во Франции или в Германии, при всем уважении к печатному слову, ей не верят. До меня не раз доходили весьма категорические суждения университетских преподавателей и студентов: это — фальшивка. Из французских правокоммунистических кругов доходили еще более решительные оценки: это — антикоммунистическая провокация, очередная негодная

попытка натравить западную интеллигенцию на Советский Союз. Провокация эта к тому же грубая, бездарная. Ну, возможно ли, чтобы 57 профессоров предали единодушному проклятию и изгнанию своего коллегу, четверть века работавшего в их среде, на основании туманных, ни на чем не основанных обвинений, не пожелав даже поглядеть на него и выслушать его оправдания? Возможно ли, чтобы полицейские и партийные чины вторглись в университет, оккупировали зал и, безмолвно терроризируя Ученый Совет, навязали ему свою волю? Возможно ли, чтобы в 1974 году ученого обвиняли, помимо прочего, в каких-то «методологических ошибках» 1949 года, то есть, значит, совершенных в самый разгар давно осужденной сталинской диктатуры? Возможно ли, чтобы Коммунистическая партия Советского Союза брала на себя ответственность за все, что творилось тогда, двадцать пять лет назад, в 1949 году, и чтобы такой представительный синклит ученых, такой собор мудрейших, как Ученый совет Педагогического института, согласился такую ответственность разделить? Все это неправдоподобно, всего этого не было, потому что этого не могло быть никогда. Это «недействительно, потому что неразумно».

Да, дорогие мои западные собратья, хоть и неразумно, а тем не менее — действительно. И происходит это не в Китае, в пору культурной революции, а в Европе, недалеко от вас, в европейском городе Ленинграде, где хранится библиотека Вольтера, где висят лучшие полотна Матисса, где в двадцатые годы жили русские формалисты, «Серрапионовы братья», обэриуты, где

творили Пушкин, и Тютчев, и Блок, где был (когда-то) один из лучших университетов мира (его давно уже разогнали — недаром он до сих пор носит имя А.А. Жданова!). Многие читатели этой записи задают мне недоуменные вопросы, и это понятно — они, в особенности иностранцы, не в курсе дела, но ведь им это и не так необходимо, голосовать они не должны. Те же вопросы приходили в голову членам Ученого совета, — ведь и они ничего не знали, не понимали, и ни один из них не посмел открыть рот, чтобы спросить, просто — спросить. Нет, уважаемый председатель Ученого совета, я поднял руку не для того, чтобы возражать; не будете ли вы так любезны объяснить мне — нам, потому что мы все пребываем в равном неведении — объяснить, значит, нам:

— О какой политической ошибке, допущенной в книге «Мастера русского стихотворного перевода», идет речь в Справке КГБ? Из приведенной цитаты понять что-либо трудно;

— Откуда КГБ известно, хранил Эткинд или не хранил рукопись «Архипелага ГУЛаг»? Был обыск, обнаруживший эту рукопись? Что нашли еще?

— О каком воззвании к молодым евреям тут говорится? Какие в нем содержатся призывы?

— Кто такие Воронянская и Самутин? Почему их допрашивали? И почему надо принимать к сведению слова бывшего власовца?

— Что за дело Хейфеца и Марамзина? Какое касательство к нему имеет Эткинд?

— Каковы отношения Эткинда с Бродским? Что было на самом деле в секретариате Союза писателей?

— В «Справке» говорится об отзывах Выходцева, Серебровской, Чепурова. Кто они такие? Где опубликованы их отзывы? Что значит — «Эткинд протаскивал в своих сочинениях враждебные взгляды»? Разве у него есть собственное издательство, или на него не распространяются законы советской цензуры?

— О каких методологических ошибках 1949 года идет речь? Почему в «Справке» вспоминаются дела четвертьвековой давности?

— Эткинд в своем письме Совету пишет об отказе стать членом ПЕН-клуба. Каковы обстоятельства этого отказа? Чем он объясняется?

Разумеется самый важный вопрос, — его мне задавали бесчисленное множество раз, устно и письменно, — уже формулирован выше: как это могло быть, чтобы 57 членов Ученого совета единодушно, при голосовании *тайном*, когда в бюллетене достаточно вычеркнуть строчку «согласен», а не строчку «не согласен», — чтобы все 57 членов Совета потребовали изгнания профессора, который работает в их кругу почти четверть века? Чтобы те же 57 членов Совета поддержали абсурдное и даже непристойное требование — лишить их коллегу ученого звания профессора? Чем это объяснить? Может быть, убежденностью всех членов Совета в том, что перед ними политический заговорщик, враг советского режима? И тем, что все члены Совета — преданные сторонники этого режима, питающие ненависть к любому не согласному с ним человеку?

На заседании Ученого совета ни один из всех этих вполне естественных вопросов не был задан. И нельзя миновать еще одного вопроса:

— Почему на Ученом совете никто не задал ни одного вопроса ?

На все остальные непременно отвечу, — только позднее. На последний отвечу сразу :

из-за ледящего душу, парализующего язык и мысли, привычного и неодолимого, постыдного и грозного

СТРАХА.

**
*

— Какие у вас были отношения со всеми этими людьми, выступавшими на заседании ? Кто они такие ? Часто ли вы их встречали за четверть века совместной работы ? Может быть, среди них есть соперники, личные враги, завистники ?

Об этом меня тоже спрашивали не раз, пытаюсь (это так понятно !) подставить на место загадочных величин простые человеческие объяснения. Вот на последний вопрос следует ответить безотлагательно, — тем более, что он, как увидит читатель, связан с дальнейшим изложением.

Из 12 ораторов, выступавших на заседании, я знаком только с четырьмя. Остальных никогда в глаза не видел, а, если и видел, то едва ли узнал бы. Можно полагать, что они со мной тоже незнакомы; нет, никаких причин для личной неприязни у Щукиной, Парыгина, Зотова, Иванова, Кульбы и прочих не было. Они выполняли — не всегда достаточно умело и добросовестно, но все же выполняли — партийное задание, отвоевывая себе право не выйти на пенсию, получить квартиру, съездить в Японию. Люди они по-своему грамотные, за исключением, кажется, одного — какого-то Зотова.

Несколько слов об одном из моих знакомых. Исаак Эвентов — критик, занимается советской литературой, не так давно (не без моей помощи) защитил докторскую диссертацию о сатирической публицистике Горького; он заявил, что « почти не соприкасался с Эткиндо́м » — это ложь. Соприкасался, и не так уж редко. Даже дома у меня бывал, книги дарил с прочувствованными надписями (« ..в знак глубокого уважения и симпатии »), был достаточно откровенен, не сомневаясь в порядочности собеседника. Через недели две после заседания я позволил себе лишь один безобидный жест — отослал Эвентову подаренную мне книгу « Лирика и сатира », снабженную слишком уж дружески-почтительной надписью, с письмом: дескать, возвращаю вам, уважаемый, этот ваш подарок, который, если вдруг его при обыске найдут, может дать основание обвинить вас в двуличии. « Знаю только его труды и согласен с их оценкой » — сказал Эвентов Ученому совету, и это тоже ложь. До заседания, ставшего для него экзаменом на устойчивость и честность, он с изрядным одобрением отзывался о статьях или книгах, которые читал; прибегая к моей поддержке и помощи, не оговаривался, что видит во мне идеологического диверсанта. Лицемерие? Конечно, лицемерие, но ведь Эвентов был уверен в безнаказанности; меня на заседании нет, присутствующие — люди проверенные и, главное, перепуганные; кто же предаст его речь гласности? На записку мою, вложенную в пакет с его « Лирикой и сатирой », он ответил уклончивым и лукавым письмом — разные ходят слухи, не надо им верить, мало ли какие глупости рассказывают о

его выступлении, стенограммы ведь я не читал... А я как раз читал. Потому что мы живем, как уже говорилось, в другое время, — мы узнаем обо всем и всё предаем гласности. Трудно Эвентова не понять: ему 65 лет, он еврей, студенты давно и демонстративно на его лекции не ходят — лекции, во-первых, лживые, во-вторых, убийственно скучные; по всем правилам надо его уволить на пенсию. И несомненно уволили бы, не произнеси Исаак Эвентов своей речи о том, как почти незнакомый ему Эткинд стал духовным отцом проходимцев, молодых антисоветчиков... Впрочем, не слишком эта речь подняла его в глазах начальства. Известный своими взглядами проректор Кожухов допустил случайную оговорку: вместо Эткинда он назвал... Эвентова, возбуждив смех даже в этой насмерть перепуганной аудитории. Оговорка была случайная, но, как всякая случайность, в известном смысле закономерная. Есть у Брехта комедия *Mann ist Mann*, которая в русском переводе правильно названа: *Что тот солдат, что этот*. Для Кожухова Эвентов прежде всего еврей, и тоже на «Э» — можно ли не спутать? *Что тот еврей, что этот*. Вот почему смеялись. И это был единственный момент веселья посреди средневековой мрачности, царившей в конференц-зале. Смешно, не правда ли? «Что тот еврей, что этот».

Заседание общеконференц-институтского совета окончилось тайным голосованием. Членам совета роздали баллотировочные бюллетени, и каждый из них, как говорится, остался наедине со своей совестью. Впрочем, это только так говорится —

наедине : каждому, когда он наклонялся над столом, чтобы вычеркнуть *согласен* или *несогласен*, казалось, что за его спиной маячит стукач и следит за движением карандаша. Оглянуться — страшно или просто неловко (подумают, что я боюсь). К тому же в наше время криминалистика сделала большие успехи : *они* определяют голосовавшего *против* по штриху, по карандашу, по отпечаткам пальцев. Вот если бы в перчатках... Я не фантазирую, я рассказываю со слов свидетелей. А если бы в бюллетене было : *согласен* или *несогласен* — расстрелять ? Или — четвертовать, колесовать, утопить ? Неужели и в таком случае страх оказался бы сильнее совести ? Опыт десятилетий говорит : да. Страх сильнее, — сильнее всего : чести, совести, личных симпатий, порядочности, интеллигентности. Всё это — свойства наносные, благоприобретенные, страх же — биологический инстинкт, животное чувство физиологического самосохранения.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Результаты голосования объявлены. Члены Совета, пряча друг от друга глаза, расходятся. Но не всем можно уйти домой — на 13 часов назначен второй Ученый совет, факультетский. Второму совету решать уже нечего, все решено без него; он должен просто заклеить профессора, работавшего много лет на факультете. Разница немалая : там, в « Большом совете », с Эткиндо почти не знакомы, здесь каждый выступающий встречался с ним чуть ли не ежедневно. Второй совет проводить более рискованно, и он — страш-

нее, хоть и не призван ничего решать тайным голосованием. Члены его собираются в кабинете декана, — большинство их них не знает, о чем пойдет речь; только ползут зловещие слухи. Снова я предоставляю слово документу — на этот раз я располагаю не свободной живой записью, сделанной сочувствующим свидетелем, а официальным протоколом, скрепленным подписями председателя и секретаря, и кругой печатью.

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Совета факультета иностранных языков ЛГПИ и.м. Герцена

25 апреля 1974 г.

Повестка дня :

1. О форме эстетического воспитания студентов факультета
2. Разное.

Присутствовали : члены Совета факультета, члены партбюро и профбюро, партгруппорги, профорги, — всего 35 человек.

Поступило предложение председателя Совета включить в повестку дня вопрос о профессоре Эткинде, рассмотренный Советом института 25 апреля, и поставить вопрос этот первым.

Предложение принято.

СЛУШАЛИ : Сообщение декана факультета Домашнева А.И. о решении Совета института от 25.04.1974 г. о лишении профессора кафедры французского языка Эткинда Е.Г. занимаемой должности и ученого звания.

Эткинд Е.Г. в течение долгого времени занимался целенаправленной деятельностью, направленной против политики партии и правительства, поддерживал постоянную связь с Солженицыным лично во время посещения последним Ленинграда, а также через доверенное лицо, хранил дома самиздатовский экземпляр книги Солженицына « Архипелаг ГУЛаг ».

Будучи предупрежден несколько лет назад относительно антисоветского характера некоторых его статей, Эткинд Е.Г. признал свои ошибки и обещал их исправить.

Тем не менее Эткинд Е.Г. продолжал оставаться на позициях антисоветчика и националиста. Он обратился с воззванием к еврейской молодежи, являющимся определенной политической платформой, пронизанной духом антисоветизма, призывая молодежь не покидать Советского Союза и вести внутреннюю подрывную антиправительственную пропаганду, что является, по его мнению, более эффективным, чем антисоветские заявления, произносимые за рубежом. Тем самым Эткинд Е.Г. подтвердил, что он разделяет позицию и политические убеждения Солженицына.

Исходя из этого, Совет Института постановил лишить профессора кафедры французского языка факультета иностранных языков Эткинда Е.Г. занимаемой должности и учёного звания и ходатайствовать перед Высшей Аттестационной Комиссией о лишении Эткинда Е.Г. учёной степени доктора филологических наук.

СЕГАЛЬ М.М. (доцент кафедры английского языка): Пытался ли Эткинд Е.Г. оправдать свои

поступки, или он признает себя виновным перед народом и перед страной?

ДОМАШНЕВ А.И.: Эткинд не признал своей вины и не пытался себя оправдать, он ни в чём не раскаивается.

ЖУЧКОВА К.К. (член парткома): Этот вопрос слушался сегодня на совместном заседании парткома и месткома, где была очень правильно высказана оценка недостаточно чёткой работы деканата, партбюро и профбюро факультета иностранных языков. Нельзя было не видеть политической слепоты Эткинда Е.Г., который «заблуждался» с 1949 года. Авторитет Эткинда мешал товарищам подсказать ему его ошибки, помочь почувствовать их.

ТУРАЕВА З.Я. (заведующая кафедрой английского языка): Сообщение о деятельности Эткинда Е.Г. является слишком большим ударом для преподавателей факультета, которые поражены двойственностью лица Эткинда. Ему было очень много дано, он имел всевозможности для плодотворной научной работы, и тем более непостижительно его поведение. Все члены Совета факультета единодушно поддерживают решение Совета института.

СЕГАЛЬ М.М.: Эткинд отходил от пролетарской классовой позиции в течение многих лет. Нам тяжело узнать, что за нашими спинами он действовал как классовый враг. Мы не всегда правильно оцениваем людей. Надо оценивать их не по внешним проявлениям, а саму душу человека, не следует судить о качествах человека по его академической деятельности. В данном случае

наша ошибка в том, что мы не пытались дать всестороннюю оценку Эткинду.

Совет института поступил правильно, лишив Эткинда занимаемой им должности и ученого звания.

КАБАКЧИ В.В. (преподаватель английского языка, член партбюро): В одном из выступлений прозвучал справедливый упрек в адрес партбюро. На примере Эткинда Е.Г. мы видим, как идеологическая борьба вторглась в нашу жизнь. Эткинд Е.Г. не просто заблуждавшийся человек, он пытался найти дорогу к молодежи, и особенно к еврейской молодежи, которой много у нас на факультете.

АФАНАСЬЕВА А.Л. (заведующая межфакультетской кафедрой французского языка): Мы знали Эткинда Е.Г. много лет и испытывали обаяние его личности со многих сторон. К сожалению, мы не знали многих отрицательных сторон его личности. Тяжело сознавать, что Эткинд выбрал между нами и отщепенцами, мелкими людьми. Причиной этому его индивидуализм и недостаток общения с коллективом. Здесь есть отчасти и вина факультета. Эткинду разрешили самостоятельно повышать идеологический уровень; будучи свыше двадцати лет преподавателем ЛГПИ им. Герцена, он не был членом профсоюзной организации факультета, т. к. состоял на профсоюзном учете в Союзе Советских писателей.

Коллектив межфакультетской кафедры французского языка поддерживает решение Совета института.

ДИАНОВА Б.А. (Секретарь партбюро факуль-

тета, преподаватель немецкого языка): Поведение Эткинда не вызывает ничего, кроме осуждения. Причина такого поведения — полная политическая безграмотность. Эткинд не понимает сущности классовой борьбы. Он неоднократно освещал события в Венгрии и Чехословакии с враждебных нам классовых позиций. Он забыл истину о том, что классовая борьба существует постоянно. Из этого случая следует сделать вывод о том, что заведующие кафедрами должны лучше знать своих преподавателей.

БАГРАМОВА Н. В. (преподаватель, председатель профбюро факультета): Как правильно отметил Сегаль М. М., мы не всегда используем всесторонние критерии для оценки личности преподавателя.

В данном случае преподаватели факультета находились под влиянием научного авторитета Эткинда.

Незаурядный талант лектора и личное обаяние сделали Эткинда «кумиром» студентов и слушателей Высших Педагогических курсов. Тем больший ущерб приносил он факультету, так как, читая лекции слушателям Высших Педагогических курсов, он распространял свое влияние на представителей других вузов страны.

Профбюро факультета поддерживает решение Совета института.

ДОМАШНЕВ А. И.: Эткинд принимал участие в выпуске самиздатовской литературы. Он написал рецензию на предисловие Хейфеца, где он выступал не как рецензент, а как наставник ан-

тисоветской группы. В этом документе Эткинд сознательно излагает свою позицию, расширяя рамки рецензии. Лицо его определено. Это сложившаяся личность, и свою позицию он проводил в жизнь. У нас нет двух мнений на этот счёт, и мы должны сделать необходимые выводы. К сожалению, многие случаи измены Родине и отказа от Родины приходится на наш факультет.

В предыдущих выступлениях прозвучало правильное мнение относительно того, чтобы оценивать людей однозначно. Эткинд не был двуличным. Он хотел остаться в СССР, чтобы проводить работу внутри и действовать вразрез с интересами нашей Родины подпольным путем.

Мы должны сделать из всего этого надлежащие выводы, — нельзя обольщаться тем, что у нас всё в порядке с точки зрения идеологической работы. Партбюро следует поставить идеологическую работу на должную высоту и проявить принципиальность по отношению к каждому преподавателю.

АЛЕКСАНДРОВ Н.М. (профессор кафедры немецкого языка): Мы должны вдумываться в нашу деятельность и в деятельность окружающих нас товарищей. Следует обращать внимание не только на научную, но и на политическую активность преподавателей.

ДИАНОВА Б.А. : (вопрос к Пиотровскому, Р.Г.) На Совете института вы сказали, что на нашем факультете литературу должны читать не представители лингвистических кафедр, а преподаватели кафедры зарубежной литературы. Разъясните, пожалуйста, ваше заявление.

ПИОТРОВСКИЙ Р. Г. (Заведующий кафедрой французского языка): Передача курса литературы на кафедру зарубежной литературы — один из вариантов. Другой вариант — организация комиссии по зарубежной литературе и страноведению под руководством кафедры зарубежной литературы.

Когда Эткин вел стилистику, он был на виду, выступал на симпозиумах как минимум 2-3 раза в год.

Что касается литературоведческой деятельности Эткинды, то возникали случаи, которые рассматривались как ошибки и описки. Я несколько раз был на лекциях Эткинды по литературе, но не мог проконтролировать его, так как могут встречаться подтексты, которые проконтролировать может только профессионал.

ДОМАШНЕВ А.И.: Согласен с мнением Пиотровского Р.Г. о необходимости организационных мер в отношении курса литературы. Очевидно, следовало бы создать межкафедральное предметное объединение по литературе. Надо наладить межкафедральные связи с кафедрой зарубежной литературы. Нужно повысить требовательность к себе, к кадрам, которые мы набираем. Но пока факультет и кафедры полностью отвечают за содержание учебного материала, что относится и к литературе.

Я выражаю уверенность, что присутствующие здесь члены Совета, партийного бюро и профбюро, будучи единодушными в своей оценке личности Эткинды, смогут правильно ответить на

*вопросы, если они возникнут у кого-либо из не-
присутствующих на данном заседании.*

Председатель Совета факультета
иностранных языков
Профессор

(А.И. Домашнев)

Протокол вела председатель профбюро

(Н.В. Баграмова)

И опять, как на том заседании: ни одного во-
проса. Там хоть *Справку КГБ* огласили, там были
хоть какие-то признаки информации; ущербной,
искаженной, фальшивой, но — информации. А
здесь? Приведенный документ говорит сам за
себя, пояснений он, казалось бы, не требует. Но я,
рискуя быть многословным, прокомментирую его.
Я предлагаю моему читателю, преподавателю
Сорбонны или Оксфорда, Геттингенского или Ам-
стердамского, Цюрихского или Женевского, Вен-
ского или Экс-ан-Прованского, Йейльского или
Гарвардского университетов сделать усилие во-
ображения и поставить себя на место любого из
участников этого заседания, — ну, скажем, про-
фессора Александрова.

ОТСТУПЛЕНИЕ О СТАРОМ ПРОФЕССОРЕ

*Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов : взгляни — и мимо.*
Данте. Ад. III, 49-51

Николай Михайлович Александров — старый человек (недавно отмечалось его семидесятилетие), добросовестный ученый, специалист по немецкой и русской грамматике. Мой давний добрый знакомый, он словоохотлив и доброжелателен, отличается прекрасными старомодными манерами, изысканно дворянским произношением на всех языках, офицерской выправкой. И вот приходит профессор Александров на очередное заседание своего Совета, где, согласно повестке, будет обсуждаться вопрос, который его, человека в высшей степени культурного, интересует : *О форме эстетического воспитания студентов.* Направляясь на Совет, он, вероятно рассчитывает увидеться со своим коллегой Эткиндо и, как всегда, поговорить с ним о стихах и театре. Войдя в привычно светлый кабинет ректора, где за длинным столом и по стенкам сидят члены Совета и (на этот раз) многочисленные приглашенные, он улавливает какую-то тревогу, и, садясь к столу, наклоняется к соседу :

— Что случилось ?

Сосед молчит. Молчат все. Встает декан — заседание началось. Речь идет вовсе не об эстетическом воспитании студентов, но о долголетней « целенаправленной деятельно-

сти Эткинда, направленной против политики партии и правительства ». Профессор Александров еще пока ничего не понял, он слышит зловещие словосочетания, возвращающие его не то к сорок девятому, не то к двадцатым годам, — он ведь из тех, кто всё хорошо помнит: как громили оппозицию и требовали расстрела для Бухарина, Рыкова, Зиновьева, и как топтали формализм и формалистов, и как выкорчевывали идеализм в языкознании, и как душили Зощенко и Ахматову, и как давили космополитов, и как разоблачали марровцев и веселовщину, и как изгоняли Пастернака... Вокруг него много молодых, не прошедших такой, как он, жизненной школы, но он не смотрит на них; он знает, на таких собраниях можно смотреть только на оратора или рисовать кружочки и чертиков. До его слабеющего старческого слуха доносятся давно знакомые слова: « против политики партии и правительства », « через доверенное лицо », « антисоветский характер статей », « признал свои ошибки », « на позициях антисоветчика и националиста », « обратился с воззванием », « подрывная антиправительственная пропаганда », « политическая слепота », « пролетарская классовая позиция ». Какая привычная фразеология! Профессор Александров, помимо прочих лингвистических вопросов, изучал и фразеологию — неплохой иллюстративный материал для его теоретических выкладок! Правда, среди набивших оскомину оборотов звучат и новые имена, новые

словесные темы — прежде их не было: «связь с Солженицыным», «самиздатовский экземпляр», «еврейская молодежь», «лишение ученого звания и ученой степени», «события в Венгрии и Чехословакии»... О чем же все-таки идет речь? Понятно, что Эткинда бьют по первому разряду и что его скорее всего арестуют — иначе зачем лишать степеней? Но не совсем понятно, за что. Профессор Александров начинает прислушиваться и припоминать сказанное: Эткиндр «поддерживал постоянную связь с Солженицыным лично во время посещения последним Ленинграда». Угрожающе, хотя не совсем понятно; что это значит: «постоянная связь» — «во время посещения Ленинграда»? Постоянной была связь — или только когда Солженицын приезжал? И почему один писатель не может «поддерживать связь» с другим? А часто ли Солженицын приезжал? «Хранил дома самиздатовский экземпляр книги Солженицына "Архипелаг ГУЛаг"». Хранил... Для чего? Давал другим читать? Кому? Или — просто хранил, для вечности? Если так, то в чем преступление? Мало ли кто из нас что хранит, никому не показывая. Кроме того, каким образом стало известно, что именно Эткиндр у себя дома хранит? У него сделали обыск и нашли этот экземпляр? Или обыска не было, и Эткиндр сам признался органам, что хранит? Так, так, слушаем дальше. «Будучи предупрежден несколько лет назад об антисоветском характере некоторых его

статей, Эткинд Е.Г. признал свои ошибки и обещал их исправить». Профессору Александру больше семидесяти, много он слышал на своем веку глупостей, но таких... Выходит, Эткинда предупреждали об антисоветском характере... Предупредили? Об антисоветском? За «антисоветский характер» у нас не предупреждают, а сажают или, в лучшем случае, выгоняют. А его «предупредили», и он «признал свои ошибки» (антисоветские?), и его продолжали печатать? Всего две недели назад он подарил мне свою последнюю книгу «Русские поэты-переводчики от Тредьяковского до Пушкина», изданную Академией Наук. Как раз в последние «несколько лет» он печатался особенно часто. Что же обозначает эта фраза? О каких «некоторых» антисоветских статьях Эткинда идет речь?

Что там дальше? «Воззвание к еврейской молодежи»... О, это серьезнее. К чему же он ее призывает? Уезжать в Израиль? Воевать с арабами? Нет, оказывается, это воззвание является «определенной политической платформой, пронизанной духом антисоветизма» (платформа... пронизана? хм!) и призывал Эткинд «молодежь не покидать Советского Союза»... Молодец Эткинд, правильно призывал, давно пора сказать этим юношам и девушкам, что, уезжая в Израиль, они покидают свою страну и свою культуру... Ах, вот что, он уговаривал их не уезжать, чтобы «вести внутреннюю антиправительственную пропаганду, что является, по его мнению,

более эффективным, чем антисоветские заявления, произносимые за рубежом». Вообще то это правильно, изнутри действеннее, чем снаружи, но — неужто Эткинд так прямо и написал? И где? И как удалось ему обратиться ко всей еврейской молодежи? В печати? По радио? Странно.

И профессор Александров, рисуя кружочки да чёртиков, набрасывает на том же листе бумаги несколько вопросов, которые следовало бы задать декану — пока их не выяснишь, обвинения нельзя признать серьезными. Какая же была связь с Солженицыным — постоянная или нет? Хранил Эткинд «Архипелаг ГУЛаг» или распространял? Кто и как обнаружил в его хранении этот экземпляр?.. Вопросов много, не менее десятка, сейчас он задаст хотя бы часть — и даже не из протеста, просто из честности. Но он слушает, как выступают один за другим его сотрудники, понимающие не больше, чем он, и как всё более грозно звучит металл в их голосах: «виновен перед народом и страной», «действовал за нашими спинами как классовый враг», «идеологическая борьба вторглась в нашу жизнь», «полная политическая безграмотность», «не понимает сущности классовой борьбы», «подпольным путем», «измена Родине».

— Кто еще просит слово? Может быть, вы, Николай Михайлович?

Професор Александров понимает: председатель обратился к нему, как представителю старшего поколения, как авторитетному уче-

ному, чей голос важен для молодых. Да, он просит слова, он медленно, с трудом поднимается. Сейчас он задаст свои недоуменные вопросы.

Но ему более семидесяти, почему не задают вопросов или не возражают молодые? Им не грозит ни пенсия, ни инсульт. Он старик, он висит на волоске. Его в институте давно держат из милости — в его памяти, когда он поднимается для выступления, проносится эпизод, имевший, место лет двенадцать назад. Я расскажу о нем сам, своими словами, и на некоторое время прерву повествование.

Однажды, — было это, кажется, в 1962 году, — всех нас, преподавателей факультета иностранных языков, созвали в кабинет ректора, в ту пору А.И. Щербакова. Ректор сказал :

— Мы собрались по крайне неприятному поводу, позорящему институт. Слово для информации имеет представитель Комитета Государственной Безопасности.

Где-то в углу появился молодой человек в незаметном коричневом пиджаке. Тихим голосом он сообщил : несколько лет подряд в Верховный Совет СССР приходили анонимные письма, порочившие советский строй и социалистическую действительность. КГБ безуспешно искал автора; ни по почерку, ни по почтовым штемпелям, ни по иным признакам он никого обнаружить не мог. — Мы наконец напали на след анонимщика — раздельно произнес молодой человек. — Это

— преподаватель вашего института, доцент Николай Михайлович Александров. Он здесь, среди вас, пусть же сам расскажет, почему да как писал он свои грязные поклепы.

Белый как полотно Александров заговорил дрожащим голосом. Много лет живет он в одной комнате с душевнобольной женой и его собственная психика не совсем в порядке. Но каждое такое письмо он писал под впечатлением какого-нибудь сильного переживания. Вот, например, о последнем письме. В тот день он узнал, что в Киеве произошла ужасная катастрофа : прорвало дамбу близь Бабьего Яра и десятиметровая волна пульпы, обрушившись на город, затопила дома, трамваи, машины, погибло множество людей. (Голос Александрова окреп). Он вышел на улицу, думая увидеть газету, окаймленную черной рамкой в знак национального траура, но обнаружил на газетном щите торжествующие заголовки : еще одна победа в космосе ! Громкоговорители на улицах и площадях, ликуя, возвещали ту же победу. Потрясенный контрастом между ожиданием и реальностью, Александров зашел на почту и тут же левой рукой написал свое очередное возмущенное письмо.

Члены Совета испытывали неловкость. Кто же он, этот Александров, сумасшедший или праведник ? Ректор по очереди обращался к участникам заседания, речи стали накаляться, вступал в действие закон эскалации. Когда слово получила бесстыдно демагогическая Галина Качкина (которую лас-

ково за глаза называли Сту-Качкиной) и зазвучали привычные слова о забвении классовой борьбы, о воде на мельницу американского империализма и западногерманского реваншизма, о категорической невозможности подпускать к студентам такого коварного врага, такого двурушника, как... внезапно вновь поднялся молодой человек в коричневом костюме и, прервав яростную декламацию разбушевавшейся фанатички, вполголоса произнес :

— Мы передаем вам в Педагогический институт это дело для того, чтобы вы, педагоги, приняли разумные меры. Мы в Комитете не считаем необходимым отстранять Николая Михайловича от преподавания. Он ведь учит студентов грамматике немецкого языка ? Что же, мне кажется, пусть учит. Может быть, следует его освободить от заведования кафедрой, но это уж решайте сами. Увольняя его, вы лишите себя и нас возможности его воспитывать.

Вот какой был кроткий Комитет в 1962 году, в золотую пору Хрущева.

Александров не только остался преподавателем, он даже защитил докторскую, получил звание профессора, и дожил в институте до почтенного семидесятилетнего возраста. Но всегда над головой его висел дамоклов меч — в любую минуту ему могли припомнит те анонимки.

Вот почему профессор Александров, поднявшись с намерением задать несколько

вопросов, произнес вместо этого речь, — сам того не желая. Нет, он не клеймит Эткинда, не называет его подпольщиком или террористом, он держится в границах приличия :

— « Мы должны вдумываться в нашу деятельность и в деятельность окружающих нас товарищей » — тянет он многими уже пережеванную мочалу и с удовлетворением отмечает про себя, что говорит полную бессмыслицу. — « Следует обращать внимание не только на научную, но и на политическую активность преподавателей ». Вторая фраза ничуть не содержательнее первой, и Александров садится в сознании выполненного долга и избегнутой опасности. В самом деле, он не покривил душой, дурного не сказал, товарища не предал, но и начальство как будто удовлетворится : от него и не ждали политической речи (для этого есть другие), он просто должен числиться в списке выступавших — свою роль в этом спектакле он сыграл. И все довольны.

Все довольны. И даже я не заявлю профессору Александрову претензий. Мне, конечно, жаль, что он не поставил вопросов, которые тревожили его, которые рвались наружу. А все же не это меня удручает, — другое : благородный, интеллигентный, равнодушный человек, даже он превращен в осторожного себялюбца-обывателя. Да и может ли быть иначе ? Одно из самых страшных свойств системы : искажение людей, уничтожение их как самостоятельно существующих и себя проявляющих индивидуальностей. И еще мне

горько : человеческий голос так и не прозвучал ни разу на этих заседаниях — ни утром, ни днем.

Может быть, он прозвучит вечером ?

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Здесь, однако, следует отступить от хронологической последовательности рассказа, и выйти за пределы одного дня — 25 апреля. В тот день исполнить все, что было предписано, Институт не успел; «Большой совет» постановил снять с Эткинды научное звание профессора, лишить же его ученой степени доктора филологических наук он не имел права. По закону (а ведь мы законники !) снять степень может только тот Совет, который ее присуждал; таким был Совет филологического факультета (официально — Русского языка и литературы). Именно там я защищал докторскую в октябре 1965 года, защищал необычно — при большом стечении публики, в Колонном зале института, и при участии в качестве оппонентов двух прославленных академиков, В.М. Жирмунского и М.П. Алексеева. Несмотря на довольно специальный характер темы — «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» — аудитория реагировала с энтузиазмом, и защита прошла, можно сказать, эффектно.

Тот же Совет, который, почти десятилетие назад, единодушно и по высшему разряду присудил докторскую степень, теперь должен был ее снимать. Начальство правильно рассудило, что это дело рискованное : а вдруг Совет не захочет плюнуть самому себе в физиономию ? Тем более,

что все эти девять лет я был его членом, и весьма деятельным. В Совете состоят профессора литературоведения и языкознания, которыми нелегко манипулировать: многие из них — самостоятельные, дальновидные люди, дорожащие своей репутацией, иногда международной. Как же быть? А вдруг — осечка? Рисковать невозможно.

Выход был придуман — не знаю кем — довольно хитроумный. Устроили Совет особый, как бы филологический, но, в то же время, и не совсем; он будет казаться научно-специальным, хотя по административной иерархии и более высоко стоящим, нежели тот, ненадежный. Это — Совет по гуманитарным наукам. Несколько членов филологического в него, понятно, войдут, это будут самые надежные, самые проверенные и послушные. Зато в заседании примут участие и другие, которые, как говорится, «свои в доску» — историки КПСС и СССР, обществоведы, философы, политэкономы, теоретики атеизма... В «Большом совете» состоят математики, биологи, химики (один из них, химик, даже выступил, заклеил) а здесь исключительно гуманитары, так даже спокойнее. За физика или генетика поручиться трудно — мало ли какой он номер выкинет, особенно если попадетя ученик академика Сахарова, или там обожатель академика Н.И. Вавилова. Слава богу, все прошло спокойно, но устроителей смутная тревога не покидала... Профессора же по истории партии или по философии люди благомыслящие, покорные, к тому же они несомненно «гуманитарии», значит — специалисты. Выходит, все делается по правилам — комар носу не подточит.

Заседание это надо было подготовить, — тем

более, что и такого Совета, в сущности, не было; его еще надо было формировать. Вот почему между снятием звания и снятием степени прошло целых десять дней (да еще праздники тут вклинились : 1-2 мая, 9 мая, субботы, воскресенья). В первых числах мая жена (я был в Москве) получила повестку со следующим весьма характерным текстом :

Ефим Григорьевич !

Вы приглашаетесь на заседание Ученого совета Института по гуманитарным наукам 8 мая 1974 года в 10 утра в помещении конференц-зала.

Ученый секретарь Совета

(неразборчивая подпись)

6 мая 1974 г.

Жена сказала мне по телефону о повестке, о небывалом обращении (даже без простейшего « уважаемый »), да еще о звонках, требовавших моего присутствия на этом Совете. Но у меня были все основания опасаться ареста или провокаций, которые повлекли бы за собой тот же арест, и я остался в Москве.

На заседание Совета пошла жена; она долго искала конференц-зал и потому опоздала. Надо полагать, что в ее записи нехватает лишь самого начала — видимо, знакомый читателю ректор кратко изложил все ту же справку КГБ, а затем выступал бывший ректор, патентованный черносотенец профессор Александр Ильич Щербаков, формулировавший цель заседания — лишение ученых степеней. Первоначально родилась идея — лишить Эткинда одной только докторской;

однако чья-то творческая мысль подсказала, что можно лишить и кандидатской (она была, правда, получена не здесь, а в Университете, в 1947 году). Возможно, что предложение исходило как раз от Щербакова, такая самостоятельность мышления ему присуща. После него взял слово тоже знакомый читателю проректор Ю.В. Кожухов, и как раз во время его речи вошла жена. Вот протокол, записанный ею.

ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ

Совета института по гуманитарным наукам
8 мая 1974 г.

Присутствовало : в зале — 22 человека, в президиуме — 4

Юрий Вячеславович Кожухов (профессор истории, член-корреспондент Академии Педагогических наук, проректор по научной работе):

...Хейфец на допросе показал, что Эткинду его предисловие понравилось. Бродский — автор стихов вредного и ущербного содержания, его стихи использовались в ущерб СССР. Эткинд выступал на суде над Бродским, отстаивая « право таланта выбирать свой образ жизни ». Таким образом, в 1964 году была необдуманная защита тунеядца Бродского. Вместе с Хейфецом и Марамзиным Эткинд подготовлял издание стихов Бродского. В 1968 г. в постановлении Ученого совета Института было отмечено: « В предисловии Эткинда к двухтомнику « Мастера русского стихотворного перевода » содержится политически вредная концепция в фразе про русских поэтов, лишенных

возможности до конца выразить себя в оригинальном творчестве... »

Анализ ряда новых литературных работ Эткин-да показывает, что он продолжает публиковать свои вредные политические идеи, умело используя для их протаскивания свои труды. В 1973-74 годах были осуществлены мероприятия в отношении Солженицына. Но Эткинд не принял этого к сведению. Он наносит существенный ущерб интересам нашей страны. Эткин компрометирует (sic !) свое ученое звание.

Виталий Иванович Кодухов (профессор кафедры русского языка): Деятельность Эткин-да вредная, и Ученый совет правильно принял свое решение. Нам дали убедительную картину, рисующую подрывную деятельность ученого. У Эткин-да — ярко выраженная ущербная идеология. Если он прочно не стоит на марксистской идеологии, то не в состоянии вести активную борьбу. Бывший профессор Эткинд не только не стал, но и не стремился встать на позицию коммунистической идеологии. Коммунизм — это путь к заветной цели. Он не всегда гладок, иногда требуется и борьба. Советский ученый должен уметь вести эту борьбу. Он не только не вел борьбу с враждебной идеологией, но всей своей антисоветской деятельностью показал, что не может плодотворно работать. За аморальные и антипатриотические действия, несовместимые со званием советского ученого, следует лишить Ефима Григорьевича Эткин-да ученых степеней кандидата и доктора филологических наук.

Александр Иванович Хватов (профессор, зав. кафедрой советской литературы): Приходится каждый день убеждаться в том, что не бывает ни так называемого чистого искусства, ни так называемой чистой науки. И то и другое — сфера, где наиболее остро протекает классовая борьба. Борьба эта определяет закономерности современного мира. Когда вникаешь в суть тех фактов, которые характеризуют деятельность Эткинда как педагога и ученого, то убеждаешься в том, как велика ответственность перед народом, когда речь идет об идеологической борьбе. Когда думаешь о том, что побудило, что толкнуло Эткинда на путь, который вел его в лагерь идеологических противников, то приходишь к следующим выводам:

Во-первых, — социальные факторы,
во-вторых, — психологические факторы.

Тщеславие, эгоизм, высокомерие, нежелание прислушиваться к критике — вот что сопровождало его деятельность.

Идейная позиция неотделима от политического уровня. Бытует заблуждение, смысл которого в том, что могут сочетаться методологическая нечеткость и высокий профессиональный уровень. Но работы Эткинда могут быть охарактеризованы не только как методологически несостоятельные, но и как профессионально ущербные. Что является высшей целью исследования? Выяснение истины. В работе 1968 г. его мысль отвлекала читателя от выяснения историзма, вела к несогласованности с историческим процессом. Он позволил себе заявить, что русские поэты не могли полностью выразить себя и потому переводили. Это кто же,

Маршак был стеснен в проявлениях своего таланта? Он и детский писатель, и лирик. Эволюция Пастернака показывает, что в последние годы его творчества удельный вес оригинального творчества гораздо выше переводного...

Ректор (поправляет): Маршака.

Хватов: Да, да, Маршака! Николай Заболоцкий написал свои лучшие лирические стихи в тот период, о котором говорит Эткинд. И на творческих судьбах других поэтов можно это же проследить. Можем ли мы считать исследования Эткинда научными? Нет! Из знакомства с материалом мы можем вывести, что Эткинд действительно лишил себя права на звание советского ученого. Профессиональный уровень многих его работ, их противоречивость дают нам право и даже обязывают нас ходатайствовать об освобождении Эткинда от степени доктора наук.

Константин Маркович Левин (?): Великий гуманист Горький учил нас: «Кто не с нами, тот против нас». Мне пришлось с оружием в руках отстаивать советскую власть. Для врага главным средством борьбы была всегда идеологическая борьба. Им нужны были исполнители. Они нашли их в лице Солженицына, Бродского, Эткинда.

Я остановлюсь на письме к молодым евреям. В этом письме Эткинд призывает с оружием в руках — или без оружия — бороться с советской властью. Разве можно терпеть среди нас такого врага? Как же можно его терпеть, коль скоро он призывает к свержению советской власти? Но советская власть весьма гуманна. Вы помните

что Троцкого выслали из Советского Союза? По этому же пути пошли и с Солженицыным. Когда слушаешь о той органической связи с Солженицыным, то удивляешься, как долго мы терпели.

Эткинд поступил как предатель, как враг. Необходимо поставить вопрос перед ВАКом о лишении его кандидатской и докторской степеней.

Анна Александровна Люблинская (профессор, зав. кафедрой педагогики начальной школы): Я не являюсь специалистом литературы, но факты меня потрясли. Это — настойчивая идеологическая диверсия. Гнездо свила эта диверсия в нашем институте. Я работаю в нем пятьдесят лет. Как мы бились за лучшее воспитание молодого человека! Как эти молодые люди растут на наших глазах! И вот появляются люди, которые поворачивают свои силы на то, чтобы вносить раскол, вносить вредные идеи. Эткинд сознательно, упорно, высокомерно не считался с замечаниями товарищей. Остается поражаться нашему долготерпению. Эткинд не так глуп, чтобы не понимать, но он не хотел ничего понимать. Он не может представлять советскую науку.

Фураев (профессор кафедры истории КПСС): Я тоже не принадлежу к литературоведам. Но я часто сталкиваюсь с идейной враждой. К сожалению, отдельные товарищи, особенно из молодежи, бегали на лекции Эткинда. Была молва о его блестящих лекциях. Видели ли они подтекст? К сожалению, никто не может дать такого ответа. А следовало бы. Хотелось бы заметить, что среди некоторых коллег бытует мнение, что Эткинд был

человек политически неграмотный. У Эткинда было политическое кредо, и он ему следовал неукоснительно. Он активно участвовал в идеологической борьбе. Но он боролся не с нами, а связался с теми, кто по ту сторону баррикад. Присоединяюсь к внесенному Александром Ильичом предложению. Хамелеонам с нами не по пути!

Александр Максимович Докусов (профессор кафедры методики преподавания русской литературы): Постараюсь быть очень кратким. Мы будем единомышленны. Когда речь идет о психологической атмосфере, где могут работать такие тонко изощренные враги, как Эткинд, то надо сказать, что его работы несостоятельны. За последнее время мы стали простосердечны и благодушны, за последнее время мы расслабились и притупилось наше зрение. Я призываю всех — бросить простосердечие и добродушие, и этим мы оградим наших студентов.

Анатолий Иванович Домашнев (профессор, зав. кафедрой германской филологии, декан факультета иностранных языков): 25 апреля Совет института решил уволить Эткинда и лишить его звания профессора. После этого на совете факультета иностранных языков было собрание. На этом заседании актива обсуждался этот вопрос. Актив единомышленно решил, что Эткинд запятнал профессорское звание. Выступавшие отмечали, что Эткинд потерял классовое чутье. Нужно усиление всей воспитательной работы. Мы сделали выводы. Эткинд как ученый не оправдал наших надежд. Как член парткома я уполномочен заявить, что

Эткинд недостоин профессорского звания и ученых степеней, которые он не оправдал.

Ректор : *Поступило одно предложение : о снятии с Эткинда Ефима Григорьевича ученых степеней кандидата и доктора филологических наук и о лишении его соответствующих дипломов. Приступаем к тайному голосованию.*

Избирается счетная комиссия в составе : Александр Иванович Щербаков, Зинаида Ивановна Васильева, Сергей Иванович Иванов (как ни странно, оба последние — не члены Совета).

Подсчет бюллетеней обнаруживает единогласное решение.

Третье институтское заседание подготовлено лучше других, допускавших — по необходимости — импровизацию. Здесь роли распределены заранее. Лингвист В.И. Кодухов обсуждает общеполитические проблемы (« Если он прочно не стоит на марксистской идеологии... »); историк советской литературы А.И. Хватов — профессиональные, связанные с советской литературой, с творчеством Маршак (которого, он, правда, спутал с Пастернаком. Видно, составляя дома речь, чувствовал он зыбкость своих положений, вспоминая судьбу Пастернака, боялся невидимого оппонента, который может ему этого Пастернака припомнить. Словом, мешал ему Пастернак, и вот — вылез нечаянно, — впрочем, по установленному выше закону : « Что тот еврей, что этот ») и Заболоцкого (« можно ли считать исследования Эткинда научными ? — Нет ! »); еврей К.М. Левин

(которого никто из работников института не знает — видимо, откуда-то его пригласили на гастроли) — о еврейском вопросе (« В этом письме Эткинд призывает с оружием в руках — или без оружия — бороться с советской властью » — так как же, все-таки, с оружием или без?); специалист по начальной педагогике семидесятилетняя А.А. Люблинская — о воспитании юного поколения (« Как эти молодые люди растут у нас на глазах! И вот появляются люди... »), историк коммунистической партии Фураев — о политической грамотности (« У Эткинда было политическое кредо... » — было! Как на похоронах), методист литературы А.М. Докусов, опытный громила, обеспечивший себе доверие органов еще в былые годы — единственный представитель старых литературоведов (у Докусова есть книжка о Лермонтове).

ОТСТУПЛЕНИЕ О 1949 ГОДЕ

... бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат ...
Пушкин. Эпиграмма

Восьмидесятилетний Александр Максимович Докусов за многие годы преподавательской и научной деятельности не обнаружил никаких дарований — ни литературных, ни лекторских. Студенты старались на его лекции не ходить, о серости своих книг и статей он, видимо, догадывался сам. Так он и пробаивался не столько наукой, сколько ее имитацией, называемой « методика преподавания литературы », пока не наступила бла-

женная полоса — 1949 год, когда была дана команда — « до конца разгромить буржуазных космополитов и эстетов », главная цель которых в том, чтобы « принизить советскую литературу, помешать ее дальнейшему развитию, сбить с ног людей талантливых, способных создавать новые произведения, нужные народу... Космополитизм служит проводником реакционных буржуазных влияний » (это — цитаты из доклада Анатолия Софронова на партийном собрании в Союзе писателей СССР, опубликованного в журнале « Знамя », 1949, № 2, стр. 168-176).

То были призывы к антисемитскому погрому, который превратился в разгром интеллигенции. Докусов взыграл : наконец-то он получил нечаянную возможность безнаказанно (так в то время казалось !) расправиться с теми, кому он до сих пор мучительно и безнадежно завидовал, кого именовал вслух шарлатанами и фокусниками, понимая, однако, про себя, что эти ненавистные ему и не пускающие его на порог Эйхенбаум, Жирмунский, Гуковский, Томашевский — блестящие таланты, которые весь окружающий их мир делают праздничным. Вокруг него, Докусова, всё было всегда серо, буднично и уныло. Статьи, написанные Докусовым в 1949 году, kloкочут долго сдерживавшейся ненавистью, которая вдруг вырвалась наружу. Но — вот беда ! Даже ненависть не способна окрасить докусовские писания хоть тенью таланта. У людей одаренных злоба стимулирует яркость стиля, сообщает ему блеск неожиданности и

обаяние открытого темперамента. Докусов, даже ненавидя, не умел быть оригинальным, писал унылыми штампами, и это, вероятно, бесило его еще больше. Вот, например, в статье 1949 года, весьма оригинально озаглавленной *Против клеветы на великих русских писателей* (журнал «Звезда», 1949, № 8), он обличает Б.В. Томашевского и Б.М. Эйхенбаума — за их примечания к сочинениям Пушкина и Лермонтова; оба комментатора позволили себе указать в ряде случаев иностранные источники русских классиков. Приведя ссылку Б.В. Томашевского на то, что в пушкинской *Сказке о попе и работнике его Балде* сюжет о найме работника за три щелчка связан с одной из сказок братьев Гримм, Докусов пишет :

« Можно пожалеть незадачливого истолкователя Пушкина, но нельзя спокойно пройти мимо такого истолкования русской литературы. Надо сказать полным голосом, что примечания Б. Томашевского — клевета на светлое имя Пушкина, клевета на народ, давший поэта, имени которого приносят дань благоговейного уважения лучшие люди мира » (стр. 184).

И вся эта декламация — по поводу Балды и его возможных родичей у братьев Гримм! Каков вкус! Но это еще далеко не все :

« Пушкин всеми клеточками своего существа — русский, живет жизнью своей страны, своего народа. Его творчество выросло из коренных основ народной жизни... И комментировать Пушкина так, как это сде-

лано в указанном однотомике — это значит совершенно извратить Пушкина и дезориентировать советского читателя» (стр. 185).

Покончив с Пушкиным и Томашевским, Докусов переходит к Лермонтову и Эйхенбауму. Подобно Томашевскому, Эйхенбаум спрятал свою зловредную концепцию в комментарий, а сводится она к положению: «У Лермонтова все чужое» (стр. 185). Кто же такой Эйхенбаум? А вот кто: «...законченный формалист, эстет и космополит», занимающийся беззастенчивой саморекламой; дальше еще хлеще: «Космополит по собственному "гордому" признанию, формалист и эстет в литературной науке, с глубоким презрением и даже равнодушием относящийся к великой русской литературе» (стр. 186). Разоблачения Эйхенбаума кончаются чуть ли не приговором:

«Довольно! Читатель вместе с нами испытывает не только гнев, но отвращение к клеветнической стряпне "ученого" лермонтоведа... Не пора ли положить конец работе черствых педантов по "истолкованию" наших великих народных писателей; не пора ли разъяснить вредоносный смысл их "изысканий"...» (стр. 189).

Знаете ли, что мне живо напоминают эти риторические взлеты классовой ненависти? Эти *довольно!..*, эти *...не только гнев, но и отвращение*, эти *не пора ли положить конец...*? Прокурорские речи Вышинского и Крыленко на процессах вредителей, правотроцкистских центров и прочих контррево-

люционеров. Так и ждешь, что Докусов в заключение воскликнет: « Собаке собачья смерть! » Но это ему не было велено, не было позволено.

Подведем предварительный итог. Б.В. Томашевский и Б.М. Эйхенбаум повсеместно — и теперь не только на гнилом Западе, но и в Советском Союзе — признаны классиками филологической науки, и даже эти самые их комментарии (не говоря обо всем прочем) перепечатываются из издания в издание. Их хулиатель А.М. Докусов доживает свой позорный век в неизвестности, окруженный всеобщим равнодушием и не приобретший даже старческого благообразия: он суетится, постоянно напоминает о себе, и до недавних пор готов был тряпкой лечь под ноги начальства, лишь бы еще потерпели, лишь бы на пенсию не выгнали. Когда Докусов 8 мая 1974 года восклицает: *За последнее время мы стали простосердечны и благодущны, за последнее время мы расслабились, притупилось наше зрение* — то в его устах это тоска по 1949 году. И, выступая с привычными разоблачениями, А.М. Докусов доказывает самому себе и всем нам, что этот светлой памяти 1949 год не забыт и на свалку истории не отправлен.

Что же, Докусов не ошибся: если справка КГБ обвиняла меня в методологических ошибках 1949 года, а эти ошибки не отличались от преступлений Томашевского и Эйхенбаума, то можно сказать: докусовы не зря снова вышли на трибуну. Они снова

дождались своего часа. Снова они получили право патетически восклицать : *Довольно !.. не только гнев, но отвращение к клеветнической страпне...*

А все-таки : почему никто из членов Ученого совета, слушавших выступление Докусова, не встал и не прочел этих приведенных мною здесь, преступных, — да, да, преступных — строк из его статей 1949 года ? Почему не сказал никто : — « Докусов — и иже с ним — совершил преступления против человечества. Он участник травли нашей интеллигенции. Он соучастник убийств. Мы его слушаем и, храня молчание, одобряем. Докусов не изменился, он остался таким, каким был в 1949 году, ровно четверть века назад. Эткинд, которого он разоблачает теперь, после того, как в свое время разоблачал учителей Эткинда, ни в чем подобном не виноват : не травил, не убивал, не доносил, не истреблял ». Нет, никто не встал, никто этих слов не произнес. Все безмолвно слушали Докусова и, значит, соглашались с ним. Соглашаясь с ним в 1974 году, оправдывали его же речи и статьи 1949 года. Молчали из страха. Молчали — по привычке молчать. Молчали — из неверия в свои силы. Я не перестаю думать об этом с глубокой тоской, похожей на отчаяние.

Вообще же сто́ит и с профессиональной точки зрения взглянуть на это заседание « специального » Совета, призванного установить научную несостоятельность трудов бывшего профессора :

выступают психолог, историк КПСС, специалисты по синтаксису русского языка, по педагогике для маленьких детей, по советской литературе (Хватов писал и пишет о Шолохове), по методике русской литературы. Но ведь степени кандидата и доктора даны Эткинду не за русскую грамматику и даже не за изучение Шолохова; он писал о романах Золя и сопоставительной стилистике, о теории поэтического перевода и структуре стиха. Ни одного слова о науке произнесено не было, только профессор Хватов проникновенно заявил, что *высшая цель исследования — истина*, Эткинд же *отвлекает читателя от выяснения историзма!*, и что *профессиональный уровень многих (все-таки не всех!) его работ, их противоречивость дают нам право и даже обязывают нас ходатайствовать об освобождении Эткинда от степени доктора наук* (в кандидатах он, так уж и быть, меня оставил!).

Этим заседанием я не был травмирован, — среди его участников не было ни одного сколько-нибудь стоящего ученого, ни одного человека, к которому я бы питал уважение или симпатию. А я боялся, и даже больше, чем перед другими Советами, — боялся горестных разочарований. Среди гуманитариев института у меня немало друзей, я им доверяю и их люблю; выступление любого из них было бы для меня тяжким ударом. Впрочем, я и к этому теперь был готов. Но — упасла судьба от излишней боли. Держатся мои друзья! Сознание этой, пусть даже молчаливой, честности согревает меня до сих пор. Я не требователен.

(Травмирована была моя жена : по дороге домой

она горько размышляла : Боже мой, какой уровень ! какой уровень ! — Жалко — в Ленинграде, в одном из самых уважаемых институтов с именем Герцена на фронтоне, сидят в полумраке старые [большинство было стариков], скучные и злые люди и, подхлестывая один другого, распаяясь, чувствуя защиту в начальстве и в чужих, но явно начальственных лицах, понимая свою полную безнаказанность, несут злобную, серую чушь. Даже ей, лицу заинтересованному, было нестерпимо скучно от штампов. И ни слова о деле : уж истреблять — так подготовились бы : разобрали бы хоть одну лекцию, хоть одну статью. Уровень ! Уровень ! — Жалко !)

Заседание Совета по гуманитарным наукам впервые, кажется, в нашей университетской истории постановило снять степень доктора (и даже кандидата !) с ученого, не оказавшегося ни плагиатчиком, ни взяточником. Министерство (ВАК) удивилось, поежилось, и долго не утверждало — может быть, потом все же утвердило ? Не знаю, я уехал.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

К трем часам дня 25 апреля в Дом писателя имени Маяковского съехались секретари, которых разыскали в разных концах Советского Союза : одного в Грузии, другого в Крыму, третьего в Москве... Зачем их привезли, они уже знали и, поглядывая друг на друга, искали глазами тех двух, за чьими широкими спинами надеялись спрятаться : Федора Абрамова и Даниила Гранина. Увы, не было ни того, ни другого. Жаль,

думал, вероятно, каждый: приятно было бы с ними разделить ответственность. Нехорошо это с их стороны, не по товарищески. Вот в Москве, когда Лидию Чуковскую исключали, так Валентин Катаев, старый и тяжело больной, специально приехал в столицу — принять участие в неприятной процедуре; понятно, другим в его присутствии было легче: ведь всё больше литературная плотва, среди этих других — не было ни настоящих, ни, тем более, знаменитых писателей — Наровчатов там, Агния Барто... Валентин Катаев проявил ответственность за коллектив, у него есть совесть. Он понимает, что партия и правительство не зря позаботились о его славе. Не мог же он бросить товарищей в беде, и вот, преодолев свою старческую немощь, он даже пренебрег глупостями, которые не преминет распространять про него западная печать — ну, назовут разок-другой палачом или подпалачником, брань на ворота не виснет, зато помог своим, в трудную минуту их не оставил. А эти вельможи? Один зацепился за какое-то кавказское совещание, — экий незаменимый специалист по рабочему классу! Хитрец и чистоплюй. Второй отверг с брезгливым отвращением приглашение на секретариат, — дескать, я в ваших гадостях не участвую, сами разбирайтесь. И оказалось, что лишены поддержки, спрятаться не за кем, — ведь не за спиной же Холопова? Хоть он, наш Холопов, и первый секретарь ленинградского Союза, и главный редактор «Звезды», но за писателя его не выдашь, на Катаева не потянет. А нужен свой Катаев, очень нужен! Хорошо хоть высоколобая интеллигенция представлена — есть среди нас Владимир

Орлов. Он всему миру известен как многолетний редактор «Библиотеки поэта» и как издатель сочинений Блока, и, надо думать, будет вести себя правильно, по-партийному (хоть и беспартийный); Эткинда у него есть все основания ненавидеть, ведь именно Эткинд, можно сказать, бросил бомбу в «Библиотеку поэта» и погубил орловскую карьеру; сняли его с редакторства из-за фразы Эткинда — Орлов ему не простил и не простит. Но с этими интеллигентами — разве можно заранее знать? Может быть, он, начитавшись Блока, вдруг взорвется да скажет, что у него на уме. А на уме у него вот что (об этом догадаться не так уж трудно, потому что то же, что у всех): достаточно мы пресмыкались перед крупными и мелкими деспотами; до сих пор стыдно вспомнить, как тут, в этом же доме, мы около тридцати лет назад единодушно одобряли невежественного опричника, как тогда же изгоняли из своих рядов великого поэта и одного из лучших наших прозаиков — Анну Ахматову и Михаила Зощенко; как мы молча, краснея, слушали заику Михалкова, поносившего Бориса Пастернака, и одобряли исключение еще и этого великого поэта; как мы способствовали расправе над Иосифом Бродским; как не вступились за Григория Гуковского, а еще раньше за Бенедикта Лившица, Давида Выгодского, Сергея Спасского, за многих и многих других, которыми мы гордились и которых они убили. Да и в чем обвиняют Эткинда? В знакомстве с Солженицыным? В поддержке Бродского? Смешно и глупо, за такие преступления писатели не могут исключать из своей среды писателя. Всё же прочее еще смешнее и глупее

— не доказано, не подтверждено, к писателям с таким любительским материалом не приходят, все это работа провинциальных детективов. Вот чего можно ожидать от Владимира Орлова, а еще он того и гляди совсем осмелеет да начнет цитировать своего любимого Блока — что-нибудь вроде :

« Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны своего мира, выражающегося в государственных формах ».

И может быть, еще вспомнит, что Блок незадолго до смерти с благоговением приводил строки Пушкина о свободе — личной и, в тот же время, политической :

...для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Владимир Орлов был непроницаемо-мрачен. Вместе с другими он перед заседанием спустился в ресторан и для храбрости хватил коньяку.

Среди секретарей есть еще один, от которого — как знать ? — можно услышать что-нибудь незапланированное : это Михаил Дудин. Он — романтик, поэт, можно ли запрограммировать поэта ? Он — солдат, и воевавшие с ним на полуострове Ханко помнят его веселую храбрость. А вдруг он рявкнет в свойственной ему солдатской манере что-нибудь совсем не поэтичное ? В переводе на литературный язык это может звучать так : « А пошли вы все туда-то... Ваших замыслов я не

знаю и знать не хочу, мое доброе имя мне дороже ваших посулов, убивайте, но не моими руками, без меня».

Секретарь городского комитета партии Борис Андреев с некоторым беспокойством посматривал на усевшихся вокруг стола писательских руководителей. (Он, Андреев, едва ли помнит пушкинские слова: *...для власти, для ливреи...*, но ведь они-то помнят...) Вот свободолюбивый Глеб Горышин, прозаик из того нового поколения, которое еще не сковано параличом и немотой. Вот поэтирик Семен Ботвинник, с ним бывали и прежде неприятности; мы возвысили его до секретариата, надеясь на его честолюбивую покорность, а вдруг и он, этот беспартийный еврей, пренебрежет обещанным ему юбилейным однотомиком, и выйдет из повиновения? Эткинда нет, он сказался больным; с одной стороны это хорошо — при нем все они, может быть, и постеснялись бы топтать и поносить недавнего собрата, тем более, что заседание закрытое и что с участников взято слово о неразглашении. С другой, однако, опасно: не потребуют ли эти ненадежные орловы, горышины, ботвинники — отложить обсуждение, пока жертва не выздоровеет и не придет защищаться? Они будут формально правы, возражать будет трудно.

Заседание начинается. Сначала председатель оглашает письмо:

В Секретариат Ленинградской писательской организации.

Уважаемые товарищи!

Приступ сердечной болезни не дает мне воз-

возможности присутствовать сегодня на заседании секретариата, на котором, как сказал мне Г.К. Холопов, будет разбираться мое дело. Надеюсь, что секретариат отложит рассмотрение этого вопроса до того дня, когда я буду здоров. Мне неизвестно ни одного случая в истории Союза писателей, когда бы судьба литератора решалась в его отсутствии.

Возможно ли, чтобы общественный суд рассматривал какие бы то ни было обвинения, предъявляемые члену творческого союза, без участия обвиняемого? Чтобы этому члену союза не была предоставлена возможность защищаться? Право защиты — элементарнейшее право всякого человека, в какой бы инстанции и на каком бы уровне его ни судили.

25 апреля 1974

Е. Эткинд

Короткая пауза.

— Мы с трудом собрали сегодня достаточное число секретарей, — говорит Холопов, — конец апреля, мы рискуем через неделю оказаться без кворума. Думаю, что откладывать заседание нецелесообразно.

Секретарь горкома смотрит одобрительно. Серые молодые люди из Большого дома (он виден из окна) тоже. Писатели сидят, уставившись в стол. Слово опять берет Холопов.

Ниже следует официальный протокол, внутри которого дан текст справки КГБ; он похож на тот, который читался на Ученом совете, но отличается от него развернутостью, обширными цитатами из допросов, попытками более основательной аргументации — все-таки для писателей! И, хотя

он во многом повторяет справку, приведенную выше, мы его даем полностью, чтобы не нарушать цельной картины писательского заседания.

ПРОТОКОЛ

заседания секретариата Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР

25 апреля 1974 г.

С информационным заявлением выступает первый секретарь Л.О. Союза писателей, главный редактор журнала «Звезда» Г.К. Холопов. Он говорит, что начнет с «документов, которые поступили из Областного комитета партии». После этого Холопов оглашает официальный текст.

СПРАВКА

«В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с тем, что поддерживал контакты с Солженицыным и оказывал ему помощь в проведении враждебной деятельности.

В ходе проверки этих данных установлено, что Эткинд действительно более 10 лет близко знаком с Солженицыным, систематически с ним встречался, оказывал ему практическую помощь в его антисоветской деятельности. Он постоянно знакомился с антисоветскими произведениями Солженицына, неизданными в СССР, длительное время хранил у себя два экземпляра «Архипелага ГУЛаг», через Солженицына Эткинд был знаком с 1963 г. с Воронянской Елизаветой Денисовной, которая на протяжении десяти лет печатала почти все его произведения, в том числе и «Архипелаг ГУЛаг».

Эткинд с Воронянской поддерживал хорошие отношения, получая от нее различные неизданные в СССР произведения Солженицына. В августе 1973 г. Воронянская, допрошенная в Управлении ГБ, показала :

« ...Солженицын, приехав в Ленинград в 1971 г., точной даты не помню, распорядился вынуть часть листов из двух экземпляров « Архипа » (« Архипелаг ГУЛаг »), поручив это сделать мне. Тогда же мне стало известно, что два экземпляра Солженицын передал Е.Г. Эткинду, проживающему в Ленинграде по адресу : ул. Ал. Невского 6, кв. 17. Эткинд лично привез имевшиеся у него два экземпляра « Архипа » ко мне домой, где я вынула означенные автором листы. Их было примерно 200. Эти два выхолощенные экземпляра я вернула Эткинду... »

Факт хранения Эткиндом « Архипелага ГУЛаг » подтверждает также в своем заявлении Самутин Л.А., бывший власовец, ранее судимый за предательскую деятельность... Самутин поддерживал хорошие отношения с Воронянской, и Солженицын знал о фактах их совместной враждебной деятельности. В этом заявлении Самутин указывает :

« ...несколько раз в течении 1970-1971-1972 гг. Воронянская упоминала о письмах, которые она посылала Солженицыну и сама получала от него через проф. Е.Г. Эдкинда (sic !) или его жену во время их поездок в Москву и обратно. Со слов Воронянской Самутин слышал, что Солженицын неоднократно останавливался на квартире Эдкинда во время посещений Ленинграда. Воронянская рассказывала мне в начале 1973 года, что проф.

Эдкинд читал произведения Солженицына, в том числе « Архипелаг ГУЛаг », одна из частей которого, по ее предположению, была одно время на сохранении у проф. Эдкинда... О тесных отношениях Воронянской с проф. Эдкиндом говорит то, что летом 1970 года Воронянская проживала на даче у Эдкинда ».

О враждебной деятельности Эткинда свидетельствуют и другие факты. В начале апреля сего года по одному из уголовных дел, возбужденных по фактам размножения и распространения документов, содержащих клевету на советское государство и общественный строй, были произведены обыски, в результате которых изъято большое количество указанных документов.

В частности обыски были у Марамзина и Хейфеца (оба — 1934 года рождения), членов профгруппы при Ленинградском отделении Союза Писателей. В ходе этих обысков у Марамзина был изъят подготовленный для распространения так называемый пятитомник стихов Бродского (около двух тысяч страниц), а у Хейфеца предисловие к указанному пятитомнику под названием « И. Бродский и наше поколение ». В предисловии автор клеветает на внутреннюю и внешнюю политику КПСС, утверждает, что непризнание произведений Бродского в СССР якобы свидетельствует об отсутствии свободы творчества в нашей стране.

В предисловии Хейфец пишет :

(следуют цитаты)

Кроме этого предисловия у Хейфеца изъят также рукописный документ, автором которого является Эткинд. Этот документ представляет собой рецензию на указанное предисловие.

В рецензии Эткиндр, положительно отозвавшись о политической направленности предисловия Хейфеца, рекомендует ему обратить внимание на события в Венгрии 1956 г., которые, по его мнению, свидетельствовали об антидемократической сущности Советского государства и имели поворотное значение для творчества Бродского... Эткиндр пишет:

«Подумайте, был XX съезд, была сказана правда, у всех открылись глаза на собственное прошлое, и даже на подоплеку своих же побед, и вдруг... с той стороны петли и бомбы, с этой — танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 год был грандиозной встряской. Иосиф Бродский прав, ссылаясь на него. А 68? Уже предано забвению все, сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму злое дело Кирова, уже давно расправились с простодушным тираном Н.Х... Ну, на этом фоне танки в Праге никого удивить не могли».

Будучи допрошен в качестве свидетеля по вышеуказанному уголовному делу, Эткиндр подтвердил, что он является автором этой рецензии, понимает, что Хейфец в предисловии высказывает свое несогласие с различными сторонами политики КПСС и Советского правительства. Кроме того, Эткиндр заявил, что никогда не скрывал своего отрицательного отношения к вводу войск государств Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Хейфец на допросе показал, что предисловие Эткиндру понравилось.

Известно, что Эткиндр поддерживал близкие

отношения с Бродским, в 1972 году выехавшим из СССР в Израиль и в настоящее время проживающим в США.

Бродский является автором стихов идеологически вредного и ущербного содержания, постоянно общался с иностранцами, передавал им свои стихи, клеветал на Советское государство и общественный строй. Указанные стихи и высказывания Бродского активно использовались буржуазной пропагандой в ущерб интересам Советского Союза.

Демонстрируя свои отношения с Бродским, Эткинд тем самым стремился показать себя в глазах писателей и начинающих литераторов человеком с «независимыми» взглядами.

Эткинд выступал на суде в защиту Бродского, отстаивая, по его словам, «право таланта на свободу образа жизни».

В марте 1964 года на заседании секретариата Ленинградского Отделения Союза Писателей поведению Эткинда и других, выразившееся «в необдуманной защите тунеядца Бродского», было единогласно осуждено. Однако своего выступления на суде Эткинд не признал вредным, отрицательно реагировал на критику секретариата.

Таким образом, Эткинд совместно с Хейфецом и Марамзиным принял участие в подготовке и распространении идеологически вредных стихов Бродского.

О враждебной деятельности Эткинда свидетельствует также тот факт, что он является автором и распространял письмо под названием: «Открытое письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию». В этом письме извращается нацио-

нальная политика КПСС и содержатся призывы к евреям бороться за изменение существующего строя не за границей, а в СССР. Так, в письме, в частности, говорится :

« От того, что вы воспользуетесь чужими демократическими свободами, у вас дома не введут многопартийной системы и не вернут из ссылки Павла Литвинова.

Чужие свободы вам для дела не нужны. Ни вам, ни вашему обществу они пользы не принесут.

Боритесь, но здесь, а не там. Одно независимое слово, сказанное дома, важнее многолюдных манифестаций под окнами советского посольства в Вашингтоне ».

Кроме того установлено, что Эткинд использует свое общественное положение писателя и ученого, преподавателя высшего учебного заведения, для протаскивания в своих литературных работах взглядов, противоречащих марксистско-ленинским принципам.

В 1968 году бюро Обкома обсудило вопрос « О грубой политической ошибке, допущенной редакцией Библиотеки Поэта, выпустившей двухтомник "Мастера русского стихотворного перевода" со вступительной статьей Эткинда ».

В постановлении бюро отмечено, что :

« Редакцией Библиотеки Поэта в 1968 г. был издан двухтомник « Мастера русского стихотворного перевода », в котором во вступительной статье ленинградского литературоведа доктора филологических наук Эткинда, наряду с тенденциозными оценками творчества отдельных поэтов-переводчиков, содержится политически вредная концепция, утверждающая, что якобы

общественные условия в нашей стране, особенно в годы между XVII и XX съездами, не давали возможности русским поэтам до конца высказать себя в оригинальном творчестве. Такие утверждения автора статьи представляют собой не что иное, как фальсификацию литературного процесса в нашей стране, желание протащить ложное мнение об отсутствии свободы художественного творчества в СССР, исказить объективную картину развития социалистической культуры, бросить тень на советскую действительность».

В постановлении бюро руководство Педагогического Института им. Герцена обязывалось обсудить эту грубую политическую ошибку Эткинды на заседании Ученого совета.

Однако, как показывает анализ ряда литературных работ Эткинды, он, несмотря на критику его политически-вредной концепции и оценок, остается на старых позициях. Идейные и методологические ошибки легко обнаружить в таких его работах, как «Разговор о стихах», «Четыре мастера», «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина».

В 1972 году в своей книге «Бертольт Брехт» Эткинды дал тенденциозную оценку творчества Брехта, искажающую действительную эволюцию его мировоззрения. Так, он утверждал, что к научному пониманию «классовой структуры капиталистического общества» Брехт пришел «лишь в начале 30-х гг.» и «на первых порах протест Брехта был умозрительен», за указанные тенденции в оценке творчества Брехта Эткинды критиковался «Литературной Россией» 21.VII.72 (статья Дымшица).

В отношении Эткинда неоднократно предпринимались предупредительно - профилактические меры: в 1949 г. за допущенные методологические ошибки в диссертации Эткинд освобожден от чтения лекций по курсу литературы и вынужден был перейти на работу в Тульский Педагогический Институт; в 1964 г. он подвергался критике за неправильное выступление в защиту Бродского; в 1968 г. на Ученом Совете института им. Герцена ему указывалось на тенденциозность в оценке творчества отдельных поэтов-переводчиков, допущенную в статье к двухтомнику «МРСП»¹⁾; в 73-74 гг. были осуществлены различные мероприятия в отношении Солженицына и его связей.

Все это Эткинд должен был воспринять как предупреждение о недопустимости враждебной деятельности. Однако выводов для себя он не сделал.

Таким образом Эткинд сознательно на протяжении длительного времени занимается идеологически вредной и враждебной деятельностью и наносит существенный ущерб интересам нашей страны. Являясь советским писателем, ученым, преподавателем ВУЗа, Эткинд действует как политический двурушник, компрометирует эти высокие звания.

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о невозможности его работы в качестве профессора ЛГПИ им. Герцена и о нецелесообразности его пребывания в Союзе писателей СССР».

1) МРСП — «Мастера русского стихотворного перевода».

Такова Справка. Далее Холопов говорит как бы от себя, негодуя и цитируя секретное дело № 24, с которым его ознакомили в Большом доме.

« Смотрите, какой конспиративной жизнью живет Эткинд! Вот что еще показала Воронянская (протокол по делу № 24) :

« ...после уничтожения своего экземпляра я выделась с Эткиндром у него дома и известила его о распоряжении Солженицына в отношении имевшихся у него экземпляров « Архипелага ГУЛаг ». Он мне заявил, что знает об этом и в ближайшее время уничтожит.

Спустя некоторое время..., зайдя к Эткиндрому домой, я спросила, уничтожил ли он экземпляр « Архипелага ГУЛаг ». Эткинд заявил, что все экземпляры уничтожил, не оставив ни одного листа. Я ему поверила, о чем и сообщила Солженицыну ».

Другая цитата — из заявления Самутина Л.А. в КГБ от 2/IV/74 г. :

« Накануне похорон Воронянской, узнав о ее смерти, я позвонил Эткиндрому. На другой день, 30 августа, я встретил Эткиндром у морга, на машине Эткиндром проехали на кладбище и там, оказавшись на короткое время с Эткиндром один на один, я сообщил об изъятии бумаг Воронянской органами. На его вопрос о судьбе архива Воронянской, я сказал : « Уже там ».

Огласив эти выписки из таинственных досье Большого дома, Холопов продолжает :

Теперь еще несколько слов о другом документе, озаглавленном « Открытое письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию ».

Любопытна история этого письма. Его прислал в ОВИР человек, который пишет, что в городе по рукам распространяется письмо к тем, кто хочет уезжать в Израиль. Рассказывают, что его автором является писатель Ефим Эткинд.

В разговоре с Боборыкиным Эткинд признался, что он является автором этого письма. Письмо написано в форме беседы с заблудшими душами. Эткинд выступает в нем как духовный отец, как пастырь, наставляющий паству на путь истинный.

К чему зовет человек, которому советская власть дала все, и, прежде всего, высокое звание ученого, профессора, писателя?

Он зовет к борьбе с этой властью: « Боритесь здесь, а не там! »

Он советует: « Уезжать в эмиграцию можно только в случае крайней жизненной необходимости, когда грозит физическая гибель! »

(Г.К. Холопов кончает цитатой из речи Брежнева на съезде ВЛКСМ — о сорняках).

Окончив, он предоставляет слово для выступления каждому из секретарей; они высказываются один за другим — все подряд.

Василий Николаевич Кукушкин. Грустно решать такие дела. Эткинд пользовался большим доверием, во всех наших организациях относились к нему с уважением. Меня поразила эта история с предисловием к « Библиотеке Поэта », много людей было наказано из-за него. Откуда все это берется? Сам, своими поступками, своим поведением Эткинд ставит себя вне нашего Союза писателей.

Все письма, которые пишутся против Советской

власти и партии, пишутся в профгруппе. Вспомните дела Бродского, Бетаки, Бена, Марамзина, Хейфеца. Это очень серьезный вопрос, у нас в профгруппе неблагополучно. Например, Бурова, Бойцова, Франтишева — людей, прошедших войну, опытных журналистов туда не берут. Я считаю, что Эткинд сам поставил себя вне писательской организации.

Михаил Александрович Дудин. Если вспомнить вступительную статью Эткинда в «Библиотеке поэта» и это письмо молодым евреям, то видно — самое отвратительное — национализм, от него поллоктя до фашизма. Этот сионизм лезет из каждой строки. Это не имеет ничего общего с программой Союза писателей. Эткинд сам ставит себя вне нашей организации.

Владимир Васильевич Торопыгин. Недавно я возвратился из поездки по Канаде и США. Журналисты задавали много разных вопросов, но были и вопросы о Солженицыне. Я отвечал, что деятельность его вредит политике нашего государства. Деятельность Эткинда — рядом с делами Солженицына, и этот человек не должен быть в рядах нашего Союза писателей.

Василий Григорьевич Базанов. Главное, на мой взгляд, не в том что Эткинд встречался с Солженицыным. Солженицын был членом Союза писателей, печатался в «Новом мире». Когда Солженицын стал внутренним эмигрантом, который свои антисоветские произведения посылал за границу, вот где стало плохо. Меня поразило письмо молодым евреям, рецензия на предисло-

вие Хейфеца. У нас не принято строго относиться к людям, если они оступаются. Но Эткинд ничего не понял. У него не отняли степени доктора наук за ошибки в предисловии в «Библиотеке поэта», старались дать ему понять, что он заблуждается, печатали его книги — «От Тредиаковского до Пушкина», статьи и т. д. Он продолжал быть профессором, доктором наук. Эти документы произвели на меня сильное впечатление и самое тяжелое. Я присоединяюсь к мнению выступавших секретарей, что поступки и поведение Эткинда противоречат уставу Союза писателей и не могут быть совместимы с пребыванием в Союзе писателей.

И.И. Виноградов. Я считаю, что это сознательная групповая деятельность. Эткинд разделял взгляды Хейфеца, даже усиливал антисоветские тенденции.

Подготовка пятитомника Бродского — это немалый вред в идеологической борьбе. Разительный документ — письмо молодым евреям! Получается, что еврей не может жить здесь. Явный призыв бороться здесь, а не там.

Эткинд не может быть членом Союза писателей.

Глеб Александрович Горьшин. Я разделяю мысли, высказанные тут. Более всего неприятна рецензия на предисловие к стихам Бродского. Стихи Бродского не тянут на тот ореол, который им приписывается. Это неутолённое честолюбие Бродского, Хейфеца, в котором принял участие Эткинд.

Не надо смешивать дело Эткинда с солжени-

цынским. Солженицын быстро забывается, его по существу уже нет. Жаль, что Эткинда здесь нет. Нельзя ли все-таки с ним повстречаться? Сказать ему всё в глаза.

Безусловно, он поставил себя вне Союза писателей.

И.И. Виноградов. Не распустить ли профгруппу? Получается как бы второй Союз.

Владимир Николаевич Орлов. Меня в этой истории более всего угнетает моральная сторона, нравственная. Эткинду было сделано чрезвычайно много, чтобы он мог понять. Случай с «Библиотекой поэта» — ведь он взорвал большое культурное дело! Ему была дана возможность — широкая возможность! — подумать о нашей идеологии, более широкая, чем он заслуживал. Странно, что одно Эткинд думает, другое пишет; одно пишет, другое печатает. Эткинд сам поставил себя вне Союза писателей и единственное решение — исключить его из Союза писателей, так как он не советский писатель.

Анатолий Николаевич Чепуров. Документы рисуют Эткинда с очень плохой стороны. И письмо, и статья, и комментарий(?) — все свидетельствует о том, что Эткинд — наш идеологический противник. Сколько людей приняли вину за ошибки в «Библиотеке Поэта», а Эткинд вышел сухим из воды. Свою ошибку он не осознал, а развил в «Письме к молодым евреям». Это сознательная работа, занималась ею группа людей.

Пребывание Эткинда в Союзе писателей неприемлемо.

Семен Владимирович Ботвинник. Был у нас недавно в Секретариате разговор с молодыми, которые хотели печататься, а мы им объяснили, что их неинтересно печатать. У нас вообще ослабла работа с молодыми. Эткинд — преподаватель, и он знает меру ответственности, которую несет преподаватель перед молодыми. Здесь прямое нарушение Устава Союза писателей. Хорошо, чтобы Эткинд все же присутствовал и остальные наши уважаемые секретари тоже.

Борис Никольский. Я был на заседании Ученого совета Герценовского Института, где деятельность Эткинда была осуждена резко и единодушно. Принято решение: освободить Эткинда от работы и снять звание профессора. Меня удивило письмо Эткинда к Ученому Совету, где он пишет об «отдельных оговорках и неточных выражениях», допущенных в отдельных письмах.

Хейфец, Бродский, Бен, Марамзин — это проф-группа, без них ему не с кем было бы общаться, это его питательная среда. Кроме решения по делу Эткинда, надо иметь рекомендацию по проф-группе. Ее надо распустить.

В деятельности Эткинда меня более всего возмущает, что какая-то часть нашей интеллигенции выдает свое мнение за мнение целого поколения, целого народа. Это сознательно избранный путь идеологической борьбы. Я считаю, что Эткинд должен быть исключен из Союза писателей.
Решение — единогласно.

Здесь всё яснее, чем в Институте; видимо, было решено, что писателей надо информировать более

полно; профессора съедят, что бы им не подали, а уж простые преподаватели факультета обойдутся и кратким пересказом, без цитат из «дела № 24», безо всяких полицейских протоколов. И ведь не ошиблись: преподаватели проглотили пересказ, профессора — сокращенную справку, а писатели смаковали подробную, с уголовными эпизодами. (Вот интересный вопрос: а если бы наоборот? Съели бы? Думаю, результат был бы такой же).

Ну вот, и не взбунтовался мужественный Дудин, и не цитировал Блока или Пушкина образованный Орлов, и не промолчал робкий Ботвинник, и не отказался участвовать в казни правдоискатель Горьшин. Всё разыграно, как по нотам. Зря беспокоился Борис Андреев, Впрочем, может быть, он и не беспокоился? Это ведь я, рассказывая свою историю непосвященным, выдвинул такую — наиболее правдоподобную — психологическую гипотезу. Но может быть, гебисты и Андреев, режиссеры спектакля, умнее, чем я предполагаю? Они знают неотразимость страха и силу, неодолимую магнетическую силу таких слов, как: «...в проведении враждебной деятельности», «В ходе проверки этих данных установлено...», «допрошенная в Управлении ГБ показала», «бывший власовец, ранее судимый за предательскую деятельность», «совместная враждебная...», «клевета на советский государственный и общественный строй», «произведены обыски», «изъято большое количество указанных документов», «автор клеветает на внутреннюю и внешнюю политику КПСС», «будучи допрошен...» «в ущерб интересам Советского Союза»,

*« фальсификация », « политический двурушник »...
Поистине,*

От слов таких
срываются гроба
Шагать четверкою
своих дубовых ножек.

Надо полагать, что хлебнувшие для отваги секретари только и слышали, что эти слова, слова, слова, в их смысл они не вдумывались. Да и зачем он им был нужен, смысл? Храбрец Дудин принужден что-то вякнуть, раз уж председатель назвал его и на него выжидательно смотрят горкомовцы и гебисты. И что же говорит он, храбрец Дудин?

*« Если вспомнить вступительную статью Эткин-
да в « Библиотеке поэта » и это письмо молодым
евреям, то видно — самое отвратительное — на-
ционализм, от него поллоктя до фашизма. Этот
сионизм лезет из каждой строки... »*

Из каждой строки этого текста лезет тот факт, что Дудин ничего не читал, ни о чем даже не слышал и, видимо, хлебнул больше, чем было можно. Обвиняет он в национализме, и потом, уточняя, в сионизме. На каком основании? На основании двух документов, названных в его, с позволения сказать, речи. Во « Вступительной статье » Эткин-да, то есть в статье « Стихотворный перевод в истории русской литературы », и тени сионистских идей не могло быть, даже если бы ее автор был фанатиком сионизма; обвинял же обком автора, будто бы он оболгал советских поэтов, заявив, что те, в известный период « лишенные возможности выразить себя в оригинальном творчестве », переводили иностранных клас-

сиков. Ну, где ж тут поллоктя до фашизма и сионизм? Второй документ — « Письмо молодым евреям »; подробнее о нем — позднее. Сейчас только скажу : даже в « Справке » КГБ говорится, что автор отговаривает евреев уезжать в Израиль. Разве сионисты против эмиграции евреев? Нет, сказать можно что угодно, произнести какое угодно слово, но не « сионизм ». Можно даже сказать — « антисионизм ». По-началу мне почудилось, будто Дудин намеренно нес околесицу, облегчая возможность его опровергать, и вообще стремясь всему заседанию придать пародийный характер. Может быть, это в самом деле так? Может быть, Дудин открыл новую форму сопротивления путем околесицы? Увы, нет. Дудин услышал только слово *евреи*, да еще, наверное, *воззвание*, а все остальное реконструировало его полупьяное воображение.

В стихах Дудин строит себе биографию бесстрашного солдата, преданного друга, приверженного идее добра, справедливости и чести :

*Хочу, чтоб мысль и кровь друзей моих
Вошли в суровый откровенный стих,
Чтоб он неправдою не оскорбил
Торжественную тишину могил,
Чтоб он вошел как равный в честный круг
Моиx друзей.*

Он неизменно мечтает —

*На дно ли камнем,
Птицей ввысь ли, —
Закончив бой, бросаться в бой.*

*И оставаться в лучшем смысле
Самим собой,
Самим собой.*

Вот и остался Михаил Дудин — *самим собой*.

Теперь он и лауреат государственной премии, и депутат Верховного совета, и любимый персонаж газетных панегириков, и томада на выпивках, только вот остался ли он поэтом? Сохранил ли *суровый откровенный стих*, так привлекавший его у других и так надеявшийся войти в *честный круг*?

Нельзя не вспомнить другую эпиграмму, которая, как всякий фольклор, выражает самую суть истины :

*Секретарь Союза Дудин
Сто очков любому даст.
Этот Дудин, сын иудин,
Как посмотрит, так продаст.*

Профессор Базанов лукав — он играет в благородство. Его, видите ли, не слишком тревожит тот факт, что Эткинд встречался с Солженицыным, который был членом Союза писателей и печатался в «Новом мире». На него *сильное и самое тяжелое впечатление* произвели два документа — «Письмо молодым евреям» и рецензия на предисловие Хейфеца. Ни того, ни другого Базанов в глаза не видел. А если бы видал, то знал бы, что это никакие не документы, а частные письма. Первый — письмо, адресованное моему зятю, собиравшемуся эмигрировать. Второй — от руки набросанное письмо Хейфецу, касающееся отнюдь

не « предисловия », а черновика — да, да, именно черновика его, Хейфеца, статьи о стихах Бродского (кстати о стихах, начисто лишенных всякого политического содержания). Можно ли подвергать каре за письмо, какие бы мысли в нем ни содержались? Ведь это то же самое, что карать за мнение. (Я задаю вопрос чисто риторический. За письма у нас не просто так — выгоняли, а и в лагерь сажали, и большие сроки давали. В 1945 году арест Солженицына и его корреспондента Виткевича, а затем тюрьма и лагерь — все это из-за частных писем. Можно сослаться на войну и на сталинский террор. Сейчас нет ни того, ни другого). Да, в этом письме утверждалось, что поколение Бродского было потрясено венгерскими событиями 1956 года, а не оккупацией Чехословакии 1968 года. Что же криминального в таком утверждении? Да, Эткинд не одобрял введение войск Варшавского договора в социалистическую Чехословакию. Но, во-первых, эту оккупацию не одобрял никто, кроме демагогов, которые лгали на собраниях, отлично понимая, что́ они делают, и отъявленных сталинистов (например, догматика Куньяла и литературного пирата Шолохова); все мы помним позицию даже западных коммунистов, — шведских, французских, итальянских, английских, испанских... Эткинд, не одобряя этого черного дела, молчал. Молчал — из решительного нежелания покидать родину. Свое мнение, отнюдь широко его не пропагандируя, он высказал — в одном частном письме, в одном экземпляре. Что́ же так глубоко и тяжело впечатлило профессора Базанова? Что люди еще пишут друг другу письма? Что в письмах они позволяют себе гово-

речь о том, чего сам он (думая так же) вслух не высказывает? Я бы понял Базанова, если бы его *тяжелое впечатление* было вызвано действиями полиции, хватающей в мирное время частные письма, и действиями его собратьев, повинующихся полиции бесприкословно и шельмующих писателя за мысли, доверительно высказанные другому. Известно ли профессору Базанову, что французский писатель Арагон на весь мир с негодованием осудил вторжение в Чехословакию — в статье «Я называю кошку кошкой...»? И что этому самому писателю Арагону советское правительство дало орден Октябрьской революции — через несколько лет после той статьи? Арагон не советский гражданин, верно. Значит, логика такая: будь Арагон поданным СССР, его бы изгнали из Союза писателей. Но, так как он поданный Франции, его награждают орденом — и каким? Октябрьской революции. Базанов и сам все это знает, но твердит ритуальные речи, исправно играя роль, предписанную ему в спектакле, и не задумываясь над смыслом произносимого.

О «Письме к молодым евреям», которое тоже поразило Базанова, следует сказать еще категоричнее: юридических оснований для преследования оно не дает. Во-первых, оно тоже — частное. Во-вторых, та единственная фраза, которую органы сочли в ней криминальной, истолкована произвольно. Да, я написал: «Боритесь здесь, а не там». За что я советую молодым евреям бороться? За справедливость. Разве призыв бороться за справедливость преследуется законом? Базанов может, конечно, сказать: «Не хитрите, я-то

знаю, что у нас в стране никакой справедливости нет, и, значит, вы призываете к борьбе против советской власти». Может оно и так, но сказал это Базанов, а не я.

Не опоздал ли я с этой полемикой? Я веду ее из надежного укрытия, находясь во Франции и поглядывая из окна на величавые и бесконечно мирные Савойские Альпы. Не поздно ли спорить с Базановым? И еще — мне могут сказать: — Ведь ты теперь в безопасности. Почему же хитришь, выставляя себя чуть ли не сторонником, защитником справедливой советской власти? Ты ведь достаточно хорошо понимал, что справедливой она быть не может. Говоря «Боритесь здесь, а не там» — за справедливость, ты, конечно, имел в виду: «...против Советской власти». В таком случае они правы, истребляя тебя. Они себя защищают, и при этом даже не лгут. А ты — лукавишь.

Этот вопрос очень важен. Но ответить на него не трудно.

Призывал ли я «молодых евреев» бороться против советской власти и свергать ее? Нет, не призывал. Был ли я заговорщиком? Нет, не был. Я занимался филологией, а не политикой. Моя ли вина, что всякое честное высказывание приобретает в Советском Союзе — помимо нашей воли и наших намерений — антисоветский смысл?

Важно установить одно: я не выходил за пределы легальности. А если выходил, это требует юридически весомых доказательств. Хранил ли я экземпляр «Архипелага ГУЛаг»? Оказывал ли автору *практическую помощь*? Может быть. Но обвинитель обязан представить доказательства.

Обыска не было, этого экземпляра никто не нашел, никто не видел. Свидетельство мертвой Воронянской — не улика: очная ставка между нами невозможна. Может быть ее вынудили дать ложные показания? Допускаю, что КГБ располагает магнитофонными лентами с моими разговорами; но ведь оперировать такими незаконными материалами полиция не имеет права. К тому же и ленты никому предъявлены не были. Даже если бы я сам признался, что был заговорщиком, этого было бы недостаточно для осуждения, потому что, как теперь известно, даже в СССР личное признание обвиняемого — не доказательство. Реальными уликами остаются мои частные письма. Но из них можно сделать вывод лишь о моих взглядах, не о деятельности. И ведь полиция не сама со мной расправлялась, она предпочла делать это руками профессоров и писателей. Однако ни те, ни другие доказательств не требовали и не получили, — они поверили на слово полицейским следователям. Вся эта процедура незаконна. Вот о незаконности внесудебной расправы я и веду речь. То, что было сделано вчера со мной посредством «общественности», может быть завтра сделано с любым. За мной стояла тень Солженицына, за этим «любым» может стоять другая тень. — Некрасова, Коржавина, Галича, да и Эткинда. Был знаком. Поддерживал связь. Оказывал практическую помощь. Читал сочинения. Передавал другим. Нет, я не такой идеалист, чтобы напоминать о хартии, подписанной Советским Союзом в Хельсинки 2 августа 1975 года; этот документ, скорее всего, останется таким же клочком бумаги, каким осталась другая

хартия, до того тоже подписанная нашими делегатами — « Декларация прав человека ». Дай Бог, чтобы я оказался плохим пророком ! Сейчас, рассказывая свою историю, я взываю не к уважению « инакомыслия », а к бесконечно меньшему : уважению минимальной юридической процедуры при обвинениях и осуждениях.

И еще к одному : к достоинству и совести моих недавних соотечественников. К тому, чтобы они, наконец, осознали, что ими бессовестно манипулируют; что они не только имеют право, но обязаны не голосовать за то, чего не знают, не осуждать того, что не читали, не выносить приговор, не потребовав доказательств.

Перед нами прошла вереница профессоров, преподавателей, прозаиков, поэтов, критиков. Все они — все без исключения — позволили втянуть себя в преступление несправедливого суда, основанного на полицейском произволе и диктате. А ведь каждый из них на этом суде был своего рода присяжным заседателем. С присяжными прокурору приходится нелегко : их надо склонить на сторону обвинения не только риторическим пафосом и, тем более, угрозами, но системой доводов; надо с достаточной убедительностью опровергнуть адвоката, то-есть противопоставить его доводам другие, более веские; надо им внушить, что предложенная мера наказания — правильная, не преувеличенно суровая. Присяжные, взвесив все за и против, выносят приговор. Такова практика демократического суда.

Наши « присяжные », как говорится, для мебели. Приговор вынесен без их участия — их информируют, не приводя доказательств и обходясь

не только без адвокатов, но даже и без обвиняемого. Мнение каждого из них должно быть произнесено вслух: это как бы круговая порука, кровью связывающая участников преступления. При этом даже безразлично, что скажет тот или иной « присяжный »: если он не выступил против, значит он за, и значит он связал себя тою же порукой. Этой сатанинской логики не поняли (или не захотели понять) Василий Кукушкин, Глеб Горьшин, Семен Ботвинник, которые выступали пристойнее других, но — выступили, а значит, поддались на провокацию. Ничего от них и не хотели, кроме признания в соучастии. « Пятерку надо скрепить кровью » — так учил еще Петр Верховенский.

День 25 апреля приближался к концу. Время от времени раздавался короткий звонок в дверь — это приходил кто-нибудь из друзей. Поздно вечером я вышел с портфелем, в котором лежали зубная щетка и бритва — оставаться на ночь дома было неразумно; я решил симулировать отъезд в Москву, появиться с портфелем на Московском вокзале, а там — хорошо известным мне боковым выходом и переулочками — пробраться к тому гостеприимному дому, где мне было предоставлено убежище. Вышли мы все вместе, — домашние и гости, и то, что мы увидели, нас ошеломило. Даже нас, уже ко многому привычных. Наш двор, посреди которого небольшой садик, кишел топтунами. Один медленно шел навстречу: это был мой старый знакомый, постоянно околачивавшийся под окнами нашей квартиры или в парадной — пожилой, сутулый, с

большим вислым носом и мешками под глазами; наружность его была слишком заметной — почему берут таких в шпики? С этим «своим» я чуть ли не ежедневно здоровался, иногда, когда было холодно, звал его к нам пить чай, он же, не смущаясь, бурчал, что ждет приятеля — тот сейчас выйдет. «Все ждете? Опять приятель подвел?» — спрашивал я, шагая мимо, а он поднимал воротник и ежился. На этот раз он появился из темноты, но я не успел ему ничего сказать, потому что один из спутников со смехом показал мне на другого, куда-то убежавшего по крыше ближайшего гаража; третий, четвертый, пятый стояли или прохаживались в подворотне, за углом, на улице. Дочь отошла в сторону, поймала такси, один бросился за ней, но мы быстро сели и уехали, оторвавшись от преследователей. Через несколько минут мы были уже на междугородной телефонной станции, откуда информировали друзей об итогах дня. Из дома я исчез, чтобы уже долго не возвращаться, шпики ходили за женой. Несколько дней я прожил в чужом доме, потом уехал в Москву.

Такова история одного дня. Читатель многое в ней не поймет, поэтому я расскажу ему некоторые эпизоды, предшествовавшие 25-му апреля 1974 года. А затем вернусь к тому, что произошло после поворотной даты. Если принять этот день за известную точку на оси времени, то мы будем сначала двигаться влево от нее, в прошлое, а потом — вправо, в будущее.

Глава третья

ПРАВОСУДИЕ

*А я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос по коридору
в ту дальнюю страну, где больше нет
ни января, ни февраля, ни марта.*

И. Бродский. Сонет (1962)

О молодом поэте Иосифе Бродском я слышал и до шестьдесят третьего года; тон, которым говорили о его стихах даже записные скептики, был неизменно восторженным. Мне ничего на глаза не попадалось. В ту пору Самиздата почти не было. Стихи из уст в уста (а значит иногда из рук в руки) передавались, но только политические. Пожалуй, наибольшей известностью пользовались тогда твердые и нарочито корявые строки Бориса Слуцкого; от имени поколения он подводил поэтические итоги едва миновавшей сталинской ночи :

*... Все спали. Только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,*

*Как будто выдирали
Из пересохшей почвы
Его приказов — окрик,
Его декретов — почерк,
Следы трехдневной смерти
И старые следы
Тридцатилетней власти
Величья и беды.*

Бродский политическим поэтом не был, его стихи не переписывали и друг другу не передавали. Однажды мне принесли несколько страничек, и то, что я прочел, меня сразу поразило: долго я не мог отделаться от безнадежно монотонных, гнетущих и все же чарующе музыкальных строк:

*Был черный небосвод светлей тех ног,
и слиться с темнотою он не мог.
В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня...*

*Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полумночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.*

*Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.*

*В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.*

Как будто был он чей-то негатив...

Не удивительно ли, что эти страшные стихи о смерти создал двадцатилетний юноша? Что он, совсем еще мальчик, так владел словом, ритмом, поэтическим образом? Что в его воображении рождались небывало парадоксальные сравнения и метафоры? « Так черен, как внутри себя игла », « Глаза его белели, как щелчок »... Какой поэт! К тому же почти от всех, известных мне, он отличался современностью своей эстетики; то, что писал он, было — после Цветаевой, после Маяковского, после Хлебникова, а, главное, после Мандельштама. Он решал новые задачи, которые ставил себе сам, и которые ставило время. Вскоре я узнал другие его стихи, ничуть не веселее тех, о черном коне :

*Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят...*

*Смерть — это наши силы,
наши труды и пот.
Смерть — это наши жилы,
наша душа и плоть.*

*Мы больше на холм не выйдем.
В наших домах огни.
Это не мы их не видим —
нас не видят они.*

Про такие стихи нельзя сказать, что они, как многие стихи молодых поэтов, насквозь литературны, или, напротив, вне всякой традиции: в них с неправдоподобной зрелостью соединились жизнь, опыт собственных переживаний и раздумий — с утонченнейшей, предельно концентрированной литературностью, с органически усвоенной прежней поэзией. Стихотворение, посвященное Анне Ахматовой, обнаруживало с особой силой связь мгновенного с вечным, классического с вызывающе современным, напевного с разговорным:

*... Я не видел, не увижу ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревьям,
по отечеству без памятника Вам.*

*В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но там Вы не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.*

*Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!
Этот воздух загустевший только плоть
дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!»*

Когда старый Гюго услышал стихи Бодлера, он произнес: «Это новый трепет!» В рит-

мах, метафорах, звуках Бродского был новый трепет, верный признак подлинного поэта — лучше не скажешь. Это услышала и Анна Ахматова: строку « Вы напишете о нас наискосок » она поставила эпиграфом к стихотворению « Последняя роза » (1962). Мало кого она удостаивала такой чести — в лирике последних лет она брала эпиграфы только у Горация, Пушкина, Ин. Анненского, Блока, Цветаевой, Бодлера. Да и стихотворение ее полно глубокого смысла, связанного с эпиграфом :

*Господи ! ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.*

(Той же теме — судьбе молодых поэтов начала шестидесятых годов — теме, подсказанной строкой Бродского, посвящено четверостишие того же 1962-го года :

*О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.*

Увы, этой надежде не суждено было сбыться: безмятежное чело так скоро отуманилось горечью, мукой, отчаянием! На нем появилось « золотое клеймо неудачи », проклятия.)

Так — в ахматовском эпиграфе — впервые появилось на страницах большой печати имя: « Иосиф Бродский » — в январской книжке « Но-

вого мира » 1963 года, как бы поставленное Ахматовой в один ряд с именами поэтов, ее избранников. А несколько месяцев спустя оно появилось снова, на этот раз в газете « Вечерний Ленинград » от 29 ноября того же 1963 года. То была статья, озаглавленная « Окололитературный трутень », и начинавшаяся так :

« Несколько лет назад в ленинградских окололитературных кругах появился молодой человек, который называл себя поэтом. На нем были вельветовые брюки; в руках — всегда один и тот же набитый бумагами портфель. Зимой он разгуливал без шапки и снег припорошивал его рыжую шевелюру.

Друзья называли его просто — « Ося ». Но в других кругах он именовался полным именем — « Иосиф Бродский ».

Статья, подписанная Лернером, Ионовым и Медведевым, изображала Бродского невеждой, бездельником, тунеядцем, который настойчиво уклоняется от общественно-полезной деятельности, проводит вечера в ресторанах в обществе распущенных длинноволосых девиц и юнцов, и сочиняет пессимистические вирши о смерти или порнографические куплеты. Бродский общается с иностранцами и подонками, однажды пытался украсть ...самолет и на нем улететь за границу, паразитирует за счет престарелых родителей. « Таким, как Бродский — с негодованием восклицали авторы статьи — не место в Ленинграде ».

Статья была грозной. Не слишком грамотная и недостоверная (например, авторы цитировали стихи, написанные вовсе не Бродским), она явно исходила из кругов, близких Большому дому, и

содержала обвинения не только, так сказать, бытовые, но и политические: за попытку украсть самолет и бежать из Советского Союза рыжеволосого Осю следовало, собственно говоря, немедленно арестовать.

К тому времени я уже был с ним знаком. Бродский ошеломил меня нескончаемым потоком стихотворений и поэм, которые он читал самозабвенно, зажмурясь, — с таким оглушительным картавым пением, что звенели стекла; его манера исполнять казалась необычной, как его стихи: в ней чувствовалась бешеная динамичность, однозвучие редко перебивалось подъемом или понижением голоса, а паузы между строфами отмечались повышенной стремительностью. В этом было нечто символическое: в конце строфы, там, где всякий другой остановился бы, Бродский ускорял темп, и возникало впечатление перебоя, достигнутое средствами прямо противоположными обычным. И так не только в чтении — во всем.

Иосиф Бродский выступил в устном альманахе «Впервые на русском языке», к тому времени уже несколько лет выходявшем под моим руководством в Доме писателя имени Маяковского. Каждый номер альманаха был многолюдным вечером, собиравшим сотни слушателей, среди которых преобладала литературная молодежь — перед этой аудиторией выступали переводчики разных поколений, от маститых до начинающих, с демонстрацией последних, еще не опубликованных работ. Публика была талантливая, жадная до поэтических открытий. Выступление Бродского перед набитым залом не походило ни на какие

другие : его словесно-музыкальный фанатизм действовал магнетически; он читал стихи польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского :

*Заворожённые дрожки,
Заворожённый возница,
Заворожённый конь...*

и зал тоже сидел — замороженный, хотя поначалу невнятные нагромождения картавых « р » могли даже показаться смешными.

Я уже знал, что Бродский — не просто поэт выдающегося дарования, но и человек незаурядной трудоспособности : чтобы переводить Галчинского, он изучил польский, а чтобы читать в подлиннике и переводить Джона Донна и других любимых им поэтов метафизической школы — английский. Его Джон Донн по-русски феноменален; он одновременно старинный и современный, и этим совмещением противоположностей похож на Бродского :

*Узри в блохе, что мирно льнет к стене,
В сколь малом ты отказываешь мне.
Кровь поровну пила она из нас :
Твоя с моей в ней смешаны сейчас.
Но этого ведь мы не назовем
Грехом, потерей девственности, злом.
Блоха, от крови смешанной пьяна,
Пред вечным сном насытилась сполна;
Достигла больше нашего она...*

И вот этого человека, этого фанатика слова и пролагателя новых путей называют паразитом и тунеядцем ? Такие обвинения могли повлечь за

собой опаснейшие последствия : совсем недавно, 4 мая 1961 года, был принят указ Верховного Совета СССР о борьбе с тунеядцами и выселении их из больших городов (« Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезной работы и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни »), а несколько месяцев назад, 10 марта 1963 года, указ был подтвержден и развит пленумом Верховного суда. Закон был сам по себе необходим : число бездельников, живших воровством или спекуляцией разного рода, стало пугающим. В указе говорилось о множестве жителей больших городов, которые состоят на работе для виду, для отвода глаз, а на самом деле занимаются темными махинациями : « Паразитический образ жизни этих лиц как правило сопровождается пьянством, моральной распущенностью и нарушением правил социалистического общежития, что имеет отрицательное влияние на других членов общества ». Все это было нужно и более, чем правильно. Но — но закон о тунеядцах имел заднюю мысль. Любого инакомыслящего можно было сперва прогнать с работы, а немного позднее, придравшись к тому, что он нигде не работает, выслать в тундру — как тунеядца. Бродскому грозила высылка; политических стихов он не писал, но все, что он делал, писал, думал было — « инако ». Можно ли это простить ?

Я бросился на защиту Бродского. В Союзе писателей творчеством « молодых » занималась специальная комиссия, во главе ее стоял Даниил Гранин; я был членом этой комиссии, и в качестве такового обратился к ее председателю. « Мы вме-

шиваться не будем» — отрезал Гранин. Как не будем? Разве это не прямая наша обязанность? На наших глазах происходит расправа с молодым писателем, — кому же его защитить, если не нам? Доводов Гранин не приводил; он отвергал возможность, а значит и необходимость помочь. Несколько дней спустя в секретариате Ленинградского Союза писателей выступал с докладом автор статьи «Вечернего Ленинграда» Лернер; почему его допустили? Позднее я узнал, что он показал тогдашнему руководителю ленинградской писательской организации поэту Александру Прокофьеву какое-то удостоверение «из органов» и нагнал на старика панический страх (а бумажка-то была, говорят, фальшивая). Поглядев на удостоверение с печатью Большого дома, Прокофьев стал в позицию «чего изволите?» и уступил — без попыток сопротивления. 13 декабря Лернер явился в Союз и произнес перед испуганными секретарями грозную речь; он дал понять, что этот мальчишка Иосиф Бродский — вредный элемент, что вокруг него собираются наркоманы, алкоголики, стилиаги, хиппи, фарцовщики, что он общается с американцами-туристами и, наверное, спекулирует валютой и наркотиками, что он настроен антисоветски и многократно обнаружил это в разговорах (подслушанных) и письмах (перехваченных), что он активный сионист, что он... что он... Все это были плоды злого воображения Лернера, который сводил с Бродским какие-то личные счёты. Замечу в скобках, что Лернер фигура характерная в своем роде: до 1954 года он был капитаном войск МВД, позднее стал дружинником и с повязкой «член народной дружины»

патрулировал район Европейской гостиницы; мошенник и авантюрист, шантажом вымогавший большие суммы у фарцовщиков, он без всякого сомнения и после своей официальной отставки был связан с Большим домом, но едва ли открыто : документ, которым он размахивал, был скорее всего поддельным. Таких прохвостов органы не слишком ценят : они используют их услуги, даже позволяют проявить инициативу, но потом выбрасывают вон. Так было и с Лернером. Государственная Безопасность его руками и его языком организовала « общественное негодование » вокруг тунеядца Бродского, суд над ним, прессу, все необходимые в данном случае интриги, а потом отделалась от него. Гораздо позднее, десять лет спустя, в мае 1973 года, Лернера арестовали и судили — именно как мошенника крупного масштаба (а еще надо было как клеветника), и он был приговорен к шести годам лагерей; но это — позднее. Тогда, в декабре 1963 года, Лернер оказался победителем : секретариат Союза писателей вполне единодушно вынес решение предать Иосифа Бродского суду как тунеядца. В составе секретариата были не малограмотные чиновники, не безответственные, выжившие из ума пенсионеры, а писатели : поэты Александр Прокофьев и Николай Браун, прозаики Петр Капица и Даниил Гранин, критики, драматурги... И вот писатели приняли беспрецедентно постыдное решение : по требованию какого-то проходимца, за спиной которого маячила тень « органов », предать молодого поэта суду. Для меня поведение писателей, секретарей Союза, было симптомом не только зловещим, но и куда более страшным, нежели

самоуправство « органов », произвол дружинников, преступная глупость обкома.

Бродского арестовали. « Была очень холодная ночь... Я шел по улице, меня окружили трое. Они спросили, как моя фамилия, и я как идиот ответил, что я "тот самый". Они предложили мне пройти кое-куда с ними, им надо поговорить. Я отказался — я собирался зайти к приятелю. Началась потасовка... Они подогнали машину и скрутили мне руки за спину... »

Мы узнали, что Бродский в тюрьме « Кресты » и пытались поднять на его защиту общественные силы, пытались добраться до высокопоставленных чиновников : в Союзе писателей, в прокуратуре, в министерствах. Но уже было поздно : Бродский сидел за решеткой; или, пожалуй, — рано : а вдруг суд его оправдает? Возможно ли, чтобы советский народный суд, не имея весомых улик, вынес обвинительный приговор? Раз человека арестовали, значит « что-то есть ». Этот привычный довод — « что-то, наверно, есть, если... » — позволял многим в течение десятилетий сохранять иллюзию чистой совести при полном и успокоительном бездействии.

Некоторые благожелатели — прежде всего уже названная выше поэтесса Наталия Грудинина, отличающаяся неукротимым общественным темпераментом и чувством высокой ответственности — метались в поисках выхода, в попытках мобилизовать писателей, адвокатов, журналистов. В один из таких дней, когда положение казалось безнадежным, я написал в Москву давнему другу, Фриде Абрамовне Вигдоровой, подробно излагая ей всю историю травли и взывая к ее активности.

Впрочем, в ее активности можно было не сомневаться — она очертя голову бросалась во все дела, где была попорана справедливость и где можно было надеяться ее восстановить. У Ф. Вигдоровой были сильные союзники и многочисленные связи : долгие годы она сотрудничала в « Литературной газете », « Комсомольской Правде » и « Правде », где публиковала очерки и статьи по проблемам нравственного воспитания. Ее помощь была неоценимой. Она не заставила просить себя дважды. С того дня, как она узнала обстоятельства дела Бродского, это дело стало содержанием ее жизни; точнее — ее последних полутора лет.

У меня сохранилось одно из писем Вигдоровой о начале ее борьбы за Бродского; оно датировано 17-м декабря — четыре дня после решения ленинградского секретариата предать Бродского суду. Здесь упоминаются : В.С. Толстикова — это первый секретарь Ленинградского обкома партии, фактический в ту пору хозяин Ленинграда (ныне — посол в Китае); Виктор Ефимович Ардов — писатель-сатирик, близкий друг А.А. Ахматовой, которая обратилась к нему с просьбой помочь; Алексей Александрович Сурков — поэт, тогдашний секретарь Союза писателей СССР; Давид Яковлевич Дар — ленинградский прозаик, который был активнейшим участником нашей борьбы и тоже, одновременно со мной, написал Ф. Вигдоровой о деле Бродского; вот письмо Ф. Вигдоровой :

«... Нынче мы с Ардовым разговаривали с Шостаковичем. Он — депутат Ленинграда в Верховном Совете. Обращение к нему — естественно.

Разговор был очень хороший. Он сказал, что

отыщет на сессии Василия Сергеевича Толстикова и поговорит с ним. Василий Сергеевич уже в курсе дела, с ним вчера разговаривал Ардов.

21-го Шостакович будет в Ленинграде. Если до того времени ничего не изменится, отыщите его непременно и скажите, что всё попрежнему худо. Но я очень хочу надеяться, что нынче произошел какой-то перелом в этом гнусном деле.

Кроме того, мы вчера послали все материалы Суркову, и сегодня он звонил Анне Андреевне и сказал, что будет разговаривать с руководством Вашего Союза. Это ведь тоже невредно, правда?

Я не пишу Дару. Мое письмо Вам, одновременно ответ и ему. Если не трудно, передайте Давиду Яковлевичу все, о чем я пишу Вам...

17 декабря 1963 г.

Москва

Это было началом борьбы — как видим, с первых же дней достаточно энергичной. Ф. Вигдорова действовала неутомимо: ее усилиями оказались вовлечены в ряды защитников три лауреата Ленинской премии — Д.Д. Шостакович, С.Я. Маршак и К.И. Чуковский, поэты, музыканты, ученые. В то время всё это было внове: Самиздата еще не существовало, опыта коллективной борьбы тоже; все это появилось позднее, родившись во время дела Бродского.

А Иосиф Бродский сидел в тюрьме. Шостакович разговаривал с Толстиковым, а Сурков с Прокофьевым; в обкоме, КГБ и народном суде накапливались письма, телеграммы от Маршака, Чуковского, Ахматовой, Вигдоровой, многих других. Уже и Даниил Гранин понял ошибочность своей

первоначальной позиции и послал телеграмму генеральному прокурору СССР, в которой выражал свое возмущение незаконными действиями ленинградских властей.

А Бродский сидел в тюрьме «Кресты», и все шло своим чередом, как того хотел проходимец Лернер.

Незадолго до суда Ф. Вигдорова приехала в Ленинград. Группа писателей собралась на квартире известного романиста Юрия Павловича Германа — обсуждались возможные (или невозможные?) действия. Сам Юрий Герман, человек степенный, склонный к миролюбивым решениям и вполне лояльный, — бушевал: это «дело» представлялось ему нелепым, гротескным, фантастическим; он звонил в управление милиции, с которой у него были давние связи, рассылал письма, уговаривал бюрократов, и, будучи по натуре оптимистом, верил в торжество добра.

А Бродский сидел в «Крестах» и ждал. Параллельные линии не пересекались.

За несколько дней до процесса я отправился к председателю Ленинградского городского суда. Он принял меня, одного из руководителей секции переводчиков и члена комиссии по работе с молодыми писателями, с официально-равнодушной вежливостью. Я пытался разъяснить ему, что человека, который пишет и переводит стихи, нельзя считать тунеядцем лишь по той единственной причине, что он не состоит членом Союза писателей. Председатель суда слушал внимательно, молча кивал головой, а потом дал мне понять, что тунеядство — обвинение скорее формальное, и что против Бродского есть другой материал.

— Какой? политикой он не интересовался никогда. Он поэт метафизический, его волнуют вопросы бытия, вопросы жизни и смерти, вечности и бесконечности. На такого человека — какой может быть у вас материал?

Он полистал дело, и, вынув какой-то лист, пододвинул его мне. Я увидел не вполне пристойную и очень злую эпиграмму на Александра Прокофьева.

— И много у вас такого материала? — спросил я.

Судья рассердился: — Не понимаю вашего иронического тона.

— Эту эпиграмму я знаю давно. Ее сочинил другой автор, к Бродскому она отношения не имеет. (Это была эпиграмма Дудина).

— У нас другие данные, — строго сказал судья и не выразил охоты продолжать разговор.

Слушание дела было назначено на 18 февраля. Подойдя к зданию районного суда на улице Восстания, мы увидели толпу перед входом, ожидавшую, когда доставят обвиняемого. Мы поднялись наверх, в заплеванной, темный коридор, — в это время конвоиры провели мимо нас отощавшего Бродского; он посмотрел в нашу сторону и едва заметно улыбнулся. Через несколько минут нас — Ф. Вигдорову, писателя И. Меттера, меня и родителей преступника — впустили в зал. Молодежь продолжала толпиться и шуметь, — милиционеры загородили лестницу под предлогом, что в зале мало места. Заседание шло под гул голосов, было плохо слышно, толпу время от времени безуспешно пытались унять. Ф. Вигдо-

рова сидела с блокнотом и, начав записывать, сразу навлекла на себя гнев судьи Савельевой, женщины лет сорока, угрюмой и похожей не столько на судью, сколько на дворничиху, озлобленную ночными скандалами пьянчуг. Справа и слева от нее сучали заседатели, не очень понимавшие, что происходит: они с недоумением поглядывали на дверь, за которой шумела молодежь.

Вот первое заседание, в записи Ф. Вигдоровой.

Судья : Чем вы занимаетесь ?

Бродский : Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...

Судья : Никаких « я полагаю ». Стойте как следует ! Не прислоняйтесь к стенам ! Смотрите на суд ! Отвечайте суду как следует ! (Мне). Сейчас же прекратите записывать ! А то — выведу из зала. (Бродскому) : у вас есть постоянная работа ?

Бродский : Я думал, что это постоянная работа.

Судья : Отвечайте точно !

Бродский : Я писал стихи ! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...

Судья : Нас не интересует « я полагаю ». Отвечайте, почему вы не работали ?

Бродский : Я работал. Я писал стихи.

Судья : Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.

Бродский : У меня были договоры с издательством.

Судья : У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться ? Перечислите : какие, от какого числа, на какую сумму ?

Бродский : Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.

Судья : Я спрашиваю вас.

Бродский : В Москве вышли две книги с моими переводами... (перечисляет.)

Судья : Ваш трудовой стаж ?

Бродский : Примерно...

Судья : Нас не интересует « примерно ! »

Бродский : Пять лет.

Судья : Где вы работали ?

Бродский : На заводе. В геологических партиях...

Судья : Сколько вы работали на заводе ?

Бродский : Год.

Судья : Кем ?

Бродский : Фрезеровщиком.

Судья : А вообще какая ваша специальность ?

Бродский : Поэт. Поэт-переводчик.

Судья : А кто это признал, что вы поэт ? Кто причислил вас к поэтам ?

Бродский : Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду человеческого ?

Судья : А вы учились этому ?

Бродский : Чему ?

Судья : Чтобы быть поэтом ? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Бродский : Я не думал, что это дается образованием.

Судья : А чем же ?

Бродский : Я думаю, это... (растерянно) ...от Бога...

Судья : У вас есть ходатайства к суду ?

Бродский : Я хотел бы знать, за что меня арестовали ?

Судья : Это вопрос, а не ходатайство.

Бродский : Тогда у меня ходатайства нет.

Судья : Есть вопросы у защиты ?

Защитник : Есть. Гражданин Бродский, ваш заработок вы вносите в семью ?

Бродский : Да.

Защитник : Ваши родители тоже зарабатывают ?

Бродский : Они пенсионеры.

Защитник : Вы живете одной семьей ?

Бродский : Да.

Защитник : Следовательно, ваши средства вносились в семейный бюджет ?

Судья : Вы не задаете вопросы, а обобщаете. Вы помогаете ему отвечать. Не обобщайте, а спрашивайте.

Защитник : Вы находитесь на учете в психиатрическом диспансере ?

Бродский : Да.

Защитник : Проходили ли вы стационарное лечение ?

Бродский : Да, с конца декабря 63-го года по 5 января этого года в больнице имени Кащенко в Москве.

Защитник : Не считаете ли вы, что ваша болезнь мешала вам подолгу работать на одном месте ?

Бродский : Может быть. Наверно. Впрочем, не знаю. Нет, не знаю.

Защитник : Вы переводили стихи для сборника кубинских поэтов ?

Бродский : Да.

Защитник : Вы переводили испанские романсеро ?

Бродский : Да.

Защитник : Вы были связаны с переводческой секцией Союза писателей ?

Бродский : Да.

Защитник : Прошу суд приобщить к делу характеристику бюро секции переводчиков... Список опубликованных стихотворений... Копии договоров, телеграмму : « Просим ускорить подписание договора ». (Перечисляет.) И я прошу направить гражданина Бродского на медицинское освидетельствование для заключения о состоянии здоровья и о том, препятствовало ли оно регулярной работе. Кроме того, прошу немедленно освободить гражданина Бродского из-под стражи. Считаю, что он не совершил никаких преступлений и что его содержание под стражей — незаконно. Он имеет постоянное место жительства и в любое время может явиться по вызову суда.

Суд удаляется на совещание. А потом возвращается, и судья зачитывает постановление :

Направить на судебно-психиатрическую экспертизу, перед которой поставить вопрос, страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием и препятствует ли это заболеванию направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда. Учитывая, что из истории болезни видно, что Бродский уклонялся от госпитализации, предложить отделению милиции № 18 доставить его для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Судья : Есть у вас вопросы ?

Бродский : У меня просьба — дать мне в камеру бумагу и перо.

Судья : Это вы просите у начальника милиции.

Бродский : Я просил, он отказал. Я прошу бумагу и перо.

Судья (смягчаясь) : Хорошо, я передам.

Бродский : Спасибо.

Когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи.

Судья: Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу!

Из толпы: Не каждый день судят поэта!

Судья: А нам всё равно — поэт или не поэт!

По мнению защитницы З.Н. Топоровой, судья Савельева должна была освободить Бродского из-под стражи, чтобы он на другой день сам пошел в указанную психиатрическую больницу на экспертизу, но Савельева оставила его под арестом, так что в больницу он был отправлен под конвоем.

Так прошел первый суд. Пусть читатель не удивляется ходатайству адвоката, — в то время мы ничего еще не знали о специальных психиатрических больницах-тюрьмах (СПБ), в которые заключают инакомыслящих; известно о них стало годом позднее, когда признали сумасшедшим видного военного теоретика и боевого генерала П.Г. Григоренко. Еще в 1963 году защита полагала, что, доказав нездоровие Бродского, она освободит его от «направления в отдаленные местности». Конвоиры сопроводили Бродского в психиатрическую лечебницу. Там он пробыл недели три, подвергаясь трудным испытаниям; за эти недели он не тронулся в уме, дозакав особую устойчивость своей психики. Любители поэзии даже извлекли из этого эпизода его биографии профит — ему мы обязаны возникшей позднее поэмой «Горбунов и Горчаков». Так или иначе, эксперты-медики в те далекие идиллические времена в сумасшедший дом Бродского не

засадил (был бы он и посейчас там!), а написали в своем заключении, что он трудоспособен и что к нему можно применять административные меры.

Меньше, чем через месяц после первого суда состоялся второй — на этот раз в большом зале Клуба строителей на Фонтанке, рядом с прежней вотчиной шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, то есть Третьим отделением его императорского величества канцелярии; теперь там же — ленинградский Городской суд (любопытная преемственность: поэта судили рядом с тем домом, из которого травили Пушкина, Лермонтова, Некрасова...). Второй суд был долгим, так сказать — полнометражным. Публику составили привезенные специально на грузовиках сезонные рабочие — они улюлюкали, громко аплодировали обвинителям и бросали ядовитые реплики защитникам. Было и несколько писателей — имена их называть не буду. Все та же судья Савельева с издевкой допрашивала подсудимого, пытаюсь установить, что он не зарабатывал себе на жизнь и был паразитом на шее общества (Приложение 1).

Судья : А что вы сделали полезного для родины?

Бродский : Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я пишу, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики : Подумаешь! Воображает!

Другой голос : Он поэт. Он должен так думать.

Судья : Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский : А почему вы говорите, что стихи « так называемые » ?

Судья : Мы называем ваши стихи « так называемые » потому, что иного понятия о них у нас нет.

Это было честно : в самом деле у *них* иного понятия о стихах не было : впрочем, не только иного, но — никакого. Мы сидели в этом зале, окруженные озлобленными сезонниками, и при каждой реплике, нёсшейся из публики, передергивались. Как же это легко : представить поэта сумасшедшим или просто паразитом, поедающим народный хлеб ! Как легко говорить о стихах — « так называемые », и внушить людям, которые таскают тяжелые кирпичи, мешают бетонный раствор, кроют железом крыши, что человек, сидящий с утра за своим письменным столом и сочиняющий непонятные рифмованные строки, держа в холеной руке карандаш, что он — бездельник и ничтожество ! В сущности, работяге свойственно уважать всякий труд, в том числе и труд литератора. Но если начальство его натравливает на человека с пером, твердя : — Тебе тяжело, а ему легко. Тебе кусок хлеба достается потом, а он болтается по ресторанах и сосет коньяк. Ты встаешь чуть свет и давишься в переполненном автобусе, а он дрыхнет до полудня... Так вот, если настойчиво твердить подобные речи, в работяге может в конце концов проснуться инстинкт ненависти к белоручкам, и тогда, в припадке озлобленности, он способен на погром. Откуда ему знать, кто настоящий писатель и заслуживает снисхождения, а кто — щелкопер,

стремящийся к легкой и беззаботной жизни ? Весь процесс Бродского был таким натравливанием обманутых рабочих на поэта, которого выдавали за белоручку и распутника. Обвинитель разоблачал Бродского, будто бы тот « использует чужой труд » — речь шла об использовании подстрочных переводов с языков, которые Бродский знал слабо. В этом месте заседания зал зарычал от негодования : как, этот лоботряс и сам работать не умеет, и еще других эксплуатирует ? Судья настаивала на том, что Бродский вообще не хотел работать, а только баловался стихами. Бродский с недоумением твердил, что писать стихи — это тоже работа, а не баловство, не развлечение, не игра. Зал встречал его слова глумливым смехом.

Судья : Лучше, Бродский, объясните суду, почему в перерывах между работами вы не трудились ?

Бродский : Я работал. Я писал стихи.

Судья : Но это не мешало вам трудиться.

Бродский : А я трудился. Я писал стихи.

Судья : Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать ?

Бродский : Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выраженьем лица.

Судья : Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценивать ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму ?

Бродский : Строительство коммунизма это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...

Судья : Оставьте высокие фразы ! Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую жизнь на будущее.

Бродский : Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый : У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени ?

Бродский : Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом...

Фантастический диалог ! Теперь, когда я перечитываю его спустя двенадцать лет, он кажется мне пародией. А тогда — тогда мы сидели в этом громадном зале, и менее всего нам было смешно. Судья и заседатель Тяглый были не персонажами из ярмарочного фарса, а представителями государственной власти : судьба литератора зависела от них. Бродский — не Пушкин, но если бы они судили Пушкина ?

ОТСТУПЛЕНИЕ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ О ПУШКИНЕ.

*Моя жизнь состоит из одного
монотонного труда, который раз-
нообразится самим же трудом.*

Бальзак

Стоя на вытяжку перед судьей (« Стойте как следует ! Не прислоняйтесь к стенкам !.. ») Пушкин утверждал бы, что работает, и привёл бы свое стихотворение « Труд » :

*Миг вожделенный настал, окончен мой труд
[многолетний.*

*Что ж непонятная грусть тайно тревожит
[меня?*

*Или, свой подвиг свершив, я стою, как
[поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе
[другой?..*

А заседатель Тяглый оборвал бы его :

— Скажите, Пушкин, почему вы столько времени бездельничали ?

А судья Савельева спрашивала бы :

— Вот вы все бахвалитесь : « труд », « подвиг » ...А почему в перерывах между работами вы не трудились ?

А Пушкин все повторял бы :

— Я трудился. Я писал стихи.

А публика хохотала бы глумливо.

И разгневанный Пушкин, может быть, бросил бы в этот зал Клуба строителей :

Душе противны вы, как гробы.

Для вашей глупости и злобы

Имели вы до сей поры

Бичи, темницы, топоры...

И тогда судья Савельева и заседатель Тяглый приговорили бы его к высшей административной мере наказания для тунеядцев — к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.

Выступали свидетели защиты. Писательница Н. И. Грудинина утверждала, что Бродский талантливый поэт и трудолюбивый переводчик; что

« разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда ест », что подстрочник является не предосудительным использованием чужого труда, а принятой формой литературной деятельности. Профессор В.Г. Адмони говорил о высоком мастерстве и большой культуре Бродского как поэта-переводчика; « ...чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа ». Обвинение Бродского в тунеядстве он назвал нелепостью. Выступал свидетелем и я; о Бродском я говорил как о человеке редкой одаренности, « и — что не менее важно — трудоспособности и усидчивости »; говорил о его обширных познаниях в американской, английской и польской литературах; о том, что труд переводчика стихов « требует усердия, знаний, таланта, ...самоотверженной любви к поэзии и к самому труду », и что Бродский всеми этими достоинствами обладает. Я выразил недоумение насчет плаката на воротах : « Суд над тунеядцем Бродским » — не является ли это нарушением презумпции невиновности ?

Впрочем, говорили мы в пустоту — судьи нас не понимали или понимать не хотели. Один из заседателей, отставной военный в гимнастерке без погон, по фамилии Тяглый, вообще не мог взять в толк, о чем идет речь; я говорил о том, какое сильное впечатление произвели на меня в переводах Бродского « ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха », профессор Адмони цитировал Маяковского — « Изводишь единого слова ради тысячи тонн

словесной руды », — а заседатель Тяглый вдруг задал вопрос :

— Где Бродский читал свои переводы и на каких иностранных языках он читал ?

Мы разговаривали на разных языках. « Глухой глухого звал на суд судьи глухого »... Савельева, кажется, лучше Тяглова понимала, о чем мы хлопочем. Но положение ее было не из веселых : ей дали прямой приказ — приговорить Бродского к высшей мере административного наказания. Нет сомнения, что даже в это утро ей звонили — из обкома, из КГБ ? Не знаю. Но звонили. А, как известно, « правосудие есть освящение установившихся несправедливостей ».

Выступали один за другим свидетели обвинения. Бродского они не видели никогда, стихов его не читали, но возмущались. Например, трубоукладчик Денисов :

« Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. (В каком же смысле трубоукладчик — свидетель ? Свидетель чего ?) Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеку — нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого ? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский ?.. Я хочу подсказать мнение, что меня его деятельность, как рабочего, не удовлетворяет ».

(Все тот же порочный круг : газета — Денисов на суде — опять газета — негодование общественности — приговор суда).

Писатель Воеводин оказался не лучше трубо-

укладчика Денисова. Бродского он тоже не знал, стихов его не читал, цитировал чужие стихи, ссылался на дневник подсудимого, который получил неведомо откуда (и судья не разрешила ему ответить на вопрос Бродского, откуда у него оказался дневник), представил суду справку, якобы составленную о Бродском в комиссии по работе с молодыми писателями, а на самом деле написанную им же самим, Воеводиным, — другие члены комиссии об этой справке ничего не знали.

Адвокат : Справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия ?

Воеводин : С Эткингом, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали.

Адвокат : А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно ?

Воеводин : Нет, она известна не всем членам комиссии.

Не всем. Точнее говоря — никому, кроме Воеводина. Еще точнее — официальная справка, переданная в суд от имени официальной комиссии Союза писателей, оказалась фальшивой.

Потом выступал общественный обвинитель Сорокин — он произносил пустые напыщенные фразы и бранился. « Бродского защищают прощальцы, туняядцы, мокрицы и жучки » — возглашал он (а ведь Бродского защищали Шостакович, Ахматова, Маршак, Чуковский...), и угрожающие добавлял : « надо проверить моральный облик тех, кто его защищал... »

Во время речи прокурора произошло два эпизода, и оба с моими соседями. Справа от меня

сидел известный ученый-экономист, историк, дипломат Евгений Александрович Гнедин. Когда Сорокин стал оскорблять защитников Бродского, старик Гнедин не выдержал и крикнул: « Кто? Чуковский и Маршак?.. » Двое дружинников протиснулись к нему, силой подняли его со стула и, скрутив за спиной руки, вывели из зала. Потом Е.А. Гнедин рассказал, что его затолкали в машину, отвезли на другой конец города и выбросили вон. Но он был привычный — у него было за плечами около двадцати лет каторжных лагерей.

Слева от меня сидела и писала Фрида Вигдорова. Внезапно, уже в конце речи обвинителя, судья крикнула :

— Прекратите записывать !

К Вигдоровой направились двое дружинников, видимо, намереваясь отнять у нее блокнот. Я схватил его, заложил во внутренний карман и скрестил на груди руки. Дружинники прочли на моем лице такое бешенство и такую решимость сопротивляться, что, не имея разрешения на устройство драки в зале суда, отошли в сторону.

От защитницы, Зои Николаевны Топоровой, требовалось немалое мужество, и она проявила его. Она показала полнейшую немотивированность обвинений, фальшивый характер воеводинской справки, некомпетентность всех без исключений свидетелей обвинения (которые дают показания на основании каких-то документов, непонятным путем полученных и непроверенных, и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи), а также некомпетентность самих судей (не являющихся специалистами « в вопро-

сах литературного труда») Адвокат со всею несомненностью показал и доказал, что

— материалы обвинения неосновательны или фальшивы,

— подсудимый не тунеядец.

Речь адвоката убедила всех, — даже, кажется, наиболее непредвзятых и разумных из числа сезонников. Суд удалился. Нам же представлялось, что обвинительный приговор невозможен, — это было бы слишком скандально.

Пока судьи совещались, публика толпилась в коридорах. Фрида Вигдорова записала — и это одна из самых блестящих страниц ее репортажа :

РАЗГОВОРЫ В ЗАЛЕ :

— Писатели! Вывести бы их всех!

— Интеллигенты! Навязались на нашу шею!

— А интеллигенция что? Не работает? Она тоже работает.

— А ты — что? Не видел, как она работает? Чужим трудом пользуется!

— Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!

— А вы знаете, что такое подстрочник? Вы знаете, как поэт работает с подстрочником?

— Подумаешь — делов!

— Я Бродского знаю! Он хороший парень и хороший поэт.

— Антисоветчик он. Слышали, что обвинитель говорил?

— А что защитник говорил — слышали?

— Защитник за деньги говорил, а обвинитель бесплатно. Значит, он прав.

— Конечно, защитникам лишь бы денег побольше получить. Им всё равно что говорить, лишь бы денежки в карман.

— Ерунду вы говорите.

— Ругаетесь? Вот сейчас дружинника позову! Слышали, какие цитаты приводили?

— Он писал это давно.

— Ну и что, что давно?

— А я учитель. Если бы я не верил в воспитание, какой бы я был учитель?

— Таких учителей, как вы, нам не надо!

— Вот посылаем своих детей — а чему они их научат?

— Но ведь Бродскому не дали даже оправдаться!

— Хватит! Наслушались вашего Бродского!

— А вот вы, вы, которая записывали! Зачем вы записывали?

— Я журналистка. Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать.

— А что об этом писать? Всё ясно. Все вы заодно. Вот отнять бы у вас записи!

— Попробуйте.

— А что тогда будет?

— А вы попробуйте отнять. Тогда увидите.

— Ага, угрожаете! Эй, дружинник! Вот тут угрожают!

— Он же дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово.

— Эй, дружинник! Тут вас называют полицейскими! Выселить бы вас всех из Ленинграда — узнали бы, почем фунт лиха, тунеядцы!

— Товарищи, о чем вы говорите! Оправдают его! Слышали ведь, что сказала защитница.

Но его не оправдали. Приговор был готов заранее — не знаю, что судьи так долго делали там в совещательной комнате. Они повторили все опровергнутые доводы обвинения и постановили: на основании указа от 4 мая 1961 года — сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ВЗБЕСИВШЕЙСЯ ФОРМЕ

« Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признать, это уже совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это... »

Н.В. Гоголь. Нос.

Мы расходились, подавленные произволом грубой силы, ощущением бесправия, цинизмом судебного спектакля. Только что мы были участниками фантастического действия, в котором принималась в расчет одна только форма. Да, судебное заседание развивалось по всем правилам: на возвышении, на стульях с высокими спинками, где вырезан в дереве герб Советского Союза, восседали народный судья, законно избранный — тайным голосованием, и двое народных заседателей, законно назначенных общественными организациями. Всё шло, как полагается: допрос подсудимого, выступления свидетелей защиты и свидетелей обвинения, речь общественного обвинителя и речь адвоката, совещание судей в специальной совещательной

комнате, торжественное оглашение приговора — « Именем Российской Федеративной Социалистической Республики... », даже аплодисменты публики после приговора и увод обвиняемого конвоирами.

Всё шло по плану, но немного наспех...

Содержания как бы не существовало, во всяком случае оно не имело значения. Судья в существе дела ничего не понимала. Заседатели, призванные разобраться в специфике литературной профессии, никогда о ней слыхом не слыхали. Свидетели обвинения ни о чем не свидетельствовали, потому что не знали ни обвиняемого, ни его сочинений. Прокурор строил свою речь на поддельной справке, чужих стихах и неизвестно откуда добытых дневниках и письмах. Судьи, конечно, совещались, но и это было пустой формой, поскольку приговор был продиктован заранее и здесь, в зале суда, только оглашался. Установленную форму можно наполнить любым и, в сущности, каким угодно содержанием — никто на это внимания не обратит. Привычка к авторитету государственной формы настолько велика, что она уже сама по себе становится содержанием.

В свое время Михаил Кольцов написал фельетон о том, как некий провинциальный партийный вождь целый день кричал демонстрантам, проходившим мимо трибуны, один и тот же революционный лозунг :

— Смерть врагам капитала ! Ура !

И тысячные толпы, проходя мимо трибуны, с энтузиазмом подхватывали: Уррра! Никто и внимания не обратил на содержание лозунга: «Смерть врагам капитала». Гипноз формы неотразим: трибуна, общее «ура», знакомые слова «смерть», «враги» «капитал».

Не на этом ли законе опустошенной формы строятся многие романы, стихотворения, пьесы, кинофильмы? Всё есть — завязка и развязка, положительные и отрицательные персонажи, размер, рифмы, все — кроме смысла.

Ты знаешь, дорогая?
Каждый вечер,
Пока еще не выпала роса,
Мне солнце опускается на плечи
И в путь зовет —
За дальние леса.
Я знаю, что за дальними лесами,
За синими морями, далеко
Есть женщины с нездешними глазами,
Но мне с тобою рядом быть легко.
Что́ из того, что за морями где-то
Есть в райских куцах чудо-города,
В них много блеска и чужого света,
И я туда не рвался никогда.
Моя душа — в душе березы белой,
Ее заморским солнцем не согреть.
И память, что Россией заболела,
Не вытравить из сердца, не стереть...

Кажется, какое отношение имеет это стихотворение Владимира Фирсова, сочиненное в 1965 году, к судебному процессу, о котором я рассказал? Косвенное, но имеет. Это тоже — имитация, тоже опустошенная форма. Муляж, лишенный содержания. Есть тут все внешние атрибуты « поэзии » : роса, солнце, дальние леса, женщины с нездешними глазами, райские кущи, белая береза, душа, сердце, Россия. Есть рифмы. Есть пятистопный ямб. Есть метафоры, отзвуки фольклора, цитаты из Гумилева и Блока... Все есть, и все это манекен. Опустошенная форма.

Сколько я видел книг, состоящих из переплета, завернутого в блестящую суперобложку, и страниц, покрытых типографскими знаками! Сколько памятников, изображающих некую величаво-демократическую фигуру в шинели до пят! Сколько газет, представляющих собой большие листы бумаги с броскими заголовками и подделкой под информацию! Сколько я слышал докладов, состоящих из высокой трибуны, микрофонов, монотонного голоса и недоступных для восприятия, обесмысленных многократным повторением готовых фраз...

Мираж.

А мы попрежнему существовали в мире фантазмагорий и манекенов. Суд вынес приговор не только Бродскому, но и нам, свидетелям защиты; он принял « особое определение » относительно каждого из нас, и послал эти определения как в

Союз писателей, так и по месту работы : « (Такой-то)... проявил политическую близорукость, отсутствие бдительности, идеологическую безграмотность ». Вскоре нас вызвали на заседание Секретариата. Свиноподобный А. Прокофьев, багровея, кричал долго и несуразно. Воспроизвести его крики невозможно. Он захлебывался и хрипел; секретари молча слушали, на их лицах отражались разные чувства, от раболепства до едва скрываемой презрительной иронии. Смысл прокофьевского рыка сводился к тому, что мы, члены Союза писателей, позволили себе пойти в суд, не испросив на то разрешения у руководства; что мы выступали вразрез с решениями, принятыми секретариатом; что мы политически незрелы и близоруки; что обком партии выражает крайнее недовольство нашим поведением.

Мы пытались возражать. Профессор Адмони толковал об одаренности Бродского, о необходимости беречь таланты и подходить к ним с осторожностью и тактом. Н.И. Грудинина вновь рассказала о том, как Бродский занимался в ее семинаре молодых поэтов, и какие надежды она возлагает на него; кроме того, она со свойственной ей неукротимостью обличала Е. Воеводина, совершившего подлог — он представил суду справку о Бродском, содержащую обвинения моральные и политические, которая якобы исходила от Комиссии по работе с молодыми авторами, но справки этой не видел никто из членов комиссии, кроме ее автора, Е. Воеводина; приговор же опирается именно на этот фальшивый документ — для суда он оказался мнением Союза Писателей о Бродском.

Выступая перед секретариатом, я придерживался доводов юридических :

— Да, мы участвовали в судебном заседании, не получив на то разрешения секретариата. Но ведь мы были приглашены судом в качестве свидетелей. Нас можно было бы упрекать и даже привлечь к ответственности за лжесвидетельство; этого нам никто не говорит. Мы показывали то, чему и в самом деле были свидетелями. Мы суду не лгали. Лгал Воеводин, между тем его никто даже и не думал корить за ложь. С каких пор свидетель должен, прежде чем дать показания, испрашивать соизволения начальства? Свидетель показывает под присягой — как известно, он обязуется говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды. Мы присяги не нарушили. Может быть, наша правда кому-нибудь негодна. Но она — правда, и с этим ничего не поделаешь.

Стали говорить секретари. Помню выступление Петра Капицы, сервильного прозаика, который видимо, повторял циничные аргументы, слышанные в обкоме :

— Вот вы наивно опровергали обвинение Бродского в тунеядстве; но разве в этом нерв его дела? Он — антисоветчик, в дневниках поносит Маркса и Ленина, и дело о попытке похитить в Самарканде самолет — не анекдот и не шутка. Вы сочувствуете Бродскому. А разве было бы для него лучше, если бы его судили не на паразитизм, а за антисоветские действия и высказывания? Если бы его процесс носил характер открыто политический? По существующей политической статье он оказался бы не на свободе в северной деревне, а в лагере строгого режима, и за такую

помощь не сказал бы он вам спасибо! Его пожалели, ему повезло — органы согласились проявить снисхождение — позволили судить его общественным судом и ограничиться административной мерой наказания. Административной, не уголовной. Нужели вы не понимаете разницы? И вот вы являетесь в суд, вы, трое писателей, и сбиваете все построения. Вы начинаете доказывать, что Бродского за тунеядство судить нельзя. Это как бы значит, что вы требуете судить его за антисоветчину. И засадить в лагерь. Хорошо хоть Воеводин выручил!..

Вот тут-то и начался шум. Мы твердили наперебой, что народный суд — не место для махинаций; что если о преступнике известно, что он убил, то нельзя, проявляя снисхождение, судить его за карманное воровство; что довод о снисхождении фальшивый — «органы» КГБ к такому гуманизму не склонны, и, если они не стали судить Бродского за антисоветизм, то, значит, у них не было и нет материала; что одно только и выдвинул обвинитель — какие-то никем не проверенные фразы, вырванные из давнего, почти детского дневника, да из каких-то писем, неизвестно каким путем попавших в руки следствия; что частные письма вообще не материал для уголовного преследования; что мы выступали на том процессе, который реально имел место, а не на том, который существовал в воображении каких-то режиссеров.

Потом произнес короткую речь Д. Гранин. Он осудил фальшивку Воеводина, который подвел прежде всего его, Гранина, председателя комиссии, от имени которой была составлена поддель-

ная справка. Нас, свидетелей защиты, он поддержал, и с нашими доводами согласился.

Но хозяином был Прокофьев. На основании частного определения суда нам всем троим было вынесено порицание — « за политическую близорукость, притупление бдительности... » и т. д., а в сущности за выступления в суде со свидетельскими показаниями, которые соответствовали правде, а не желаниям обкома и, значит, Прокофьева.

Дня через два собралась комиссия по работе с молодыми. Выступил Воеводин, ее секретарь, выступил и я с рассказом о суде и подложной справке; Гранин в качестве председателя завершил дискуссию, потребовав немедленного исключения Воеводина из комиссии — он обманул общественное доверие, злоупотребил своим положением, ввел в заблуждение суд. Е. Воеводин был единодушно из комиссии изгнан. В тот день ленинградский Союз писателей раскололся на две половины : во главе одной, ретроградской, оказался Александр Прокофьев, во главе другой — Даниил Гранин.

Прокофьев был далеко не одинок. Московское начальство было недовольно уродливым и глупым « делом Бродского », однако считало долгом, поддерживая своих провалившихся чиновников, делать хорошую мину при плохой игре. В декабре 1964 года в Нью-Йорке А.Б. Чаковскому, редактору « Литературной Газеты » и секретарю Союза писателей СССР, журналисты задали ядовитый вопрос :

— Думаете ли вы, что то, что случилось с Бродским, органически связано с советской систе-

мой? Повредит ли это делу свободы слова в России?

Лукавый Чаковский ответил:

— Бродский — это то, что у нас называется подонок, просто обыкновенный подонок. Его судили открытым судом, с соблюдением всей законной процедуры; он сам защищался; судьи выслушали соответствующие показания литературных экспертов и представителей ленинградской общестственности, и пришли к решению — выселить Бродского из города и предоставить ему возможность заниматься честным трудом. Мне кажется попросту смешным, что вы можете испытывать лицемерное негодование по поводу так называемого «дела Бродского» в то время, как здесь кидают бомбы в церквах, убивают девушек, и убийцы разгуливают на свободе.

Это историческое интервью А.Б. Чаковского опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс» от 20 декабря 1964 года. В Ленинграде он такого не говорил — остерегся бы, пожалуй. Но в далеком Нью-Йорке лгать не зазорно.

На ближайшем общем перевыборном собрании ленинградские писатели тайным голосованием свалили Прокофьева, избрали на его место Гранина, а нас всех троих — Груднину, Адмони и Эткинду — избрали членами правления. Первое же заседание нового секретариата рассматривало в нашем присутствии наш казус; было единогласно постановлено снять с нас несправедливое порицание и Д. Гранин, новый руководитель Союза, торжественно принес нам извинения секретариата.

Всё рассказанное происходило еще в то время, как Бродский был в своей северной деревне, где « Бог живет не по углам ». Разумеется, это увеличивало ценность нашей победы. Мы не ожидали торжества столь полного и безоговорочного. Противник внезапно испарился: даже П. Капица, казалось, всегда знал, что правы были мы; даже Н. Браун, в своей суровой и подчеркнуто-честной манере поддерживавший на том секретариате Прокофьева, теперь не сомневался в нашей правоте и вроде бы совсем забыл, как прежде настаивал на общественном порицании.

Прошло несколько месяцев, Иосиф Бродский был возвращен в Ленинград и реабилитирован, а суд прислал в Союз писателей беспрецедентную бумагу, в которой признавал, что частные определения, вынесенные по нашему поводу, были ошибочны.

То был 1964 год. Ровно десять лет спустя, в 1974 году, в справке КГБ обо мне и моей « анти-советской деятельности » дело Бродского всплыло снова в первоначальном своем виде — словно ничего не произошло, словно и приговор, и частное определение, и общественное порицание сохранили свою силу и не были отменены. И секретариат 1974 года ни о чем не вспомнил, ничего не опроверг, ничего даже не спросил.

Таково наше правосудие.

Глава четвертая

ДЕЛО О ФРАЗЕ

«... Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в театральный отдел бежал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной литературе» несомненно переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве».

Е. Замятин. Я боюсь (1920)

В 1968 году в издательстве «Советский писатель», в знаменитой серии «Библиотека поэта», когда-то основанной Горьким, готовилась двухтомная антология «Мастера русского стихотворного перевода»; я составил ее, снабдил большой вступительной статьей «Стихотворный перевод в истории русской литературы», и обстоятельным комментарием. Книга была трудная: от составителя она потребовала архивных и библиотечных разысканий, от издательских сотрудников большой тщательности. Рукопись внимательно, и не один раз, прочитала Ксения Бухмейер, редактор, радовавший вдумчивой добросовестностью; она

сверяла стихи с их первыми публикациями — в журналах, альманахах, сборниках XVIII и XIX веков, обращала внимание на небрежности или противоречия в статье и примечаниях, заставляла уточнить или изменить неловкие выражения и темные формулировки. Корректоры несколько раз прочитали вёрстку, потом сверку. Главный редактор издательства М.М. Смирнов, добросовестный и образованный человек, прочитал, как это полагалось ему по долгу службы, всю книгу от первой до последней страницы. Прочитал ее цензор, или, официально, работник Главлита, и, не обнаружив недозволенного («государственных тайн»), поставил на титульном листе свою магическую печать. Наконец, визировал книгу «на выход в свет» председатель редакционной коллегии серии «Библиотека поэта» В.Н. Орлов, до того подписавший не менее двухсот сходных томов. Все это, как обычно в советской издательской практике, тянулось долго, много месяцев. Но вот эти месяцы были позади, на столе лежал сигнальный экземпляр книги, который автор читает уже только для того, чтобы дать — в случае необходимости — список опечаток. Тираж был готов, 25 тысяч экземпляров ожидали на складе разрешения — пойти в продажу, как вдруг...

Зайдя в редакцию, я застал ее сотрудников в смущении. Накануне вечером был какой-то звонок из Москвы, «сверху» приказано книгу немедленно задержать, прекратить всякую работу над ней. Собственно говоря, работа уже никакая не велась, производство было закончено. В редакции не знали, что заставило москвичей остановить книгу, казавшуюся такой спокойной, академиче-

ской, далекой от политических страстей. Неприятностей ждали от других томов той же «Библиотеки поэта», готовившихся к изданию: стихи О. Мандельштама, Владимира Соловьева, Федора Сологуба, Вячеслава Иванова — вот что в самом деле сулило большие сложности. Но сборник переводных стихотворений? Да и сколько глаз его прочитали, под сколькими микроскопами лежало предисловие, сколько было написано внутренних — издательских — рецензий! Но в воздухе пахло грозой, политическим скандалом.

Вскоре директор ленинградского отделения «Советского писателя» Г. Ф. Кондрашев, вернувшись из Москвы, собрал своих подчиненных. Кто-то «наверху» (в ЦК? в КГБ? в Ленинградском обкоме?) заметил в самом конце предисловия одну фразу; речь идет о том, что в советское время поэтический перевод достиг небывалого прежде уровня, а дальше автор пишет: «Общественные причины этого процесса понятны. В известный период, в особенности между XVII и XX съездами, русские поэты, лишённые возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гете, Орбеллиани, Шекспира и Гюго». Вот эта фраза содержала идеологическую диверсию.

Машина завертелась со все растущей скоростью. Сотрудники редакции одного за другим вызывали в кабинет директора на допрос: как они могли пропустить клеветническое, политически вредное, антисоветское утверждение? Из Москвы приехал директор всего «Советского писателя» (в Ленинграде только филиал) Н.В. Ле-

сочевский, бушевал, грозил выгнать, требовал автора.

Встреча с московским директором состоялась в кабинете ленинградского, Кондрашова, на третьем этаже «Дома книги» — это бывший дом Зингера, фабриканта швейных машин, который в двадцатых годах воспел Заболоцкий (о нем здесь вспомнить необходимо — из дальнейшего станет ясно, почему) :

*Там Невский, в блеске и тоске,
В ночи перебивший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И, как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.*

Кроме Лесючевского и Кондрашова, в кабинете сидел Орлов. Его читатель уже знает, но с директорами надо его познакомить.

Николай Васильевич Лесючевский — личность, для своего времени характерная. Много лет стоит он во главе крупнейшего советского издательства, главного по изданию современных писателей. Его заслуги перед родной литературой велики: Лесючевский — автор доносов, на основании которых с 1937 по 1953 год были арестованы и уничтожены писатели. Документально подтверждено его участие в арестах Бориса Корнилова, расстрелянного в 1938 году, и Николая Заболоцкого, умершего своей смертью после реабилитации, но просидевшего в лагерях восемь лет. Крупнейший историк русской литературы, пушкинист Юлиан Григорьевич

Оксман однажды во время торжественного заседания памяти Пушкина, на сцене Большого театра, отказался подать Лесючевскому руку. Там были разные представители — от Союза писателей, от Литературного музея; увидев Лесючевского, Ю.Г. Оксман громко спросил: «А вы здесь от кого? От убийц поэтов?» Когда после 1956 года тайное стало явным и доносы обнаружались, некоторые писатели потребовали привлечь Лесючевского к ответу. Он написал заявление в партийный комитет Союза писателей (я читал этот фантастический документ), в котором объяснял, что всегда был преданным сыном своей партии, свято верил в ее непогрешимость и в правильность ее генеральной линии, и, составляя по заданию партии разоблачительный комментарий к стихам Корнилова, был убежден в преступности поэта, который, изображая диких зверей, конечно же зашифровывал в зоологических образах советское общество. В 1937-1938 годах он, Лесючевский, был горячим, бескомпромиссным комсомольцем, и вина его разве только в том, что слишком безоглядно был он предан высоким идеалам коммунизма. По поводу доноса о Заболоцком он, кажется, не оправдывался, но ведь автора «Столбцов» или «Ладейникова» так легко было обвинить в контрреволюции! Достаточно было процитировать строки:

*Ладейников прислушался: над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшись адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву. Жука клевала птица.*

*Хорек пил мозг из птичьей головы.
И страшно перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековая давилня
Объединяла смерть и бытиё
В единый клуб, и мысль была бессильна
Соединить два таинства ее...*

а, процитировав, сказать, что слово «природа» следует понимать в смысле «советское общество». Это оно — «ад», это оно — «вековая давилня». Не расстреляли Заболоцкого случайно, слишком уж глупое было сфабриковано обвинение: будто он в каком-то ленинградском дворе закопал танк, а во главе его террористической организации стояли два писателя из группы «Серрапионовых братьев»: Тихонов и Федин. Заболоцкому в тюремной уборной попался обрывок газеты с именем К. Фебина, уже тогда видного советского деятеля (а до того думал Заболоцкий, что и Федин и Тихонов расстреляны). Но спас Заболоцкого клочок газеты, позволивший ему оправдаться; Лесючевский же сделал все от него зависившее, чтобы его погубить. Вот он теперь и сидел передо мной — «от убийц поэтов». Сидел в кабинете своего ленинградского ставленника, Кондрашова.

Георгий Филимонович Кондрашов, в отличие от Лесючевского, к литературе касательства не имел. Впрочем, в жанре доноса он может быть и добился успехов. В издательство попал из городского комитета партии, где занимал пост не шуточный, секретаря; в чем-то он проштрафился; его выгнали, но не растоптали — номенклатура!

Тогда-то опального Кондрашова направили руководить издательством, понимая, что, чем больше он виноват перед начальством, тем благодарнее будет за новую, пусть и не генеральскую, должность, да к тому же тем будет бдительнее, послушнее и злее. Что же до его творчества в доносительной области, то я располагаю только одним, — впрочем весьма выразительным, — документом: доносом Кондрашова в обком на собственных подчиненных. Почувяв, что ему из-за моей «фразы» грозит опасность и что его могут опять выгнать (а теперь уже до пенсии так близко!), он настроил следующее письмо:

*Заведующему Отделом Культуры Ленинградского
Обкома КПСС
тов. Александрову Г.П.*

Клеветническое утверждение Е. Эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье к книге «Мастера русского стихотворного перевода» не может не вызвать у меня возмущения.

Никакими доводами не могу оправдать поступок главного редактора отделения издательства тов. Смирнова, подписавшего в декабре 1967 года рукопись Эткинда в набор, не прочитав ее.

Хотя с января 1968 года редакция «Библиотеки Поэта» не подведомственна мне в смысле прохождения и редактирования рукописей, но права оправдывать себя юридическим невмешательством я, как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею. Есть сторона политико-моральная, обязывающая каждого члена

партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии.

Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно пропустившим антисоветский выпад Эткинда, — это естественно, но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы в издательстве повысить воспитательную работу в соответствии с решениями апрельского Пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды, чуждые социалистической идеологии нашего общества.

Директор Ленинградского
отделения издательства
« Советский писатель »

Г.Ф. Кондрашов
11.10.68

Никакой, даже очень одаренный писатель, желая создать образ советского чиновника, лизоблюда и демагога, не сочинил бы такой текст. Тут всё есть : и плевков в сторону автора (« Клеветническое утверждение... »), и осторожное неупоминание состава его клеветы (а вдруг Кондрашова потом обвинят, что он ее повторил ? Поэтому он пишет туманно : « ...о характере развития нашей литературы в советский период »), и предательство собственного сотрудника, своего же главного редактора (« ... не могу оправдать поступок... »), и намек на то, что сам он в этом деле « юридически » не при чем (« ...редакция "Библиотеки поэта" не подведомственна мне в смысле прохождения... »), и благородное самобичевание (« ...но

я, ...как коммунист, не имею права оправдывать себя...»), и присяга на библии («...любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии») и, наконец, обещание расправиться со своими подчиненными («строгие административные меры... к людям, непосредственно пропустившим антисоветский выпад Эткинда...»). Тут самое интересное слово — «непосредственно». Вот с кем надо расправляться, с непосредственными виновниками — не со мной. Я от этого всего далек, я не причем, мне «Библиотека поэта» «не подведомственна в смысле...», но я коммунист, и я сам, да, я сам хочу сознавать свою ответственность...

Во все европейские языки из нынешнего русского проникло не только слово «спутник», но и другое — «аппаратчик». На Западе это слово часто произносят, не понимая его до конца. Вот он, аппаратчик; имя ему — Кондрашов. Это фигура комическая, но и страшная. Угрозу свою он выполнил — уволил «непосредственных виновников». Уволил четырех лучших своих сотрудников: редактора Ксению Бухмейер, заведующую редакцией «Библиотеки поэта» Ирину Исакович, главного редактора Михаила Смирнова и, немного позднее, был снят с работы Владимир Орлов, председатель редколлегии «Библиотеки поэта». За что? Кондрашов это сформулировал в приведенном документе: всё это люди, «непосредственно допустившие антисоветский выпад Эткинда».

Таковы были мои собеседники. За хозяйским столом сидел длинный как жердь, с длинной шеей и длинной, унылой, благообразно-седеющей головой Кондрашов. Лесючевский бегал из угла в угол, его огромный жирный затылок и лысина

наливались кровью, топорщились бурые волосы, росшие из ушей и носа, он давился криком: — « Вы клеветеете на советский строй... Вбиваете клин между партией и писателями... Когда это было, чтобы поэты не могли говорить? Чтоб они из-за этого переводили? Фраза лживая, невежественная... Ложь, клевета... »

Я молчал. В памяти вертелись строки совсем молодого поэта, которые меня подмывало произнести вслух, но я удерживался:

*Из Гёте, как из гетто, говорят
Обугленные губы Пастернака.*

Эти строчки мне запали навсегда, они и теперь кажутся мне гениальными, в них сжато все, что я мог бы изложить в долгих рассуждениях, все, что я вполголоса пробормотал в моей вялой « фразе ». Я молчал, потом тихо спросил:

— Так что же, культа личности никакого не было?

Боже! какой я вызвал поток негодования, какой взрыв ярости! Я не разбирал уже, что рычал Лесючевский, отбежав на своих коротких ножках к окну. Запомнил я только одно:

— Вы, — кричал он, — вы спекулируете на трагедии народа!

Я смотрел на него с удивлением, мне казалось, что он — в истерике. Орлов произносил незначащие примирительные слова, Кондрашов время от времени вставлял что-то про чистоту нашей идеологии. Потерпев еще немного, я подлил в огонь такого масла, что мой собеседник, казалось, вот-вот умрет от апоплексии: я назвал Заболоцкого.

— Вы всё отрицаете, — сказал я, — но вот поглядите : в течение 1948-1956 годов, за целое десятилетие, такой замечательный поэт, как Заболоцкий, напечатал хорошо если пять-шесть стихотворений. А ведь написаны в эти годы лучшие его вещи : « Гурзуф », « Облетают последние листья », « Прощание с друзьями », « Сон », « Поэт », « Неудачник », « О красоте человеческих лиц »... В эти годы опубликованы не только его бесчисленные грузинские переводы, — Важа Пшавела и Орбелиани, но и немцы, и венгры, и таджики, и узбеки... Он всех переводил. Из лагеря Заболоцкий вернулся в 1946, а печатать его как поэта начали после 1956 года. Это ведь что-нибудь да значит ? А Пастернак ? Ахматова ?

Лесючевский не отвечал, он, кажется, даже не слушал. Возражать пытался Орлов (« Заболоцкий и Пастернак переводили, сознавая себя участниками многонациональной советской культуры... »), Лесючевский же продолжал свой бешеный монолог. Имя Заболоцкого подействовало на него, как мулета на быка. В конце разговора он приутих и на прощание дал мне понять, что на издание потрачено много денег, что выпускать его, к сожалению, придется, что редакция получила распоряжение выкинуть всех Гумилевых и Ходасевичей и что я должен переработать предисловие « в свете партийный указаний ».

Никогда феодал Лесючевский не простил мне этого разговора. Неодолимые препятствия, воздвигавшиеся на пути моих книг в издательстве « Советский писатель », были последствиями моей дерзости. Я посмел напомнить всеильному директору о его жертвах.

ГОРЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

*И бросив серебрянники в траме,
он вышел, пошел и удавился.*

Матф. 27, 5.

Дорогой западный коллега, у тебя так много источников информации, что ты мог бы все знать и все понимать. Однако этих источников слишком много: уследить за ними ты не в силах и потому теряешь к ним интерес. А ведь мог бы ты не удивляться тому, что Николай Лесючевский остался на высоком посту чиновничьей иерархии вопреки гнусной роли, которую он играл долгие годы. Он не один такой. До недавних пор в Институте мировой литературы имени Горького работал Яков Ефимович Эльсберг (прежде печатавшийся под фамилией — Шеперштейн-Лерц), солидный ученый, автор многих трудов по теории сатиры и по истории русской литературы, например, о Герцене. Этот импозантный профессор — подлец патологический; числа его жертв я не знаю, но их много. Вот один из эпизодов его жизни. В 1949 году был арестован индолог и автор исторических романов Евгений Львович Штейнберг; он на первом же свидании — через двойную решетку — прокричал жене: «Яков». Вечерами Эльсберг приходил играть в карты и, будучи холостяком, долгие часы проводил в радушном соседском доме. Конечно, он не знал, что жене его жертвы известно о его доносе; после ареста Штейнберга он продолжал прибегать и, беспокоясь,

спрашивать о приятеле... В конце концов Татьяна Акимовна Штейнберг все же выставила его за дверь. Таких жертв у этого герценоведа было много. В свое время его, как и Лесючевского, хотели выгнать хотя бы из Союза писателей, и он, подобно Лесючевскому, написал большое письмо, в котором, ничего не отрицая, настойчиво доказывал, что *ошибался вместе с партией*. Его простили и оставили — не только членом Союза писателей, но и заведующим сектором теории в Институте мировой литературы. Биография Эльсберга сложная: в былое время он был личным секретарем Льва Каменева, и уцелел. Конечно, уцелел не просто так, не случайно, цену он, видно, заплатил за себя немалую — в эту цену вошла и жизнь его ближайшего друга Евгения Штейнберга.

А еще вчера в Институт мировой литературы имени Горького приезжали гости со всех концов мира, и Эльсберг радушно их встречал, и пожимал им руки, и они — они пожимали эту окровавленную руку, строчившую доносы. Мы сторонимся убийц. Но в советских условиях донос был вполне равен убийству: на основании доноса человека расстреливали или, в лучшем случае, сажали на много лет за проволоку.

Германия много лет очищает себя от скверны. Соединенные Штаты Америки в последнее время поняли необходимость очищения. Увы, советские люди знают и говорят:

— Убийцы среди нас.

На другой день после рассказанной выше встречи в кондрашовском кабинете позвонила жена моего товарища Н. и, искажая голос, сказала, что Н. через час будет ждать на мостике перед Петропавловской крепостью. Когда мы встретились, Н. вывел меня на самую середину пустой площади и, убедившись, что соглядатаев нет, сообщил: через два дня состоится заседание бюро обкома, которое будет обсуждать мою диверсию; Толстиков (секретарь обкома) в ярости и будет требовать снятия с меня ученой степени доктора наук; я должен к этому подготовиться и принять меры. В самом деле, на другое утро вызвали в обком. Два крупных чиновника — Александров (адресат приведенного выше письма Кондрашова), и его помощник Введенский — в течение двух часов довольно вежливо объясняли мне ошибочность моих взглядов и необходимость «самокритики»; это, утверждали они, единственная возможность спасти многих людей, которым грозят жестокие кары. Мне инкриминировалась, конечно, «фраза», но и заодно немало других преступлений: почему, например, во вступительной статье так безмерно возвышен Пастернак? Всем известно, что Пастернак поэт антиреволюционный, что он умер, не раскаявшись в совершенном им предательстве — издании романа «Доктор Живаго» на буржуазном Западе, что и переводчик он плохой, навязывавший всем иностранным авторам свою косноязычность... Да и Маршака нет надобности так хвалить: он хороший поэт для маленьких детей, но о нем, как переводчике, не все отзываются с восторгом. Оба несколько раз повторили одно и то же утверждение: я превозношу

одну группу переводчиков за счет другой, и напрасно забываю о заслугах таких поэтов, как Луговской, Сурков, Прокофьев.

Я пытался возражать: Пастернак перевел все главные трагедии Шекспира, гетевского «Фауста» и лирические стихи Верлена; сонеты Шекспира и песни Бернса в переводах Маршака стали фактом русской литературы; Пастернак и Маршак ничего общего между собой не имеют, если не считать окончания их фамилий на -ак, и никакой «группы» они не составляют. Я искренно не понимал, в чем дело, и не понимал до тех пор, пока мои собеседники, листая второй том антологии, не стали с равным ожесточением произносить еще имена Осипа Мандельштама, Ильи Эренбурга, Давида Бродского. Только тут я сообразил, что к обвинению в антисоветской диверсии добавлено другое: в еврейском национализме — все поэты, которых они называли, евреи. «Одна группа» — это, значит, еврейская группа, и превозношу я «моих» евреев за счет русских поэтов. Но слово не было сказано, сопротивляться оказалось трудно, как это бывает всегда, когда противник темнит и прячет свои карты. Я только мог окольно растолковывать, что пишу о разных группах, или, точнее, тенденциях: Валерий Брюсов и Михаил Лозинский (русские) представляют одну из них, и до известной степени к ней примыкает Георгий Шенгели (еврей); Александр Блок (русский) — это другое направление, и Борис Пастернак (еврей) связан именно с ним... Разумеется, этих примечаний в скобках я вслух не произносил, и даже сейчас, воспроизводя мой собственный ход мысли, я стыжусь себя: почему же я, даже не

говоря этого вслух, позволил себе согласиться с тем, что Манделъштам, Пастернак, Маршак, Эренбург — всего лишь евреи? Они еще деятели русской культуры, они русские писатели, как и я, будто бы сколачивающий из них особую «группу» еврейских переводчиков. Все мы — евреи по крови, евреи для расистов, для антисемитов, для дикарей.

Илья Эренбург в автобиографии утверждал: «По-еврейски я не умею говорить, но о том, что я — еврей, мне неоднократно напоминали люди, которые, видимо, верят в особые свойства крови. Я не расист, но куда на свете водятся расисты, на вопрос о национальности я отвечаю: Еврей...» Слова эти Эренбург написал в 1959 году — через десять лет после антисемитской компании по борьбе с космополитами, через шесть лет после отмены дела врачей, «убийц в белых халатах», через три года после XX съезда. Он знал, что еще «на свете водятся расисты», и не только на свете, но в его родной стране; ведь вскоре после эренбургской «Автобиографии» было опубликовано стихотворение Е. Евтушенко «Бабий яр» и в ответ на него другое, Алексея Маркова, обвинявшее Евтушенко в забвении своего, русского народа, и в безродном космополитизме. Еще бы: Евтушенко посмел напомнить о трагедии евреев, расстрелянных в киевском Бабьем яре, и отождествить себя с жертвами массовых убийств («Я — каждый здесь расстрелянный старик. Я — каждый здесь рас-

стрелянный ребенок ».) Этого Алексей Марков ему простить не мог :

*Какой ты настоящий русский,
Когда забыл про свой народ,
Душа, что брючки, стала узкой,
Пустой, как лестничный пролет! —*

так начинается его стихотворение « На "Бабий яр" », а конец его такой :

*Пока топтать погосты будет
Хотя б один космополит, —
Я говорю : « Я — русский, люди! »
И пепел в сердце мне стучит.*

В « Ответе Маркову » (оставшемся неопубликованным в СССР) Евтушенко справедливо заклеил своего противника :

*Да, Евтушенко бил антисемита,
А ранил в сердце члена ССП, —*

то-есть, « члена Союза Советских писателей ».

Когда ответственные сотрудники ленинградского обкома партии давали мне понять, что есть особая « еврейская » группа поэтов-переводчиков, чуждая России и русскому языку, они рассуждали вполне в духе времени, и Алексей Марков энергично выражал их мнение в своих расистских виршах. Недаром его стихотворение напечатано, а многочисленные ответы на него остались в Самиздате, чтобы позднее перейти в Тамиздат. В 1968 году, когда разгорелось мое « дело о фразе », еврейский вопрос встал особенно остро : офи-

циальная советская печать прямо писала о том, что зачинщики « пражской ереси » — сионисты : Гольдштюкер, Кригель... Теперь известно, что член Политбюро П. Шелест во время встречи в Черни-над-Тиссой кричал на старого коммуниста доктора Кригеля : « Галицийский жид ! » И что другие советские участники « беседы » его поддерживали.

Я стыжусь себя — я ничего не сказал обкомовцам, хотя понял, что они имели в виду под « одной группой », якобы перевозносимой мною « за счет другой »; ничего не сказал — и как бы пошел на компромисс с ними.

Да, мне стыдно вспоминать о таких даже внутренних уступках, а уж тем более о внешних, потому что в конце этой беседы в Смольном, которую здесь передаю, я согласился написать « самокритическое » заявление, адресованное бюро обкома. Вот его текст :

Уважаемые товарищи !

Зная, что 22 октября на бюро обкома состоится обсуждение вопроса, связанного с составленной мною книгой « Мастера русского стихотворного перевода » (Библиотека поэта), считаю своим долгом заявить следующее.

Во вступительной статье к этой книге, в заключительном абзаце статьи, мною допущена неверная характеристика развития советской поэзии. Я отдаю себе отчет в том, что фраза о поэтах, которые не могли « высказать себя до конца в оригинальном творчестве » и потому стали профессиональными переводчиками, объективно звучит как политически ошибочная. Она форму-

лирована так неточно и с такой степенью обобщенности, что могла создать ложную картину развития советской литературы и дезинформировать читателя — если бы книга в таком виде вышла в свет.

Я не имел в виду делать далеко идущие политические выводы. Однако я сознаю, что, каковы бы ни были мои первоначальные намерения, мною допущена серьезная ошибка, за которую я должен нести ответственность.

19 октября 1968.

Если я здесь, в этой книге, решаюсь привести свое постыдно-компромиссное заявление, то делаю это по двум причинам: во-первых, чтобы быть честным и не идеализировать степени моей устойчивости; во вторых, чтобы читатель осознал, до каких глубин позора, до какой рабской зависимости доведен у нас всякий человек. И в особенности литератор.

Пора автору поставить перед самим собой тот неперемный вопрос, который на языке у читателя: в самом деле, почему он написал эту злополучную фразу — по наивности, по недомыслию, по случайности? Или — с сознательной политической целью, понимая, что она противоречит официальной идеологии и потому может в любой момент взорваться, причиняя немалые разрушения?

Могу ответить: я просто написал самую обыкновенную правду. Конечно, я понимал ее политическую взрывчатость — если рассуждение продолжить и додумать до конца. Но я пользовался обычным в советских условиях тактическим при-

емом : простодушным недоговариванием — авось проскочит незамеченно. Если проскочит, то внимательным читателям поможет кое в чем разобраться. Ну, а не пройдет — так вычеркнут без лишнего шума. И ведь был я не так уж неправ в тактическом расчете : « фраза » миновала все препоны, все ее пропустили, даже цензор. Почему пропустили ? Почему красный карандаш цензора ее не истребил ? Потому что совсем недавно еще она была не только возможна, но и безобидна : чего только не печатали во времена хрущевской оттепели ! Я и полагался на эту инерцию либерализма, который официально не был опровергнут. Оказалось, что именно на моем примере внезапно решили разделаться даже с жалкими остатками недавнего либерализма. Крутые расправы, начавшиеся в 1968 году — в пору « Пражской весны » и после подавления ее — у многих, кто оказался их жертвами, вызывали прежде всего недоумение : за что бьют ? Ведь только что говорились вещи и более прямые, и более радикальные, и не где-нибудь в полумраке, а с трибуны съездов партии... И не кто-нибудь говорил, а те же, кто сегодня правит нами. Что случилось ?.. А случилось то, чего не в состоянии понять не только иностранцы, но даже сами советские люди, ищущие логики и последовательности. Случилось следующее : те же руководители с тех же трибун и в тех же самых своих газетах произносят те же самые слова, которые, однако, имеют обратный смысл. Ты не заметил момента, когда произошел этот странный поворот ? Когда те же слова в тех же устах и тех же газетах приобрели противоположное значение ? Вот и получай по

голове. Большинство советских людей только для того и читают прессу, чтобы такого момента не пропустить. И чтобы не стать жертвой собственной нерасторопности. Если же такое стряслось, то остается: покаяние.

Есть, однако, еще одно обстоятельство, которое мало кто может понять на Западе, но в моей стране понимают все, и которое оправдывает письма подобного рода. Сошлюсь (отдавая себе отчет во всех различиях между авторами) на трагическое заявление Б.Л. Пастернака с отказом от Нобелевской премии и с отказом уехать за границу; на письма Б. Окуджавы, В. Шаламова, братьев Стругацких, А. Твардовского... Они обычно порождены необходимостью сохранить право на активность внутри своей страны. Это горько — плюнуть в лицо самому себе, но каждый из названных мною шел на это последнее унижение, надеясь писать и публиковать дома, надеясь не потерять своего читателя, свой язык, свою культуру. Подобные письма появляются все реже, но они непременно будут и впредь появляться в печати, не говоря уж о тех, которые не опубликованы и остались в сейфах Союза писателей, Академии Наук, университетов. Жизнь честного советского литератора — это не только писание книг, но и каждодневная борьба за то, чтобы сохранить возможность их печатать. Есть у власти разные способы порвать связи между автором и его читателем: можно политически дискредитировать автора и запретить его имя в печати; можно отвергнуть каждую отдельную рукопись — одну за другой — под любыми предлогами, иногда серьезными, чаще смехотворными; можно

для виду издавать книги ничтожным тиражом, а потом препятствовать их распространению или просто уничтожать весь тираж; можно задушить автора нуждой, так, чтобы у него не оставалось ни сил, ни времени на писание; можно, наконец, вообще избавиться от автора, то ли объявив его сумасшедшим, то ли отправив его за тридевять земель, откуда слова его никто не услышит. Покаянные заявления, о которых я веду речь — слабые попытки писателей оградить себя от всемогущего государства-монополиста, использовать ненадежные, постоянно нарушаемые правила игры, чтобы отстоять свои и своих читателей интересы.

Мое заявление в бюро ленинградского обкома, к счастью, опубликовано не было, однако и пользы оно не принесло. 22 октября заседание бюро состоялось, вел его сам Толстиков, который, по рассказам очевидцев, был свиреп. С характеристикой антологии и вступительной статьи там выступал Петр Сазонтович Выходцев, профессор Ленинградского Университета, он не пожалел политических нападок и бранных слов; члены обкома единодушно клеймили злополучного автора и редакцию «Библиотеки поэта», расширяя круг обвинений и осуждаемых книг — теперь поношению подверглись однотомники Андрея Белого, Владимира Луговского и (еще не вышедший) Ильи Сельвинского. Толстиков потребовал крутых административных мер в отношении редакции, а, называя автора «фразы», буквально топал ногами от ярости и заявил, что его необходимо лишить ученых степеней.

Постановление бюро обкома было наредкость грубым :

« ... во вступительной статье ленинградского литературоведа доктора филологических наук Эткинда, наряду с тенденциозными оценками творчества отдельных поэтов-переводчиков, содержится политически вредная концепция, утверждающая, что якобы общественные условия в нашей стране, особенно в годы между XVII и XX съездами, не давали возможности русским поэтам высказать себя в оригинальном творчестве. Такие утверждения автора статьи представляют собой не что иное, как фальсификацию литературного процесса в нашей стране, желание протащить ложное мнение об отсутствии свободы художественного творчества в СССР, исказить объективную картину развития социалистической культуры, бросить тень на советскую действительность ».

Видно, не в бровь, а в глаз попала им эта моя несчастная фразочка, если могла вызвать такой шторм, если в нескольких (и вполне ординарных) словах можно было найти повод для стольких обвинений : « фальсификация литературного процесса », « ложное мнение об отсутствии свободы », желание « исказить... развитие социалистической культуры », « бросить тень... » Да за такие преступления автора впору на костре сжечь ! А его даже из Союза писателей — пока — не исключили. В Союзе писателей все прошло градусом пониже, чем в партийных организациях : там (в Москве) видимо сами удивились этой буре в стакане воды.

Некоторое время спустя вопрос о «Библиотеке поэта» (в целом — для приличия) обсуждался на заседании секретариата Союза писателей СССР; Орлов оттуда едва унес ноги, сохранив (впрочем, на краткое время) свой пост. Секретариат был скандальным, это чувствуется даже за чинно-официальными строками Постановления :

«... В последнее время редколлегия и редакционный аппарат ослабили требовательность к идейно-политической направленности и эстетической ценности изданий. В результате в некоторых вступительных статьях проявились определенные тенденции одностороннего, поверхностного истолкования явлений, сглаживания идейно-эстетических противоречий, анализ творчества подчас ведется в отрыве от социальной позиции поэта (статьи Т. Хмельницкой, Л. Аннинского, В. Огнева).

Ослабление чувства ответственности, утрата коллегиальности в работе привели к серьезным ошибкам при подготовке сборника «Мастера русского стихотворного перевода». Состав его не был хорошо продуман. Вступительная статья литературоведа Эткинда содержала ряд ложных субъективистских ненаучных суждений, а в одном из ее тезисов была грубая политическая ошибка.

Как показало изучение дела, проведенное правлением издательства «Советский писатель», а затем и рассмотрение этого вопроса в Ленинградском обкоме КПСС, сборник «Мастера русского стихотворного перевода» не был дан на чтение ни одному из членов редколлегии. Главный редактор В. Орлов, подписавший сборник к выпуску

в свет, наряду с некоторыми работниками редакции несет личную ответственность за допущенные ошибки.

...Секретариат обязал главного редактора В. Орлова повысить требовательность в работе; обратить особое внимание на подбор авторов ».

*Информационный бюллетень Правления
Союза писателей СССР, 1939, № 3-4, стр. 4*

Последняя фраза означает, что Орлова, несмотря на его « личную ответственность », пока не прогоняют. Случится это немного позднее, когда появится сборник « Ленин в поэзии народов СССР ». Казалось бы, чего уж лучше? И Ленин, и народы, и даже, в виде исключения, парадная суперобложка, свидетельствующая об особой ценности этого тома и уважении к нему. Все это Орлову не помогло. Во вступительной статье к этой книге была обнаружена фраза (опять — фраза!) о том, что у истоков русской ленинианы стояли Маяковский, Тихонов и Пастернак. Можно ли ставить в один ряд Маяковского, автора поэмы « Владимир Ильич Ленин », и Пастернака, автора « Высокой болезни », поэмы темной и сомнительной? Никто не вспомнил пророческих строк из « Высокой болезни », но именно они, наверно, имелись в виду :

*Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.*

Да и в строках ли дело? Нужно было снять Орлова, и его увольнение было предрешено еще

22 октября 1968 года, на заседании бюро обкома. Не захотели делать это в связи с той « фразой ». Нашли другую. Не испугались глупости, — а ведь на сей раз глупость еще более явная, чем тогда. Подумайте только : главного редактора, выпустившего сотни томов, снимают с работы за чью-то, не им написанную фразу, где в один ряд поставлены Маяковский и Пастернак, современники, друзья, соратники. Все это особенно смешно еще потому, что « Высокая болезнь » Пастернака была опубликована именно Маяковским в его журнале « ЛЕФ », в 1924 году. Поэму « Хорошо ! » Маяковский подарил Пастернаку с надписью : « Борису Вол[одя] с дружбой, нежностью, любовью, уважением, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением и пр. и пр. и пр. », не думая, что через сорок лет В.Н. Орлова сместят с должности руководителя « Библиотеки поэта » за то, что он позволил поставить рядом два имени, — имена людей, любивших и уважавших друг друга.

В.С. Толстикovu объяснили, что ни обком, ни даже бюро обкома не полномочны снимать с кого бы то ни было ученые степени. Кстати, тогда, в 1968 году, вообще еще не было правительственного решения лишать степеней и званий за « антиобщественные действия »; оно было принято позднее, в связи со злодеяниями академика А.Д. Сахарова. (Впрочем, с него звания академика так и не сняли — после мощной артиллерийской подготовки не решились, отступили). К тому же и ректор хлопотал о том, чтобы институту было дозволено самому решать, в собственном Ученом совете, как поступить со своим профессором. Получив такое дозволение (ярость пошла на

убыль), он начал готовить заседание Совета. О технике такой подготовки я уже рассказывал. На этот раз, однако, у институтского руководства было намерение отделаться спектаклем: видимо, оно полагало, что профессор Эткинд еще пригодится. Хоть и «вбил клин» между партией и литературой, но лекции читает, семинары проводит, с аспирантами занимается, на защитах оппонировать, и все это делает уже почти два десятилетия безотказно, студенты с его лекций не сбегают, его аспиранты вполне успешно защищают свои диссертации, статьи и книги он издает, что для репутации института тоже полезно. Вообще сохранить его лучше, чем прогнать. Думаю, что обо всем этом помнил ректор, подговаривая будущих ораторов. Со мной он тоже строго побеседовал, посулил кровавое обсуждение моих идеологических ошибок, но заклинал не слишком сопротивляться: если я буду вести себя сдержанно и тактично, исход может оказаться благополучным. Институт имени Герцена мне был дорог, за много лет я к нему привык, высоко ценил и слушателей, и многих коллег, а потому лезть на рожон не собирался. В конце концов, я понимал, что ритуал проработок требует определенной условности; немало я их повидал на своем веку.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ : « ПРАБОТКА »

Вот с величьем натуральным
Над бумагами склонясь,
Видно, делом персональным
Занялся — то-то сласть.

Александр Твардовский
Теркин на том свете.

И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу
Голосованьем.

Александр Галич.
Памяти Б.Л. Пастернака.

Слово « проработка » — советское, ни в одном не-советском языке не существует. Еще в конце тридцатых годов оно было неологизмом, и это отмечал « Толковый словарь русского языка » под редакцией Б. Волина и Д. Ушакова, объясняя глагол « проработать » : « Подвергнуть суровой или недоброжелательной критике » с пометой : « иронич., шутл., нов. » (том III, 1939, столб. 987). Прошло более двух десятилетий, и в « Словаре современного русского литературного языка » Академии Наук СССР объяснение изменилось; здесь сказано : « Подвергать суровой критике » (том XI, стлб. 1302, 1303). Заметим : отпало определение « недоброжелательной » ; а помета осталась одна : « разг. », все прежние отпали, — теперь, в 1961 году, слово « прорабатывать » уже не воспринимается как « ироническое, шутливое новообразование ». Какие уж тут шутки ! С 1939-го по 1961 год даже лингвисты, составлявшие сло-

вари, поняли, что дело серьезное, никакой иронии в слове « прорабатывать » не осталось. Словарь 1961 года приводит два контекста, позволяющие понять смысл слова :

« Нашкодил и не кается. Надо проработать его и на цеховом партсобрании и на обще-заводском, да в газете хорошо бы фельетончик тиснуть ».

Попов. Закипела сталь

« Критика общественности была бессильна : после « проработки » токарь не изменил своего отношения к людям, к работе ».

Уксусов. После войны

Страшная литература, из которой взяты эти фразы, но страшное же словечко ! Как бы это объяснить его моим западным коллегам ? Составлено оно из глагола « работать », который может менять смысл, вступая в сочетания с разными префиксами : « обрабо-тать », « разработать », « переработать », « от-работать », « заработать ». Суффикс про-сообщает глаголу значение окончательности, совершенности действия : *жевал — проже-вал, глотал — проглотил, думал — продумал, читал — прочитал*. В нашем случае такая окончательность или совершенность присут-ствует. Но есть и другой оттенок, связанный, например, с оборотом : « пропустить через мясорубку », « прогнать сквозь строй ». Значение слова *обработать* тут тоже присутству-ет. Большой французско-русский словарь, составленный Л.В. Щербой (1969), пытается перевести : « Прорабатывать (*подвергнуть критике*), разг. — *passer à l'étamine* ». Одна-

ко, это французское сочетание в обратном переводе на русский значит «подвергнуть строгому экзамену». Ну-ка, подставим эти слова в приведенные контексты, — что у нас получится? «Нашкодил и не кается. Надо *подвергнуть его строгому экзамену* на цеховом партсобрании...» Нет, это совсем не то, строгий экзамен, да и вообще экзамен тут не при чем. Проработка — это «исправление» личности посредством коллектива. Это заранее подготовленное собрание, участники которого выступают с разоблачительной критикой; цель такой критики — вывести на чистую воду порочность той или иной теории, научной школы, художественного или нравственного принципа, заставить свою жертву принять требования собрания, то-есть «исправиться». Цель проработки — отнюдь не выяснение истины, это не дискуссия. От дискуссии проработка отличается неравноправием участников: объект ее изначально неправ; он может сопротивляться, но едва ли кто-нибудь его поддержит, то-есть тем самым «поставит себя вне коллектива». Проработка и задумана как *разоблачение* личности коллективом, как перевоспитание личности или изгнание ее; в известные периоды нашей истории, например до войны, преобладал первый вариант, в другие — второй.

Хорошо помню проработки моих университетских учителей. Они прошли через оба варианта. В 1936-1937 годах на филологическом факультете Ленинградского универси-

тета прорабатывали формалистов, вскоре после этого «вульгарных социологов», в 1946-1947 годах — декадентов и модернистов; начиная с 1948 года — космополитов, низкопоклонников перед Западом, компаративистов, антипатриотов. Все проработки велись по трафарету, выработался устойчивый ритуал: сначала выступал с докладом секретарь партийной организации или специальный уполномоченный партийного бюро, затем были выступления нескольких, казалось бы, доброхотов, на самом деле заранее натасканных ораторов, между которыми темы были распределены и которые старались не повторять друг друга. Особенно ценились неожиданности, которые ошеломляли жертву и парализовали ее: какой-нибудь убийственный довод из частного письма, написанного когда-то самой жертвой и теперь предъявляемого и жертве, и собранию; какой-нибудь нечаянный свидетель, который, скажем, общается о пораженческих высказываниях жертвы в период немецкого наступления; какой-нибудь близкий товарищ, или ученик, или — еще лучше — прежняя жена вдруг поднимаются на трибуну, — жертва бледнеет; глядишь, она сникла и умолкла. Все перечисленные украшения придают проработке блеск, неотразимость, праздничность. Если проработка прошла буднично — она не удалась. Зрители должны испытывать восторг от унижения жертвы и, главное, от театральных эффектов, способствующих такому унижению. Поэтому желательно еще

одно существенное условие для проработки, университетской или писательской: жертва должна быть, по возможности, человеком популярным, а еще лучше — знаменитым. Топтание прославленной жертвы доставляет сладострастное наслаждение. В университете трудчатых годов были разные профессора, но проработкам подвергались те, кто пользовался особенной популярностью у студентов: историк Евгений Викторович Тарле, литераторы Виктор Максимович Жирмунский, Григорий Александрович Гуковский, Борис Михайлович Эйхенбаум, Владимир Яковлевич Пропп. Справляться было нелегко: каждый из них был блестящим полемистом, насмерть сражавшим своих поносителей, кроме того нужно было слишком много знать. Так, Жирмунский был специалистом в разных областях: немецкой, английской и русской литературах, германской диалектологии и грамматике, теории стиха, истории и теории эпоса; чтобы его проработать, нужно было привлечь не менее десятка ораторов, которые хотя бы приблизительно знали, о чем говорить. Сначала Жирмунского били, как формалиста, потом как социолога, позднее — уже после войны — как космополита, ученика и пропагандиста Александра Веселовского. Сходной была судьба Гуковского, который, не отличаясь такой энциклопедичностью, давал достаточно оснований для избиения по тем же трем причинам. Мы, студенты, в то время не слишком хорошо понимали, что подобные зрелища чреваты

кровавой развязкой : нам было интересно, мы с энтузиазмом следили за сражениями — в тридцатые годы всякое побоище казалось боем; прямой связи между арестами 37-го и 38-го годов и проработками мы еще не видели, а, может быть, ее и не было. Впрочем, позднее я понял, что в избиениях любимых профессоров было нечто общее с театрализованными московскими процессами : задача была в дискредитации самых сильных и ярких; пока — в дискредитации, уничтожать их стали позднее.

Историю проработок надо написать — кое у кого сохранились записи этих заседаний, предшествовавших сходным событиям китайской культурной революции.

Сам я не раз был жертвой этой ритуальной процедуры. Дело вовсе не в моей популярности или тем менее знаменитости : ничем таким я не мог прогневить начальство в конце сороковых годов. Я окончил Университет в самом начале войны, в июне 1941 года, преподавал в далекой провинции — городах Кирове (Вятке) и Яранске, потом, с апреля 1942-го, воевал до самой победы, оставался офицером до 1948 года и свою первую диссертацию, кандидатскую (« Роман Э. Золя семидесятых годов и проблема реализма »), защищал в военной гимнастерке. Так что к концу этого периода у меня научных заслуг или печатных трудов не было, лекции, правда, читал, но не слишком самостоятельные, скорее информационные (студенты это всегда отлично чувствуют), да и взгляды мои на

литературу, стиль, методологию еще только формировались. До наших учителей мне было бесконечно далеко, и если меня выбирали для публичных избиений, то не за собственные заслуги, а именно за учителей.

«Вот вы всё кичитесь, что учились у Жирмунского и Гуковского, — заявил мне на одном из таких спектаклей секретарь партбюро, — а надо было — у Ленина и Сталина». Это было в 1949 году; и меня тогда в Ленинградском Институте иностранных языков обвиняли в космополитизме и антипатриотичности. Кто-то из верноподданных коллег донес, что в лекции, обсуждая «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (о военном летчике, вернувшемся в строй вопреки тому, что лишился обеих ног), я сослался на рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни», как на образец для Полевого. Ретивые ораторы уверяли притихшую от испуга студенческую и преподавательскую аудиторию, что Эткинд принижает советскую литературу, клеветает на нее, видя в советских писателях жалких подражателей западным буржуазным авторам, низкопоклонствует перед Западом, ползает перед ними на брюхе. Я простодушно твердил, что Джек Лондон вовсе не буржуазный, а даже антибуржуазный, что Полевого я не выставил подражателем, а только проводил законную тематическую параллель... Я еще не понимал, что никакие доводы меня спасти не могут, потому что судьба Эткинда решена заранее, и провинность его, как и других

космополитов, не в тех или иных утверждениях, а в том, что он — еврей.

Вскоре после этой проработки меня вызвал ректор А.М. Комаров и сообщил, что я уволен — за космополитические и антипатриотические ошибки, за порочные лекции, за пропаганду декадентства и модернизма и еще за что-то, чего я уж не помню. Студенты жалели меня, но бунтовать не стали: им, вероятно, казалось, что раз наше правительство борется с космополитизмом, даже переименовало французские булки в городские, кафе «Норд» в «Север», а лимбургский сыр в костромской, значит советской власти и в самом деле грозит опасность со стороны антипатриотов, пресмыкающихся перед Западом, и, может быть, их преподаватель тоже в этом повинен — ведь он с чрезмерным увлечением читал лекции о Руссо и Андре Шенье, Стендале и Анатоле Франсе; насчет Бодлера, Рембо или Валери я и заикаться не имел права, и то, что все-таки говорил об этих «декадентах и модернистах», служило дополнительным обвинением — в антиреалистических симпатиях, в пропаганде упадочной литературы загнивающего Запада. В те годы был еще такой жупел, которым демагоги постоянно пользовались — «теория единого потока»; повинный в этом грехе преподаватель не отделял прогрессивных реалистов от реакционных антиреалистов. Г. А. Гуковский, например, был избиваем за идеализацию поэзии Жуковского, царедворца, врага декабристов и певца су-

меречных, упадочных, христиански-антиреволюционных настроений, словом — ретрограда, а Гуковский ставил его поблизости от прогрессивного Пушкина.

Еще до того, как меня выгнали из Института иностранных языков, мне была устроена проработка в Ленинградском Университете, где я, правда, лекций не читал, но где в 1947 году защищал диссертацию. На открытом, то-есть с участием приглашенных лиц, заседании кафедры меня поносили за порочную методологию и вредные идеи. То была кафедра западноевропейских (уже переименованных в «зарубежные», чтобы не поминать проклятого слова «Запад») литератур, которой почти тридцать лет заведовал В.М. Жирмунский, мой научный руководитель, сделавший свою кафедру лучшей в Советском Союзе. Жирмунский был уже изгнан с позором из Университета, в его кресле сидела молодая и еще в науке ничем не отличившаяся его ученица, Т. Вановская, умоляющими черными глазами смотревшая, не отрываясь, на меня, своего однокашника («я тут не при чем, это все делают они...»), а с докладом о моей диссертации (недавно защищенной в том же университете) выступал бледный Алексей Львович Григорьев, историк новейшей французской литературы. Ему тоже все это было не только неприятно, но и противно, однако он, человек далеко не храброго десятка, исправно выполнял задание партийной организации. В работе о Золя он отметил существенные недостатки,

обличавшие порочность идеологии: формалистические схемы композиции — даже с какими-то формулами и чертежами (слова «структурализм» еще не было, для разоблачений обходились обвинениями в формалистичности); ревизия марксизма, выразившаяся в критике статьи марковского зятя Поля Лафарга о романе Золя «Деньги»; космополитический антипатриотизм: говоря об изображении в новейшей литературе рабочих масс, Эткинд в Золя видел предшественника Горького. Ну, это уж было оскорблением величества: как, наш пролетарский классик Горький чему-то научился у ихнего натуралиста Золя! Забыть о том, что натурализм — реакционная подмена социальных законов наследственностью, марксизма — социальным дарвинизмом, предать русского Горького во имя прославления какого-то западного полудекадента! Члены кафедры, воспитанные Жирмунским, пытались бормотать что-то разумное, но заседание было открытое, и приглашенные лица делали свое дело. Помню темпераментное выступление А.В. Запалова (когда-то один из любимых учеников Гуковского, он раньше многих предал учителя, а теперь выпустил книгу «В глубине строки», посвященную его памяти); рассыпая цветы красноречия, он подробно говорил об антипатриотических извращениях в диссертации, об ошибке Ученого совета, присудившего ее автору кандидатскую степень (а многие члены того ученого совета тут же и сидели, терроризированные и безмолвные —

академик Алексеев, профессора Державин, Смирнов) и о необходимости эту ошибку исправить. Однако степень с меня тогда все же не сняли, и я сохранил ее до апреля 1974 года.

Так вот что такое проработка в университетской жизни. Но тема это большая, заслуживающая, как сказано, отдельного рассмотрения. Здесь я ограничусь поневоле кратким отступлением, по ходу рассказа необходимым.

Итак, мне снова предстояла проработка, на этот раз, кажется, спасительная: ритуальное действие могло успокоить жаждущего крови Толстикова, и, чем свирепее окажутся ораторы, тем лучше. Жертва сама понимала, что, чем больнее ее будут бить, тем больше шансов выжить.

28 ноября 1968 года народу собралось много — заседание оказалось представительным; должны были, не жалея времени и сил, сразу два Ученых совета обсуждать мою «фразу». Я сидел спиной к залу и записывал; в памяти вертелась строчка из пародийной песни, в то время широко распространенной в интеллигентных кругах. С детства мы пели эту песню на демонстрациях, не слишком вдумываясь в ее смысл: «Мы рождены, что сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор...» Пародия же звучит так:

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...

Об этом я и думал, ожидая начала. Франц Кафка обладал несравненным воображением, он сочинил «Процесс» — страшный судебный процесс возникает из ничего. Но до «фразы» он не

додумался. Ведь «ничего» менее абсурдно, нежели «фраза»; всякому «ничего» можно придать любой смысл, его можно окрасить в любой цвет, раздуть до любых размеров — именно потому, что «ничего» всему этому не противится. Дело К. в «Процессе» приобрело кошмарные черты, оно могло приобрести любые черты и размеры, потому что строилось на пустоте, на нуле, на «ничего».

Мое дело не плод фантазии, оно основано на материальной реальности, на фундаменте «фразы». Здравый, не ослепленный страхом, честолюбием или фанатизмом человек, поглядев на «фразу», пожмет плечами: ну, а что такого? Переводили русские поэты, своего писать не могли, так переводили. Ведь это факт? А теперь вот стали писать — это тоже факт. И меньше переводят. Вот и слава Богу.

Нет, не слава Богу. Несколько месяцев подряд Союз писателей в Ленинграде и Москве, издательство «Советский писатель» в тех же обеих столицах, педагогический институт имени Герцена — лихорадило и трясло; несколько человек потеряли работу, а значит оказались на краю отчаяния; десятки людей в редакциях и типографиях смотрели на то, как уничтожаются плоды их труда, и с горечью начинали все с начала... Все — из-за «фразы», из-за одной, к тому же кем-то (так я и не знаю кем) неправильно прочитанной.

Я в ту пору подсчитал: обсуждением и осуждением «фразы», а также исправлением ее последствий оказалось занято не менее 400 (четырехсот!) человек, каждый в среднем по 2 1/2 часа (некоторые не более часа, другие — например, сотрудники редакции и члены Советов, по 5-6

часов); итого « фраза » обошлась государству по приблизительным подсчетам в 1000 (одну тысячу) человеко-часов, причем тратили время высокооплачиваемые писатели, профессора, редакторы. А сколько ушло денег: на печатанье первого варианта, уничтожение и потом печатанье второго (2 тома, тираж 25 тысяч, итого, значит, 50 тысяч томов) ! Поистине :

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...

Заседание начинается — первое слово произносит ректор. На этот раз он строг, даже груб. Перед ним на пюпитре лежит несчастный синий томик, чудом оставшийся еще в живых, он листает вступительную статью и на каждой странице видит повод для издевательской брани. Я с удивлением слушаю: ведь он перебарщивает! Потом скажут, что его критика была пародией на критику, проработка — пародией на проработку, и, как говорится, « не зачтут мероприятие », — тогда я пропал. Вот он приводит какие-то мои слова насчет того, что дольник в русском стихе возник в переводах из Гейне и что это потом сыграло известную роль для Маяковского, для его реформы стиха. « Ложь, — оскорбленно восклицает оратор, — ложь ! Поэзия Маяковского порождена революцией, а не переводами из Гейне ! » В другом месте автор говорит, что переводную поэзию следует рассматривать в одном ряду с оригинальной, — это утверждение ректора очень сердит, он выбирает слово пообиднее, побольнее, — — это, кричит он, « ученое словоблудие ». Почему Эткинд заявляет, что история поэтических переводов особенно важна именно для русской литературы ? Эткинд

хочет выставить ее несамостоятельность? Эткинд перечисляет все стиховые формы, проникшие в русскую поэзию из западных — александрийский стих, пятистопный ямб, басенный разностопный стих, — и что же он хочет сказать, что у нас не было своего? Что мы всё переняли у Запада? Таков был первый тезис ректора. Второй — преступное возвышение Пастернака. «Пастернак, если верить Эткинду, переводил Шекспира образным языком нашего столетия. Ничего хорошего в этом нет. К тому же стихи, которыми Пастернак передает Шекспира, скверные, ничтожные стихи. Вот 73 сонет Шекспира — ну, что значит эта абракадабра, эта несусветная чепуха :

*То время года видишь ты во мне,
Когда из листьев редко где какой
Дрожа желтеет в веток голизне,
А птичий свист везде сменил покой.*

*Во мне ты видишь бледный край небес,
Где от заката памятка одна,
И, постепенно взявши перевес,
Их печатывает темнота...*

Что за голизна веток? Что за памятка заката? Всё это — стихи капитана Лебядкина, да и только ».

Ректор разбушевался: он вдался совсем уж не в свою область и, торопясь к концу, пообещал, что пошлые и фальшивые переводы Пастернака займут в русской литературе такое же место, как самовольные переводы Бальмонта (кто ему подготовил все эти громыхания? Не сам же он придумал про Бальмонта и в особенности про капитана Лебядкина!) Но вот, наконец, и «фраза»: по-

литически вредная концепция... фальсификация всего процесса... всего развития советской литературы... Так написать, значит исказить... извратить... бросить тень... Мы, работники идеологического фронта и педагогического института, мы должны нести полную ответственность...

Ректор сел и дал первое слово Антонине Николаевне Шишкиной, заведующей кафедрой советской литературы. Человек честный и чистый, А.Н. Шишкина по должности непременно должна была выступать первой, но проработать она не умела и не хотела. В этой очень хорошей вступительной статье, — сказала она, — есть противоречие между основной концепцией автора и одним из выводов, содержащихся на последней странице. Ссылка на «противоречие» дала Шишкиной возможность обстоятельно похвалить статью в целом : широкий взгляд на переводную литературу как на часть духовного бытия нации; в поле зрения автора — разные процессы, и в то же время он уделяет достаточное место выдающимся мастерам перевода, их вкладу в русскую культуру; раскрывается соотношение между оригинальным творчеством этих мастеров и их переводной деятельностью. « В центре авторской концепции — внимание к русской поэзии, к переводу, многолетняя устойчивая традиция, готовившая изнутри расцвет этого искусства в советскую эпоху. Советские переводчики приняли эту традицию и развили ее... Такова основная линия эткиндовской статьи... »

(Пока А.Н. Шишкина развивала этот тезис, я поглядывал на ректора — он морщился;

для того ли мы собрали такой синклит, чтобы восхвалять осужденную обкомом статью? Ясно, что Шишкина будет ее бранить — но не слишком ли она долго превозносит? Вскоре морщины разошлись, лицо ректора просветлело — в речи оратора зазвучали иные нотки. От тезиса произошел переход к анти-тезису. Шишкина уже другим тоном продолжала)...

...и вдруг, на фоне столь плодотворной и правильной концепции — на последней странице — ляпсус. Он не вытекает из материала, не связан с методом исследования, и, конечно, расходится с действительностью. Своей прямолинейной категоричностью бездоказательный вывод Эткинда противоречит принципам научного исследования. Этот вывод ошибочен и политически. Советское литературоведение не уходит от сложных проблем, однако решать их надо посредством всестороннего глубокого анализа, а не на аполитичной почве чистой науки.

(Я чувствую себя в роли абстрактного академического учёного, который по рассеянности забывает о земном мире и о политике... Это противно, но все же безопаснее быть ученым олухом, чем политическим диверсантом).

Требования, предъявляемые к советскому ученому — это, прежде всего, его ответственность за каждый, им выдвигаемый тезис, это полная четкость концепции. Эткинд же строит свое заключительное обобщение на случайных, вырванных наудачу фактах, находящихся где-то за преде-

лами его работы, на материале, которым он в достаточной степени не владеет. Этот вывод автора заслуживает резкого осуждения. Пусть он вообще задумается о вреде скороспелых умозаключений.

(Да, А.Н. Шишкина — человек благородный и честный. Понимает ли она, что говорит неправду? Понимает. Но во время проработок задача вовсе не в выяснении истины. Нужно так построить выступление, чтобы оно было беспощадно-партийным по отношению к автору статьи, но, в то же время, чтобы и он, автор, не пострадал. Автора нужно заклеить, таким образом удовлетворив обком, но его же нужно спасти от того же обкома. Лучше всего это удастся, если показать, что «фраза» — случайность, противоречащая всему тексту статьи, что она — следствие аполитичности автора, его чрезмерной учености, пусть даже его глупости. Так мы живем: нас волнует не открытие истины, а тактический ход).

Вторым выступал профессор Борис Федорович Егоров, заведующий кафедрой русской литературы; его положение осложнялось тем, что он — член редколлегии «Библиотеки поэта», а с другой стороны, по институтский должности тоже обязан выступать и прорабатывать. Но он тоже не умел и не хотел. Егоров поспешно согласился со всем сказанным, назвал «фразу» — «политически безответственной и легкомысленной», — сказал, что возникла она из желания автора объяснить взлет переводческого искусства в советскую

эпоху (то-есть, выходит, из лучших патриотических побуждений!), но что объяснить этот факт можно было иначе — общей высокой культурой перевода в России; без этого порочного вывода статья не только могла бы обойтись, но и сильно выиграла бы. Кончил он рассуждением о том, каким уроком вся эта печальная история послужит для всех, и прежде всего для членов редколлегии. Надо во-время останавливать статьи, содержащие ошибки, во-время обращать внимание... «Библиотека поэта» создана Горьким... Коллективное руководство... общая ответственность...

В этих зыбких и в целом благожелательных словах потонула речь Егорова, уступившего свое место на трибуне Елене Николаевне Князьковой, заведующей кафедрой французского языка, — ей я был непосредственно подчинен. Тонная и даже в своем преклонном возрасте весьма авантажная дама, Е.Н. Князькова в политических вопросах не понимала ничего, да, впрочем, и науками не слишком увлекалась. С 1952 года она работает бок о бок с профессором Эткиндо, знает о нем много хорошего — эрудит, блестящий лектор, — но вот, оказывается, он в политике безграмотен. Как это возможно? Чем объяснить такую странность? Скорее всего тем, что в последние годы профессор Эткинд отошел от общественной жизни факультета, перестал участвовать в занятиях сети партпросвещения. Мало этого: он даже вышел из профсоюза и, перейдя в Союз писателей, совсем прекратил заниматься повышением своего идейно-теоретического уровня.

(В «сети просвещения» мне бы, конечно,

разъяснили, что русские поэты свободно могли выразить себя до конца...)

Профессор Эткинд не бывает ни на профсоюзных, ни на открытых партийных собраниях, а всю свою общественную деятельность он сосредоточил в Союзе писателей, так что мы воспитывать его не можем. И еще надо сказать, что он стал излишне самонадеян и надменен, уклоняется от торжественных заседаний, он — редкий гость на наших товарищеских вечеринках, устраиваемых по поводу советских праздников или защит диссертаций...

(ох, тут Князькова переборщила. Образ антиобщественного, надменного профессора получается художественно убедительный, но он противоречит общеизвестным фактам: от банкетов в дружеском кругу профессор не уклоняется.)

Всё это, заканчивает Е.Н. Князькова, горестно вздыхая, все это и привело профессора Эткинда к политической безграмотности.

(Мадам Князькова — из другого мира, ей не свойственна советская фразеология; она с трудом и даже видимым отвращением выдавливает из себя все эти шлакоблочные: «отошел об общественной жизни факультета», «не занимался повышением идейно-теоретического уровня», «открытые партсобрания»... В ее дамских устах все эти словесные уроды звучат явной имитацией. В остальном же речь ее спасительно пустая. Слова сердитые, а что по сути сказано? Что Эткинд не ходит на теоретические заня-

тия, « не повышает уровня »? Что он — не член институтского профсоюза? Ну, будет ходить на занятия, ну, поступит в профсоюз, это без труда исправимо. Проработка уходит в песок, становится беззубой, вялой, потому именно теперь получает слово —)

профессор Софронов, заведующий кафедрой истории КПСС. Тут уж все становится серьезным — имитация окончилась. На трибуне маленький горбун с хищным лицом и скрипучим голосом. Таких я видал, это редкий тип фанатика, за свой обком готовый в огонь и воду. Впрочем, не следует забывать, что этот фанатизм оплачивается высоким окладом. Стоит ли подробно излагать его выступление? Сходных пошлостей вдосталь в любой « Литературной Газете » 1946-1955 годов. Однако дело происходит в 1968-м, — это все меняет; к тому же « театр абсурда », с которым на этих страницах знакомится читатель, здесь, в софроновской речи, доведен до апогея.

« Я — не специалист, — хрипит Софронов, — но автор задел за живое каждого советского человека, и я считаю своим гражданским долгом высказаться по поводу ряда принципиальных общенаучных вопросов, возникающих при чтении этой статьи. Нет, — вдруг загорается он, обращаясь в сторону Князьковой, — нет, дело не только в непосещении семинаров сети партпросвещения. (Голос звучит угрозой, в нем появляется металл). Дело серьезнее. Почему нет у Эткинда единого методологического подхода к рассмотрению перевода? Почему, когда речь о прошлом, он обходится без марксистского анализа, без

связи творчества писателей с социальными процессами? А как только он достигает современности, так, видите ли, появляются намеки на культ личности. Почему автор не видит подъема всей русской литературы, вызванного Великой Октябрьской революцией? Все это — неспроста. Разве ленинский принцип партийности литературы не относится к переводам? Разве русские переводы «Капитала» Маркса не свидетельствуют...

(Мне не раз приходилось работать переводчиком-синхронистом; сидел я в кабине перед микрофоном и слушал речи советских ораторов в наушники. Те из слушателей, кто знали оба языка, нередко удивлялись: как это он «переводит вперед», не дожидаясь, пока оратор договорит фразу или начнет следующую? и почему, предвосхищая их речи, он не ошибается? А ведь это — легче легкого: речи такого рода катятся по рельсам привычайших штампов. Заранее ясен и ход мысли, и словесное оформление, и какие трафареты следуют друг за другом).

... — Переводная литература — острейший участок идеологической борьбы. Нельзя отрывать авторов оригиналов и авторов переводов от общественной действительности, определившей их мировоззрение. Автор путанно и методологически неправильно объясняет творчество Пастернака. Автор приводит написанные в 1919 году «Заповеди переводчика» Гумилева. Но ведь очевидно, что после Великой Октябрьской социалистической революции важны заповеди не контрреволюцио-

нера Гумилева, а великого Ленина, — заповеди о том, что далеко не все надо и можно переводить. В современной международной обстановке следует не приводить «Заповеди» Гумилева, а сказать о прозорливости Ленина, — который учил нас тому, что игра в демократизм расчищает почву для контрреволюции.

(Вот она, проработочная эскалация : начав с александрийского стиха и пятистопного ямба, мы поднялись до игры в демократизм, до контрреволюции !)

Да, для контрреволюции. Что значит — «русские поэты не могли выступать в оригинале?»

(Тоже характерный прием : Софронов придумал свою фразу, и теперь сам же будет с ней воевать).

Какие поэты? Какие писатели? Если речь идет о Пастернаке, то его «Доктор Живаго» и не мог быть у нас переведен...» (Крики с места : «Издан!») Не мешайте, я знаю, что говорю : переведен.

(С какого языка на какой? Но я молчу и записываю — чем глупее, тем лучше).

Вообще вся эта фраза нужна автору только ради него, Пастернака. В статье этот Пастернак подан, как крупнейшая величина, его имя стоит рядом с Марксом. Надо присмотреться к статье повнимательнее, там есть еще одна мысль, выраженная, правда, скороговоркой : «В Советском Союзе уровень переводческого искусства поднялся даже выше, чем в Германии, стране перевода». Не о Германии ли тридцатых годов говорит Эткинд?

О той Германии, где горели на кострах передовые поэты? О той Германии гитлеровского фашизма?..

(Эскалация продолжается : автора уже можно обвинять в том, что он проповедник гитлеризма. Оборвав на этой грозной ноте, Софронов собирает бумажки, и, с торжеством оглядывая оробевший зал, покидает трибуну. Но кончить такой нотой и вообще Софроновым проработку нельзя; это — не по правилам; еще нужен кто-то на амплуа « известного ученого ». Слово получает знакомый читателю —)

профессор Алексей Львович Григорьев, заведующий кафедрой зарубежной литературы, тот самый, который ровно двадцать пять лет назад делал в Университете доклад о моей кандидатской диссертации. Но времена другие, Григорьев другой — ему и тогда было стыдно, а уж теперь... Теперь он находит тонкий тактический ход. Да, он согласен, в статье есть противоречия, но они есть и во всем облике профессора Эткинда. Ведь он, Эткинд, непосредственный участник нашей литературной жизни, переводчик реалистических и сатирических пьес Брехта, — как же он, именно он, мог написать статью с таким глубоко ошибочным политическим выводом? Он, несомненно, сам объяснит, даст должную оценку своей порочной фразы. Его мысль о том, что советские поэты ушли в профессиональный перевод, « не имея возможности... », просто ошибочна. Наше время — время небывалого расцвета переводческого искусства. Можно ли говорить об « уходе в перевод »? Вот в чем ошибка автора. Куда же поэты

уходили? Ведь не какого-нибудь Эзру Паунда переводили они, а Данте, Шекспира, Гете, они обращались к высочайшим культурным ценностям. И это говорит Эткинд, который сам сделал такой вклад в нашу переводную литературу... Или вот о Маршаке — можно ли сказать, что Маршак ушел в перевод...

(Тут уж ректор не выдерживает — обкомовцы будут недовольны! — и прерывает Григорьева: — « Дело не в неудачной формулировке, а во всей концепции Эткинда. Как вы этого не понимаете? » Григорьев сбит с толку: ректор не одобряет, обком разгневан, но — вернуться к 1949 году? Нет, на слишком явную низость он уже не способен.)

Скороговоркой Григорьев бежит к концу: — Ошибка Эткинда тем более поражает, что в книгах и статьях он систематически борется с формализмом и антиисторичностью. А здесь — здесь он допускает такую серьезную недооценку советского художественного перевода! Ему необходимо углубленно заняться проблемами марксистско-ленинской эстетики.

(Сделав такой вывод, А.Л. Григорьев спускается в зал. Он стар, слаб, болен; зачем его подвергли этому испытанию? Он его выдержал, учитывая обстановку террора. Но если наши западные коллеги хотят знать, почему советские ученые чаще других умирают от инфарктов, пусть поставят себя на место профессора Григорьева — мирного кабинетного исследователя, вынужденного то и дело подвергаться нравственной пытке).

Последним выступает профессор Борис Иванович Бурсов, —

(Бурсова знают на Западе — он автор многих книг о Толстом и Достоевском, о Белинском, Чернышевском и Горьком. Он — и давний член редакционной коллегии «Библиотеки поэта», и председатель секции критиков и литературоведов в ленинградском Союзе писателей, и старый коммунист — мог ли он отказаться выступить?), — один из главных козырей в руках устроителей. Б.И. Бурсов :

— « Библиотека поэта » делает огромное культурное дело, она выпустила более двухсот книг, являющихся солидным вкладом в нашу культуру, но « Библиотека поэта » и пострадала больше других.... Прежде члены редколлегии читали все готовившиеся к изданию рукописи, — на этот раз они оказались в стороне: мы не читали работу Эткинда и не обсуждали ее. Если бы все добросовестно выполняли свои обязанности, этого печального случая могло и не быть. В чем же причина политической ошибки Эткинда? Тут пытались дать разные объяснения: дескать, Эткинд ушел из институтского профсоюза в Союз писателей... Но ведь и Союз писателей — не богадельня (*громкий смех в зале*). Союз писателей таких случаев не пропускал никогда. Эткинд еще и там получит нахлобучку. Почему же все-таки это могло случиться? Эткинд умеет делать разные вещи, но в советской литературе он не специалист, в этой области он разбирается плохо, и его ввели в заблуждение высказывания некоторых поэтов. Как говорил Маяковский, « литера-

тура — не занятие для слабонервных». Самое скверное в таких делах — верхоглядство. Вот я недавно выпустил книгу «Национальное своеобразие русской литературы», там я кое-где говорю о Вольтере и Бальзаке; иностранных языков я не знаю, французскую литературу не изучал, и получается поверхностно. А Эткинд не знает советской литературы, и также поверхностен, когда до нее доходит. Это беда всех нас. Мне крайне неприятно — осуждать моего старого товарища. Но, произнося самые суровые слова, я верю, что с его стороны не было злых намерений и что он допустил не столько политическую, сколько профессиональную ошибку».

(Речь Б.И. Бурсова можно не комментировать: она не до конца искренна, но человечна, и, может быть, главное, чего хотел Бурсов — это противопоставить ожесточенно-непримиримому тону Софронова тон спокойного размышления, сняв абсурдные, жизненно опасные обвинения, после которых жертву остается только тащить на костер.)

Потом слово дали самой жертве. Я сказал, как глубоко сожалею о том, что моя «фраза» «принесла столько бед моим друзьям и коллегам, которые самоотверженно работали над очень сложной книгой «Мастера русского стихотворного перевода»; что эта моя «фраза» навлекла громы на «Библиотеку поэта», издание, в котором я всегда видел один из важнейших фактов нашей культуры, издание, в котором я считал для себя высокой честью принимать участие, и, наконец, что моя небрежность привела к необходимости для стольких людей тратить силы, и время, и энергию».

А далее я попытался дать Ученому совету достаточно убедительную трактовку « фразы », показав, что контрреволюционный смысл в нее вложил не автор, а некий высокопоставленный чиновник, затеявший всю эту странную свистопляску. Вот что я говорил :

« Я хотел объяснить высокий уровень поэтического перевода в наше время тем, что ряд крупных поэтов стали профессиональными переводчиками, чего в прежнее время не бывало. Как же я думал это объяснить ? Известно, что в определенный период нашего развития лирика была не слишком в чести, — напомним хотя бы стих Маяковского : « Нами лирика в штыки неоднократно атакована... », его строки : « ...себя смирял, становясь на горло собственной песне ». Маяковский сумел создать новую поэзию, где гражданская страсть и лирическая стихия оказались слиты воедино. Приведенные выше строки — это размышления Маяковского о собственном поэтическом прошлом, разрыв между общественным и личным в поэзии Маяковский преодолел сам, без посторонней помощи. Его слова « я шагну через лирические томики » означают вовсе не то, что он отказался от лирики, а то, что он отверг лирику « чистую », лишенную общественной страсти, очищенную от политики.

Маяковский смог слить воедино поэзию гражданскую и лирическую : « Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни... » Не всем это было дано. На определенном этапе своего творческого пути этого не могли сделать ни Пастернак, ни Ахматова, ни Заболоцкий, ни даже Маршак, Напомним, что С. Маршак,

замечательный поэт для детей и политический поэт-сатирик, опубликовал сборник «Избранная лирика» только в 1962 году. В этом сборнике нет ни одного политически сомнительного стихотворения, но факт остается фактом: свои стихи о поэзии, природе и любви Маршак до этого печатал разве что очень редко в журналах, а в книге «Избранное» 1947 г. таких стихотворений всего 20. В книге «Избранная лирика» (Ленинская премия 1963 года) их 92.

Начиная с 1942 г. до 1960 г. Маршак выпустил 35 книг. Из них его лирические стихотворения вошли небольшими циклами лишь в 4 тома.

Вероятно, Маршак и сам в обстановке тех лет не считал их главным в своем творчестве — зато его лирический дар получил выход в переводах из Шекспира, Блейка, Бернса и Гейне. Нечто сходное можно сказать о Пастернаке, Заболоцком, Ахматовой. Известно, скажем, что с 1947 по 1952 Заболоцкий создал множество лучших своих лирико-философских стихотворений, а опубликовал восемь вещей. В 1947 — опубликовано 4, в 1948 — 3, в 1949 — 1, в 1950-1952 — ни одного. За это же время он выпустил в свет громадные переводные работы — главным образом из классической грузинской поэзии, эпической и прежде всего лирической. Философская лирика Заболоцкого оказалась изданной в 1957 г. (64 стихотворения, в 1948 — 17!), а впервые более или менее полно изданной в 1960 году — например, его цикл «Последняя любовь» (1956-1957). Арсений Тарковский писал:

*Для чего же лучшие годы
Отдал я за чужие слова?*

*Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!*

Замечу, кстати, что перечисленные в моей фразе иностранные поэты, чьими устами говорили русские лирики, не риторическая метонимия, а вполне конкретный список: Гете — это Пастернак, Орбелиани — Заболоцкий, Шекспир — Маршак (сонеты), Гюго — Мартынов и Ахматова.

Все это я излагаю не для самооправдания, а чтобы дать понять, что именно я имел в виду — не какие то общие законы развития советской поэзии, а вполне конкретные факты, относящиеся к творческой биографии некоторых весьма определенных поэтов. И еще одно: меня интересовала отнюдь не политическая, а эстетическая проблематика определенного периода истории советской переводной литературы.

Кому могла притти в голову странная идея, будто бы я хотел сказать: лишенные возможности прямо высказываться в антисоветском духе, русские поэты пользовались для этой цели переводом из иностранных классиков? Достаточно вдуматься в нелепость такой постановки вопроса, чтобы снять с моей статьи политические обвинения. В небрежности формулировки, давшей возможность меня так искаженно понять, я, разумеется, повинен, а небрежность может приобрести и политический смысл, если она ведет к неверному толкованию».

Проработку завершил ректор заранее подготовленным выводом. Он еще раз обрушился на жертву, выдающую свою «фразу» за небрежность, то-есть за случайность, а ведь это — гремел ректор — «преднамеренная и сознательная ошиб-

ка, так и надо было сказать коллективу». И еще: профессор Эткинд должен отдать себе, наконец, отчет, каковы его убеждения? «С кем вы? Какую классовую позицию вы занимаете? Нет, это серьезнее, чем редакционная неряшливость. Это порочная концепция!» (Ну как — представители обкома довольны?) И все-таки попробуем на этот раз оказать Эткинду наше доверие... Пусть он останется среди нас, но помните, что ваша общая задача — воспитывать его в коммунистическом духе.

Сколько длилось это заседание? Не помню, но так долго, что курящие изныли без папирос, а старики могли задохнуться без воздуха. Казавшееся бесконечным, оно кончилось, но «дело о фразе» продолжалось. Оно принимало разные облики, видоизменялось, но до конца его было далеко. Оно длилось так долго, что постепенно приобрело все атрибуты истинности. Уже все забыли, что «дело о фразе» было комически пустым, даже вообще забыли, какова его суть; помнили только о каком-то зловещем преступлении, совершенном почему-то кем-то. Один ленинградский писатель, случайно встретившись со мной на улице, сказал: «Послушайте, бомбы можно взрывать в клозете, а не в музее, — зачем вы торпедировали "Библиотеку поэта"? Это с вашей стороны нехорошо!» — «А знаете ли вы, в чем дело?» — «Нет, — отвечал писатель, — толком не знаю. Слухи самые разные...» — «А помните ли вы дело о восьмидесяти тысячах охапках сена?» — спросил я. «Нет, не помню. Но вы совершили дурной поступок — "Библиотека

поэта" имеет большое культурное значение, вы поставили ее под удар ». Я слушал его с горечью, и дело об охапках сена не шло у меня из головы.

Семьдесят лет назад Анатоль Франс написал фантастический роман « Остров Пингвинов », где рассказывается о том, как еврея Пиро, офицера пингвинской армии, обвинили в краже восьмидесяти тысяч охапок сена. Сена никакого не было, красть было нечего, и все же обвинение, выдвинутое против Пиро, имело успех среди чиновников. « Никто не сомневался, — пишет Анатоль Франс, — потому что при полном неведении относительно всех обстоятельств дела не могло быть повода к сомнениям, а они нуждаются в поводе : без оснований не сомневаются, без оснований только верят. Никто не сомневался, так как повсюду повторяли одно и то же, а для публики повторение означает доказательство. Никто не сомневался, так как хотелось, чтобы Пиро был виновен, а чего хочешь, в то веришь; никто не сомневался, так как, помимо всего прочего, способность сомневаться встречается у людей редко. Лишь очень немногие умы носят в себе ростки сомнения, нуждающиеся к тому же в заботливом уходе. Оно своеобразно, изысканно, философично, безнравственно, трансцендентно, чудовищно, коварно, вредно для людей и для собственности, враждебно государственному строю и процветанию империй, губительно для человечества, разрушительно для богов, ненавистно небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений... »

Далее А. Франс рассказывает о том, как Пиро (прототипом которого был Дрейфус) « судили тайно », и он был осужден.

Генерал Пантер поспешил к военному министру сообщить, чем кончился процесс.

— К счастью, — сказал он, — у судей была твердая уверенность, так как не было никаких доказательств ».

Замечательное юридическое открытие ! Наилучшее дело это то, по которому нет вообще никаких материалов. Позднее, под влиянием требований пингвинских масс, генерал Пантер начал накапливать гигантские груды документов, доказывавших виновность Пиро, и тогда военный министр Греток произносит, обращаясь к генералу, незабываемый монолог. Он так близок к существованию « дела о фразе », что отрывок из него привести необходимо :

« Боюсь, как бы дело Пиро не утратило своей прекрасной простоты. Оно было ничем не затуманено. Оно обладало драгоценной прозрачностью горного хрусталя. В нем не найти было, даже с помощью лупы, ни излома, ни трещинки, ни пятнышка — ни малейшего недостатка. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как свет, оно само излучало свет. Я даю вам жемчужину, а вы хотите наворотить на нее целую гору... Доказательства ! Конечно, хорошо иметь доказательства, но, может быть, еще лучше вовсе их не иметь... В том виде, как я построил дело Пиро, оно не допускало критики, в нем не было ни одного слабого места. Оно могло выдержать любые нападки; оно было неуязвимо, потому что скрыто от глаз. А теперь оно дает огромный материал для споров... »

У Гретока оказалось немало учеников — он

и не предполагал, что по его рецептам будут действовать могущественные последователи.

Вернемся, однако, к проработке и самозащите.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ТОМ, КАК ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ

...Свободным людям не всегда было бы нужно скрывать правду: с тираном можно говорить только притчами, да и этот обходный путь опасен.

Вольтер. О басня

Мои навыки каторжанские, лагерные. Эти навыки суть: если чувствуешь опасность, опережать удар; никого не жалеть; легко лгать и выворачиваться, «раскидывать черную».

А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.

Прошли годы, много лет. Вокруг меня все изменилось: я пишу эти строки вдали от проработок, от сетей партпросвещения и открытых партсобраний. И хочется дать нравственную оценку «делу о фразе».

Прежде всего оно — характернейший образец «идеологического деспотизма» в его советском варианте. Кто-то, где-то (как это показательно, что неведомо ни кто, ни где!) вычитал в одной фразе двухтомной книги крамолу... вернее, этому «кто-то» крамола примстилась... А еще вернее иначе: «кому-то» показалось, что вот на этой двусмысленной «фразе» можно заработать похвалу или благодарность начальства, подняться на ступеньку выше, заключить новый издательский договор; словом, сделать карьеру. И лавина

начинает катиться, захватывая новые и новые снежные пласты. Конечно же всем ясно, что говорить не о чем, что перед нами — новый вариант дела « об охапках сена ». Но говорить надо : и вот одни каются и винятся, другие разоблачают и клеймят, третьи анализируют, четвертые призывают. И все исходят из того, что « фраза » преступна. Потому что исходить из этого — вѣлено.

А ведь можно было сказать, например, так :
— На дворе у нас 1968 год. Еще года четыре назад вы, уважаемые коллеги, вы же сами клеймили культ личности (иногда даже храбро добавляя : Сталина). Так разве это неверно, что литературу не только душили, но и в тюрьмах гноили ? Разве не писали об этом недавно, совсем недавно наши советские журналы и газеты ? Даже « Известия », даже « Правда » ? Во « фразе » и этого не сказано, а только, что поэты — уходили в перевод. Что же им, поэтам, оставалось делать ? Умирать от немоты и голода ?

Но даже такого никто не сказал. Попытался было я на этом уровне говорить с Лесючевским — да осекся. О последствии той попытки еще расскажу. Можно и нужно ли было так продолжать ?

О, если бы все четыреста невольных участников « дела о фразе » сговорились и решили « жить не по лжи... » Если бы хоть члены Ученого совета или Союза писателей сговорились. Но этого не произошло. И в 1968 году произойти не могло, теперь мы уже можем

такой вывод сделать. Но этого не произошло и шесть лет спустя, в 1974 году.

Тогда, в пору «дела о фразе», я и сам лукавил: отрицал политический смысл у текста, обладавшего таковым. Я — в пределах приличий — каялся. Почему? Потому что спасал право общаться с аудиторией: студентами, слушателями, читателями; право работать внутри моей культуры, моего языка, моей страны. Не просто жить, а именно — работать, участвовать в просвещении народа, к которому принадлежу. Уже после «дела о фразе» вышла моя книга для юношества «Разговор о стихах» — тиражом в 100 тысяч экземпляров; это книга не политическая, отнюдь! Но читатели получили целый сборник стихов лучших русских поэтов от Пушкина до Ахматовой, в их числе и недоступных или труднодоступных авторов — Мандельштама, Пастернака, Цветаеву, А. Белого, М. Кузмина, многих других. И еще после 68-го года вышли: книга о Брехте, книга о русских поэтах-переводчиках, несколько антологий, много статей. Да и сама та двухтомная книга, из-за которой сыр-бор разгорелся, тоже вышла, — «Мастера русского стихотворного перевода». Выкинули Гумилева, Ходасевича, Жаботинского — жаль! Но в ней многое осталось, — не только Крылов с Пушкиным и Курочкин с Петром Вейнбергом, но и Мандельштам, и Пастернак, и Волошин, и Цветаева, и Ахматова. Стоило воевать, отстаивать, даже в чем-то — уступить?

Мои советские коллеги в трагическом поло-

жении : им надо постоянно решать неразрешимые нравственные проблемы. Неразрешимые — и все же какой-то выход обычно находится. Увы, слишком часто компромиссный. Как, например, в « деле о фразе ». Или не находится — как в другом моем деле, 1974 года, когда три слога « ка-ге-бе » — парализовали ужасом всех, даже храбрых.

Что же делать ? Соглашаться на компромисс, то-есть, на сделку свластью и в известном смысле — с совестью, или стоять насмерть ? Моральное требование « жить не по лжи » выдвинул человек исполинского характера, не ведающий ни слабости, ни компромиссов. Он уверен : « насилие держится только на лжи, а ложь может держаться только насилием ». И самый простой, легкий и доступный « ключ » к нашему освобождению : *« личное неучастие во лжи »*. « Наш путь : *ни в чем не поддерживать лжи сознательно...* Отступиться от этой гангреной границы ! » Не преподавать, не писать, не голосовать, не выступать, не читать газету, не слушать оратора — если каждое из этих действий связано с осознанной ложью. « Будут нас тысячи — и не управиться ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны ».

Так учит А.И. Солженицын.

— Такая программа, — скажет его воображаемый оппонент, — прекрасна и, на первый взгляд, даже осуществима. Но она провозглашена уже давно — в феврале 1974 года.

Прошло несколько лет, и по этому пути идут лишь немногие святые, какие бывали на свете и прежде, до этого манифеста. Призыв Солженицына остается гласом вопиющего в пустыне. Горько, однако — так. За три года нравственного переворота не случилось, несмотря на небывалый моральный авторитет писателя и воителя, провозгласившего эту программу действий, как единственно возможную. Почему же ничего не случилось? А вот почему. Солженицын в своем манифесте утверждал: тот, кто не пойдет по предуказанному пути, « так пусть и скажет себе: Я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло ». И еще чуть выше Солженицын от имени подобных ничтожеств так говорит: « Нам бы только не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки ». Итак, от мужественного противостояния лжи удерживают всех советских граждан трусость и корысть. Жалкие, презренные шкурники !

Так ли это? Ошибка Солженицына — в прямолинейности безоговорочного решения и в безжалостной крутости приговора. Разумеется, есть и трусы, и шкурники, их много. Но земля стоит не на них. За три года из двухсот пятидесяти шести миллионов не нашлось ни десятков тысяч, ни даже сотен, кто встал бы насмерть. Почему? Потому ли, что — « Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич » ? Нет, не потому.

И оппонент продолжает :

— Как быть школьному учителю литературы, который, оставшись на своем посту, еще чему-то хорошему ребят научит, а, решив « жить не по лжи » и дав себя выгнать, уступит место растлителю душ, карьеристу и тупице ? Как быть рядовому литератору — критику, историку литературы, переводчику ? Или — журналисту ? Все они создадут свою ответственность за русскую (или российскую) культуру. И что же : отойти в сторону, стать (как уже некоторые сделали) вахтерами, грузчиками, лишь бы « жить не по лжи ? » Или — ценой допустимых компромиссов — остаться участниками и делать свое дело ? И не переуступать разбойнику ни своих учеников, ни своих читателей ? В первом случае мы ублажим свою совесть, она будет чиста, но общее дело, культура нашего народа, пострадает. Во втором случае нам не миновать угрызений, но ученики и читатели, сегодняшние и завтрашние, будут в выигрыше. Что выбрать ?

Помните ли вы о том, что за спиной каждого порядочного, образованного, серьезного преподавателя, или профессора, или исследователя маячит бандит, жаждущий занять его место ? Заняв место, он уже не уступит его никому. И простоит за этой кафедрой или просидит в том кресле десятки лет. пачкая мозги молодым. Допустить их, всех этих бандитов ? Уступить без боя ? Так ведь от подобных уступок противник укрепляется.

Не будет ли подобное поведение означать сдачу всех позиций без боя ?

Собеседник-« солженицынист » возразит :

— Признав компромисс законной и нравственной формой поведения, не распахируем ли мы настезь ворота безудержным сделкам с совестью ? Ты совершаешь их якобы во имя культуры, просвещения, будущего, в действительности же они, эти сделки, просто помогают тебе сохранить привилегии, подняться по социальной лестнице, обеспечить себе безбедное существование... Не поощряем ли мы столь процветающую в стране демагогию, которая фразами о пользе общественной прикрывает собственную корысть ? Не санкционируем ли приспособленчество ? Не следует ли противопоставить безнравственной гибкости, уступчивости, политиканству — абсолютную бескомпромиссность, безусловную преданность истине, открытую защиту прав и правды ? Каждый новый компромисс — это новая ложь, это еще один шаг в сторону несправедливости. Необходимостью и даже полезностью компромисса может оправдать свое поведение любой член Ученого совета или писательских секретариатов, о которых шла речь. Они могут сказать, что место каждого из них готов занять бандит, уже стоящий наготове за его спиной. Даже какой-нибудь С. Михалков может заявить : он принимал участие в травле Пастернака потому, что, откажись он выполнять волю начальства, его бы про-

гнали, и на освободившееся место пришел бы отпетый негодяй с большой дороги. А так он, Михалков, все же ограждает общество от пришествия экстремистов, от совсем уж разнузданных погромщиков. Ведь каждый мелкий тиран оправдывает свои бесчинства тем, что его падения поджидает другой, более свирепый. У Крылова в басне «Лягушки, просящие царя» Юпитер поучает лягушек, недовольных пожирающим их журавлем

*Вам дан был царь ? — так тот был
слишком тих;
Вы взбунтовались в вашей луже,
Другой вам дан — так этот очень лих :
Живите с ним, чтоб не было вам хуже !*

Ибо на место журавля может притти только другой, обладающий еще бóльшей прожорливостью. Таков довод, к которому прибегает журавль : я тут для того, « чтоб не было вам хуже ». Однако не пора ли положить предел царству Журавля ? Ему не уступать надо, а противопоставить всеобщую решимость полного неприятия его порядков.

Трудно оппоненту опровергнуть этот нравственный максимализм; его позиция слабее, в ней нет привлекательной отчетливости. Он может только сказать :

— Я изнутри знаю наше общество : оно не созрело для перемен : на единство коллективных действий оно еще не способно. Его могла бы организовать для таких действий

политическая партия; партии нет. Общее направленное сопротивление могла бы возглавить литература; она полузадушена, ею манипулирует государство. И политическое, и художественное, и духовное самосознание народа рано или поздно возродятся, но наступит это не сразу и даже, вероятно, не скоро. Такому возрождению должна предшествовать деятельность просветительская; из подполья и только через Самиздат или Тамиздат ее вести можно, но это недостаточно эффективно. А ведь литература задушена только наполовину, все же она существует и — в пределах легальности — свое дело делает. И журналисты, которым нельзя сказать всю правду, все же кое-что говорят: о воспитании, о школе, об искусстве, о суде, и даже, косвенно, о политике. И учителя формируют людей, — вопреки планам, предписаниям и установкам. И университеты, несчастные, столько раз разгромленные университеты все снова возрождаются, и они воспитывают новых людей; и новое поколение — лучше прежнего: свободней и чище. Вот это и есть ближайшая наша задача: учить, воспитывать, просвещать. Чтобы участвовать в этой важнейшей, — да, собственно, единственно важной в наше время деятельности, — многим придется недоговаривать, кое в чем уступать, порой маневрировать — конечно, в пределах, допустимых общественной моралью. Когда имеешь дело с противником, маневр необходим. Куда красивее итти вперед, выпрямив-

шись во весь рост; но всегда ли можно так — грудью на пулеметы? И призывать к этому — не значит ли губить свою пехоту? А танков-то у нас нет, у нас одна пехота. Маневру учит и книга А.И. Солженицына «Бодался теленок с дубом»; всегда ли герой этой книги шел в рост на артиллерию противника? Теперь он может полным голосом говорить бескомпромиссную правду. А прежде, когда учил детей в школе? Когда печатал свои повести в «Новом мире»? Когда уступал Твардовскому, но не только ему? Когда писал то письмо от 25 апреля 1968 года против западных издательств, которое с удовольствием напечатала «Литературная газета»? («Да и письмишко невинное, да и в коммунистическую газету...» — комментирует автор; и, в разговоре с таможенниками, он же: «Шло письмо против разбойников издателей — в итальянскую коммунистическую газету. Зачем же вы его задержали?..» Это ли не маневр? «Прощался я от наперстного разговора, а за голенищем-то нож, и показать никак нельзя, сразу все порушится», — это ли не тактика и не лукавство?)

Необходимость маневра досадна, унизительна, но — куда деваться? Разве не маневрировал Пушкин, прибегая к заступничеству царя против цензоров, и обращаясь в цензуру, чтобы миновать царя? Разве он не лукавил, когда в «Послании цензору» 1822 года (А.С. Бирукову) с комической высокопарностью противопоставлял тупому цензору якобы просвещенного (а на самом деле

ненавистного Пушкину « врага труда ») Александра I :

*Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе ?
И, если говорить задумают о деле,
То славу русскую и здравый ум любя,
Сам государь велит печатать без тебя.*

Нет, Пушкин отнюдь не считал, что « плешивый щеголь » в самом деле умеет любить « славу русскую и здравый ум »; не даже в этом, оставшимся « самиздатским », стихотворении допустил тактический ход — маневр. Допустил — для пользы дела, для российского просвещения. Пушкин маневрировал с веселым озорством, следуя своим французским учителям, Вольтеру и Бомарше.

Франция XVIII века, Россия начала XIX века были ничуть не веселее сегодняшнего Советского Союза, но авторы « Магомета », « Женитьбы Фигаро » или « Гавриилиады » умели, не впадая в мрачное иконоборчество и пользуясь виртуозным остроумием, оставлять своих противников и дураках. Вся образованная Франция хохотала над маневром Вольтера, который ухитрился антикатолической, антихристианской трагедии « Фанатизм, или пророк Магомет » придать характер якобы антимусульманский и даже... даже посвятил ее тому, против кого она в первую очередь и была направлена: папе

Бенедикту XIV. «Быть может, Ваше святейшество — писал Вольтер в послании 1745 года — соизволит простить ту смелость, которую берет на себя один из самых смиренных, но и самых преданных почитателей добродетели, посвящая главе истинной религии сочинение, направленное против основателя секты ложной и варварской. Кому мог бы я с большим основанием послать сатиру на жестокость и заблуждения ложного пророка, как не наместнику и подражателю бога мира и истины? Да не прогневится Ваше святейшество, узрев у стоп своих и книгу, и ее автора. Осмеливаюсь молить у Вас защиты для нее, и благословения для него...» И что же? Бенедикту XIV пришлось ответить Вольтеру: «Несколько недель назад нам доставили от Вас Вашу прекраснейшую трагедию о Магомете, которую мы прочитали с отменным удовольствием... Нам остается послать Вам наше апостолическое благословение». И Вольтер отозвался благодарностью, в заключение которой он с издевательской смиренностью лобызал священные стопы отца церкви. Лукавый маневр? Разумеется. Но трагедия, против которой враги Вольтера уже мобилизовали все свои силы («Сочинить такую пьесу мог только негодяй, достойный сожжения» — писал прокурор Жоли де Флери де Морвилю 13 августа 1742 года), оказалась вне нападок, ее даже разрешили к постановке и она сыграла огромную роль в борьбе просветителей против феодальной тирании и католической

церкви. Вся Франция повторяла заключительный стих трагедии, слова Магомета :

*Mon empire est détruit, si l'homme est
tesonni.*

Власть кончилась моя, коль признан человек.

Известно, в какой степени Вольтер способствовал изменению французского общества, которое осуществилось в революционные годы, после падения Бастилии. Неужели что-нибудь подобное оказалось бы возможным, если бы он и несколько десятков его современников погрузились в самоусовершенствование, отвечая на насилие королевского режима и католических трибуналов пассивно-христианским «отказом от лжи»? Вольтер и его союзники поняли, что дело не только в нравственном усовершенствовании отдельного человека, а в подготовке к революции всего третьего сословия. Это понял в ту пору даже Руссо, создатель не только учения о личности, но и «Общественного договора».

На все эти аргументы собеседник ответит, цитируя Солженицына :

— Общество состоит не из «социальных слоев», а из отдельных людей. Ключ к общественным проблемам — учение о личности. Лучшие из них стремятся «очиститься душой и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого». И далее :

« Обществу столь порочному, столь загрязненному, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством, радостным и изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки как игольное ушко — на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночке, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву » *.

Слово опять оппоненту :

— Такую мысль — исправление общества путем духовного самоусовершенствования каждого из отдельных его членов, каждого человека в отдельности — выдвигали и прежде, и до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. А.И. Солженицын исходит из того положения, что общество состоит не из классов, а из отдельных личностей. Возможно. Он со страстью ветхозаветного пророка обличает марксистскую теорию общества. Возможно, что он прав. Он решительно отвергает трактовку истории как борьбы общественных классов. Однако, как ни выродилось марксистское учение, как ни обветшало, — оно является признанной научной теорией (не копеечная вульгаризация, а истинный марксизм). Я не говорю — верной, я говорю

* « Образованщина ». В сборнике « Из под глеб », стр. 253-254.

— научной, основанной на изучении экономики и закономерностей смены одной общественно-экономической формации другой. Можно ли противопоставить теории — интуитивную убежденность? науке — веру? разуму — чувство? Ошибочность социального учения исторического и диалектического материализма (если все эти слова принимать всерьез) необходимо доказать. Марксизм следует опровергнуть не отвращением к нему как якобы господствующей идеологии в Советском Союзе, но доводами современной науки: социологии, истории, философии, политической экономии. В этом чисто научном споре религия участвовать не может, — как не может служить аргументами ни поэзия, ни музыка, сколь бы глубоко они не выражали сущность человеческого духа.

Так вот: программа нравственного — и только нравственного — противостояния лучших людей коммунистическому режиму опирается на представление общества как арифметической суммы личностей. Такое представление в Советском Союзе мало у кого встречает сочувствие; не будем преувеличивать число православных и преуменьшать число материалистов. Последних надо еще переубедить, но сделать это при помощи восклицаний, даже самых темпераментных, или инвектив, даже самых страстных, немислимо.

Сторонники А.И. Солженицына не согласятся с тем, что научную теорию нельзя опровергать верой, потому что, с их точки

зрения, глубоко ошибочно и вредно навязывать истории наши примитивно рационалистические представления («...философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно — и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу». Нобелевская речь 1970 года) — история творится не по правилам элементарной арифметики, ее «умом не понять» и подгонкой под простую логику не исправить. Может быть, ответит оппонент, может быть, но и это положение требует не деклараций, а доказательств. Утверждение А.И. Солженицына, что марксизм более не существует, самообман. В своей Вашингтонской речи 30 июля 1975 года он заявил: «...марксизм упал так низко, что он скатился к анекдоту, он скатился в человеческое презрение. У нас просто уже никто мало-мальски серьезный, и даже студенты и школьники, уже серьезно, без улыбки, без насмешки о марксизме не говорят». Чем это утверждение категоричнее, тем опаснее оно, как опасна всякая недооценка противника. А.И. Солженицын знает лишь тех, кого он знает; для глобальных выводов подобного рода у него нет ни материала, ни даже логических оснований. Пожалуй, даже и в этом случае интуиция заменяет научное знание.

Но ведь на стороне Солженицына остается важнейший аргумент: отказ от всякого соучастия, быть может, сулит общее возрождение, национальный взлет — где-то в дальнем будущем? А участие — пусть и не преступ-

ное, но обязательно хоть в малой степени компромиссное, — не укрепляет ли режим, не увековечивает ли нынешнее нравственно нетерпимое состояние общества? И этот последний довод — опровержим ли он?

« ДЕЛО О ФРАЗЕ ». ОКОНЧАНИЕ

Вступительную статью, содержащую злополучную « фразу », меня заставили переделать : политически вредный текст пришлось заменить другим, навязанным моей статье и, наверное, заметным даже невооруженному глазу — настолько он чужд автору, непохож на все, что предшествует и на все, что следует ниже :

Было :

« В советскую пору происходит удивительный процесс, когда ряд крупнейших поэтов становятся профессиональными переводчиками. Это можно сказать о Б. Пастернаке, С. Маршаке, А. Ахматовой, Н. Заболоцком, Л. Мартынове, П. Антокольском (если ограничиться только старшим поколением). Общественные причины такого процесса понятны : лишенные возможности до конца высказать себя в оригинальном творчестве, русские поэты — особенно между XVII и XX съездами — говорили со своим читателем устами Гете, Орбеллиани, Шекспира, Гюго. Так или иначе, 30-е, 40-е и 50-е годы оказались для развития поэтического перевода в СССР сказочно плодотворными. Это искусство поднялось у нас на такой уровень, какого нет ни в одной стране мира... »

Стало :

« В новейшее время многие крупные поэты стали переводчиками-профессионалами, а профессиональные переводчики (...) поднялись до очень высокой поэтической культуры. Переводная поэзия стала неотъемлемой частью поэзии русской, сегодня даже и непредставимой без этого — количественно очень значительного — ее крыла.

Одним из важнейших стимулов для развития переводческого творчества в СССР явился многонациональный характер советского государства и советской литературы — взаимообмен поэтическими ценностями стал естественной формой бытия нашей литературы, ее законом. Только после Октября достоянием широкого русского читателя стали богатые древние литературы многих народов СССР. А.М. Горький еще в 1929 году отмечал в письме к А.И. Ярлыкину, что « литература всего легче и лучше знакомит народ с народом... Вывод этот подтверждается тем, что нигде в западноевропейских странах не переводится столько книг с чужих языков, как у нас в Союзе Советских Республик » (Собр. соч., т. 30, стр. 115). В советскую пору искусство поэтического перевода поднялось у нас на такой уровень, какого нет ни в одной стране мира... »

Текст для столбика « Было » я выписываю из книги, озаглавленной « Мастера русского стихотворного перевода », том I, переплетенной в такую же синюю ткань — внешне она неотличима от нового варианта.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛИЛИПУТАХ И ГУЛЛИВЕРЕ

Мы никогда не простим ближнему того зла, которое мы ему причинили.

Старинное изречение

Дня через три-четыре после Ученого совета ко мне неожиданно пришел молодой человек, представился типографским служащим и, протянув небольшой пакет, сказал :

— Возьмите, вам это нужнее.

То были оба моих тома в их первоначальном виде, — их уничтожили, все 25 тысяч, и я бы их, может быть, никогда не увидел, если бы не безымянный доброжелатель. Пусть читатель сравнит несколько мест.

Итак : начисто исчезло имя Николая Гумилева — этого русского поэта не было. Исчезли из антологии, а следовательно из статьи и примечаний, Владислав Ходасевич и Владимир Жаботинский. В статье подверглись изменению те места, где давалась оценка переводческой деятельности Пастернака. Вот как происходила эта переработка (слова, выделенные курсивом, выброшены из статьи) :

« Лирический поэт большой индивидуальной силы и резко выраженного своеобразия, он был в то же время профессионалом поэтического перевода, *работавшим с невиданной продуктивностью...* некоторые критики, близкие к школе Брюсова — Лозинского, вообще отказывались причислять переводы Пастернака к переводам, считая их формой бытия оригинальной поэзии Пастернака. Однако *наряду с утратами в творчестве*

Пастернака содержатся великие достижения : нередко из под его пера выходили переводные стихи, обладавшие всеми достоинствами живой русской поэзии и уже потому воскрешавшие в глазах читателей престиж иностранного гения... »

Было :

...великий лирический поэт, став переводчиком-профессионалом и ничуть не отказавшись от свойственного ему всепобеждающего и абсолютно индивидуального лиризма, создал громадные ценности в области переводной поэзии.

Стало :

...большой лирический поэт, став переводчиком-профессионалом и ничуть не отказавшись от свойственного ему лиризма, создал подлинные ценности в области переводной поэзии.

Казалось бы, какое начальству дело до оценки Пастернака как переводчика? Вот если бы я привел те строки, о которых упоминал прежде (« Из Гете как из гетто говорят Обугленные губы Пастернака »), тогда оно могло бы иметь ко мне претензии. А так?! Нет, они, наши хозяева, никогда не забыли идиотской травли 1958 года, которой они подвергли лучшего из наших лириков (« Мы никогда не простим ближнему того зла, которое мы ему причинили »), а потом и стихов, которыми он их припечатал :

*Культ личности забросан грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще попрежнему в ходу.*

*И каждый день приносит тупо,
Так, что и правду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свинообразных рож...*

Так вот, не простив ему ни своей травли, ни его стихов, они мстили ему, как лилипуты когда-то мстили Гулливеру: сам он не «великий», а «большой», лиризм его — не «всепобеждающий и абсолютно индивидуальный», а просто — «лиризм», и создал он не «громадные ценности» а — «подлинные». Цитату же из статьи поэта Андрея Вознесенского о Пастернаке-переводчике, лилипуты просто выбросили; вот кусочек из нее:

«Поразителен масштаб Пастернака-переводчика. Такого ни русская, ни мировая поэзия не знали, — тома, тома... Просветительная его роль велика. После себя он оставил школу перевода-подвига. Судьба его сводит на нет миф о поэте с пастушеским интеллектом. Поэт денно и ночью, как в саду работал, на своем горбу нес нам человеческую культуру, как нашу культуру — человечеству. При чем это было на такой высоте и самоотдаче!»

Нам бы гордиться — и тем, что он сделал для прославления России, и тем, что мы были

его современниками. Мы же только и думаем, как бы его сократить, как бы « великого » снизить до « большого », а потом уж и « большого » — до среднего, до малого, до...

До капитана Лебядкина.

Поэт Илья Сельвинский, впрочем человек весьма достойный, заклеил себя сам выступлением против Пастернака во время « проработки » в Союзе писателей. Когда-то он восхищался им и даже называл Пастернака одним из своих учителей — рядом с Пушкиным. После той его постыдной речи родилась эпиграмма, которой мне хочется закончить рассказ о лилипутах и их мести Гилливеру :

НА ИЛЮ СЕЛЬВИНСКОГО

*И всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака.*

*...В жизни я не вбил ни одного гвоздя.
И. Сельвинский*

*Все позади — и слава, и опала.
Остались зависть и пустая злость.
Когда толпа Учителя распяла,
И ты пришел забить свой первый гвоздь.*

Я долго пытался воевать. Отстаивал переводы В. Ходасевича, твердя, что в рекламной аннотации, разошедшейся огромным тиражом, — она входит в бесплатный издательский проспект, — стоит :

« Переводная поэзия начала XX века будет представлена произведениями Бунина, Бальмонта,

Сологуба, Брюсова, Анненского, Ходасевича, Блока и др. Значительное место займут в сборнике мастера советского перевода : Пастернак, Заболоцкий, Цветаева, Тынянов, Лозинский, Маршак, Ахматова и др. »

Как же мы, в проспекте пообещав Ходасевича, его в антологии не напечатаем? Ведь посыпятся письма возмущенных читателей, заказавших и купивших книгу на основании этой аннотации.

— Ничего, — отвечали мне, — не волнуйтесь. Пусть лучше мы получим десяток-другой читательских жалоб, чем опубликуем эмигранта Ходасевича с его переводами из еврейско-сионистских поэтов. Да ведь и вы-то что натворили, как могла пройти в « Проспекте » эта аннотация? Какой список вы даете — эмигрант Бунин, декадент Анненский, эмигрант Ходасевич... Только Брюсов да Блок поминаются в наших учебниках. А второй список — « мастеров советского перевода »? Он еще хуже: изменник Пастернак, лагерник Заболоцкий, эмигрантка Цветаева, эстет Лозинский, зачинатель и классик русского формализма Тынянов, внутренняя эмигрантка и автор « Реквиема » Ахматова, еврей Маршак... Да вы этим своим списком только подтверждаете справедливость проработки, которой вас подвергли!

Так — или почти так — говорили мне (порой с циничной усмешкой, словно не от себя, а цитируя кого-то, кто бы так сказал в предполагаемых обстоятельствах) ответственные чиновники в издательстве.

Еще я сражался за Гумилева. Я всем навязывал справку, которую долго составлял и которая мне казалась неотразимой. — Вот, глядите, —

уверял я начальников, — во втором томе Краткой Литературной Энциклопедии о Гумилеве есть большая статья, и там даже сказано : « Некоторые черты творчества Г. — яркая декоративность изображения, поэтическая ясность языка, романтическая театральность жеста, волевой напор интонации — оказали известное влияние на творчество советских поэтов... », и ведь это было так недавно, четыре года назад, в 1964 году, что с тех пор изменилось? (Я-то понимал, что изменилось; например, эту статью написал для КЛЭ А.Д. Сиявский, во время « дела о фразе » отбывавший лагерный срок — об этом я помалкивал); есть переводы Гумилева в сборнике « Зарубежная поэзия в русских переводах », вышедшем в Москве только что, в 1968 году (впрочем, там составители случайно перепутали и под именем Гумилева опубликовали чужой перевод баллады Франсуа Вийона); в книге П. Громова « Блок, его предшественники и современники », опубликованной в том же самом ленинградском « Советском писателе » только что, в 1966 году, стихи Гумилева разбираются подробно, на двенадцати страницах, с 538-ой по 550-ую, и не переводы, а собственные его стихи; во всех учебниках и хрестоматиях Гумилев имеется; в университетском пособии « Литература XX века » ему отведено 11 страниц. В книге « Теория стиха » 1968 года примеры из Гумилева приведены на страницах 62, 92, 93, 101, 225... Чего это вы на него взъелись? Он погиб в 1921 году и ничего нового совершить не мог. В той же справке я цитировал характеристики, данные Гумилеву в упомянутой книге Павла Гомова :

« ...Гумилев как поэт именно в эти годы чрезвы-

чайно вырастает, становится крупной художественной величиной... » (стр. 539. Речь идет, кстати сказать, о сборнике « Огненный столп », 1921 !) И еще :

« ...новое художественное качество,двигающее Гумилева в большую русскую поэзию, оказывается сопряженным с чувством трагической тревоги... »

« Такие гумилевские шедевры, как "Память" или "Заблудившийся трамвай"... »

Все эти цитаты — из книги 1966 года. Значит, два года назад было можно — а теперь нельзя? Недавно все это было правильно, а теперь стало неправильно? Что случилось?

Замечу, что не только мне одному оказалось нельзя, но и книгу Ефима Добина « Творчество Анны Ахматовой », выходящую в том же ленинградском « Советском писателе », всю искарежили — даже, кажется, уничтожили весь десятитысячный тираж, а потом напечатали другой, лишь бы имя Гумилева не пачкало ее страницы; поэтому, например о руководстве « Цеха поэтов », во главе которого стояли « синдики » Городецкий и Н. Гумилев, в книге Добина читаем : « Во главе "Цеха" стоили три "синдика", в том числе Сергей Городецкий. Они торжественно открывали и закрывали заседания... » (стр. 30). Три — это неправильно, синдииков было два; но ведь совсем уж нельзя было написать : « ... два "синдика", в том числе Сергей Городецкий ». Какой срам !

Да и у меня выбросили переводы Гумилева из корректуры другой книги, — двуязычной антологии « Французские стихи в переводе русских поэтов »; и сколько я не взывал к совести и

логике, ничего не помогло. А жаль! Я там впервые, по случайно попавшейся мне рукописи, хотел опубликовать гумилевский перевод «Сонета» Рембо о цветных гласных. Несколько месяцев спустя мне с горечью говорил академик В.М. Жирмунский, что в еще только задуманной статье об Анне Ахматовой для большой серии «Библиотеки поэта» ему заранее запретили упоминать имя Гумилева. «Как же мне написать, — сетовал Виктор Максимович, — за кого Ахматова вышла замуж? За какого-то безымянного руководителя акмеизма?»

К тому же, твердил я всем и каждому, в моих «Мастерах русского стихотворного перевода» Гумилев фигурирует своей самой безобидной стороной: здесь он — переводчик Теофиля Готье и французского фольклора; какой идеологический вред от песни «Мальбрук в поход собрался»?

Все это оказалось впустую. Никто меня не слушал, моих справок — не читал: «Обойдемся без Гумилева!» А ведь изъятие его имени, например, из книги Е. Добина, государству обошлось во много тысяч рублей!

Ходили разные слухи. Будто бы высокое начальство узнало о предсмертном стихотворении Гумилева, в то время появившемся в кругах интеллигенции; а там есть такие строки:

*Я не трушу, я спокоен,
Я, моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным;
Знаю, сгустком крови черным
За свободу я плачу.*

Что тут могло задеть начальство? Накануне расстрела — можно ли ожидать лучезарных стихов? А что он палача назвал палачом, так он ли виноват? Эта гипотеза не казалась мне правдоподобной; впрочем, кто-нибудь, прочитав эти страшные строки, мог вспомнить о судьбе Гумилева и запретить его, как жертву революционного трибунала, расстрелянного безо всяких оснований; стоит ли напоминать о тех кровавых днях?

Говорили и о другом. Накануне «дела о фразе» в 1967 году на Западе появилась книга И. Одоевцевой «На берегах Невы», где писательница вспоминает, как она, сидя в гостях у Гумилева, ее учителя и друга, будто бы случайно открыла ящик стола, набитый английскими банковскими билетами, да еще он будто бы показывал ей револьвер, предназначенный... И. Одоевцева пишет:

«На вопрос: был ли Гумилев в заговоре или он стал жертвой ни на чем не основанного доноса, отвечаю уверенно: Гумилев бесспорно участвовал в заговоре.»

Да, я знала об участии Гумилева в заговоре. Но я не знала, что это был заговор профессора Таганцева...» (стр. 430).

Затем следует эпизод с ящиком письменного стола, набитого кредитками:

«...И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки» (стр. 431).

Ну, а в заключение — диалог. Гумилев говорит своей гостье, почти двадцатилетней Ираиде Гейнике (позднее — писательница Ирина Одоевцева),

девчонке с большим черным бантом, следующее :

« — Забудьте, все, что я вам сказал... Поняли ?

Я киваю.

— И клянетесь ?

— Клянусь.

Он облегченно вздыхает.

— Ну, тогда все в порядке. Я ничего вам не говорил. Вы ничего не знаете. Помните — ровно ничего. Ни-че-го ! А теперь успокойтесь: и вытрите глаза...

И все же с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков » (стр. 432).

Вот этой полуфантастической истории (а может быть Гумилев хвастнул перед девчонкой с черным бантом ? А может быть Ирина Одоевцева не совсем точно передала впечатления Ираиды Гейнике ?) оказалось достаточно, чтобы лишить русскую литературу не только поэта, но и переводчика Гумилева. Чтобы еще раз казнить его. Словом, И. Одоевцева сделала то, чего не мог никто за почти полвека : дала вещественное, во всяком случае свидетельское, доказательство реальной вины Гумилева, он оказался действительным участником террористического заговора — благодаря ей. Книга И. Одоевцевой начала второе следствие по делу Гумилева. Надо быть осмотрительным — даже здесь, на Западе, где цензуры нет; надо помнить о возможных последствиях. Они же, как видим, неисчислимы. И особенно досадны, когда поручиться за достоверность факта нелегко. Я уж не говорю об ином аспекте этого странного эпизода : предположим, что все правда, что Гумилев не позировал перед девочкой, что деньги у

него были «для спасения России»; но ведь он взял с нее клятву — молчать. Кто же с нее эту клятву снял? Время? Как видно, Гумилев напрасно «облегченно вздохнул» — подвела его ученица. Полвека молчала, а потом подвела.

Возможная вина Одоевцевой не делает историю с «фразой» более осмысленной. Она все равно близка пьесе абсурдного театра: внешне всё похоже на жизнь — интонации, позы действующих лиц, их жесты, — но диалог, если только вслушаться в него, лишен всякого смысла. Помните?

— Я могу купить перочинный нож для своего брата, а вы не можете купить Ирландию для своего деда.

— Ходят ногами, но согревают себя электричеством или углем.

— Можно сесть на стул, если стула нет.

Глава пятая

« РОМАН ОДНОГО РОМАНА »

« ...он несказанно терзался, видя, как гибнут страна и народ, которые он любил. На своих поздних портретах он походил на мученика, а им-то как раз он не хотел стать ».

Томас Манн. История « Доктора Фаустуса ». Роман одного романа. (гл. XIV).

Незадолго, примерно за год до « дела о фразе », я задумал большую книгу о русском стихе и, как принято в советской практике, подал в издательство заявку : прошу включить в план опубликование моей книги « Искусство поэзии », у которой будет примерно такой-то объем и которую я представлю в редакцию тогда-то. Заявку рассмотрели очень быстро. В « Советском писателе », с которым я имел дело, такие предложения обсуждаются Редакционным советом, состоящим из литераторов; имя автора было достаточно известно, труды его тоже, возражений не возникало, и я получил официальный ответ :

27 июня 1967 г.

Уважаемый Ефим Григорьевич!

Мы рассмотрели и одобрили Вашу заявку на книгу «Искусство поэзии» (название условное).

Просим Вас приступить к работе с тем, чтобы представить рукопись в издательство в марте 1968 году. В договорные отношения с Вами мы сможем вступить в начале 1968 г.

Гл. редактор Смирнов М.М.

Все шло нормально и размеренно; я спокойно писал книгу, оказавшуюся более трудной, чем предполагалось заранее, — многое надо было пересматривать и заново исследовать. К марту 1968 года я ее не кончил, продолжал писать и летом, и осенью, а тут, в октябре, грянуло «дело о фразе». Я встал — как поезд, остановленный на полном ходу стоп-краном: нужно было кончить, но все изменилось — и вокруг меня, и внутри. Читатель помнит имя Михаила Михайловича Смирнова; это тот самый главный редактор ленинградского «Советского писателя», который был уволен с работы из-за «фразы» (Кондрашов в своем доносе в обком партии писал: «Никакими доводами не могу оправдать поступок главного редактора отделения издательства тов. Смирнова, подписавшего в декабре 1967 года рукопись Эт-кинда в набор, не прочитав ее»). Письмо, от имени издательства заказавшее мне книгу, подписано М.М. Смирновым, и это — мой единственный документ (договора не было, просто я о нем не беспокоился). Нет М.М. Смирнова — и, значит, нет фактически ничего. Нести рукопись в издательство «Советский писатель» сейчас, после

«дела о фразе», то есть после заседания бюро ленинградского обкома, после секретариата Союза писателей СССР, после увольнения стольких сотрудников «Библиотеки поэта» и всего издательства, после Ученого совета в институте имени Герцена — можно ли? И я решил ждать.

Постепенно, в 1969 году, «Материю стиха» — (так она теперь называлась) — я окончил. Книга получилась большая — около шестисот машинописных страниц. Для меня «Материя стиха» была важным эпизодом в моей научной и литературной жизни: на ее страницах я высказал многие мысли, которыми давно хотел поделиться; к тому же я знал, что в рукописи содержится новое, в особенности в методах анализа стихотворений и в истолковании, в интерпретации даже известных вещей. Была в моей книге и полемичность, которая требовала скорого издания: реплика в споре стареет, — «дорога ложка к обеду». В журналах, — и советских, и западно-европейских, — шли дискуссии о структурализме, и «Материя стиха» была проникнута жаром этих дискуссий: через год, два, три жар остынет, а полемичность окажется устарелой, если не старомодной.

Автор-оптимист рвался опубликовать свою книгу как можно быстрее. Автор-скептик, близнец оптимиста, задерживал его: — Спокойствие, выдержка, терпение, — твердил скептик, — не бросайся очертя голову, погубишь рукопись. Жди. Укрепляй тылы и фланги. Что ты можешь представить своим противникам? Одну только рукопись? Да ведь ее съедят и не поперхнутся. Тебе нужна защита, и такая, чтобы не только Кондрашов, но и Лесючевский пробить не смогли. Пусть

в их руки попадет рукопись, уже закованная в прочную броню. Посмотрим, что они тогда запыют.

Скрепя сердце, порывистый автор-оптимист согласился с мудрым скептиком и попросил в Союзе писателей обсудить рукопись, пока никто ее не видел: это обсуждение при сильных, очень авторитетных участниках могло стать достаточно надежной броней.

Оно состоялось, и даже довольно скоро, 5 июня 1970 года, при большой активности ленинградских критиков и исследователей всех трех поколений: старшего, среднего и младшего! Старшее было представлено академиком В.М. Жирмунским, виднейшим знатоком русского и западноевропейского стиха, да и вообще самым, пожалуй, крупным из живших в то время филологов; профессором Лидией Яковлевной Гинзбург, ветераном Института Истории Искусств, автором знаменитой книги «О лирике» и многих других сочинений, близких к предмету моих изучений; Тамарой Юльевной Хмельницкой, вышедшей из стен того же Института, где в 20-х годах родился и расцвел русский формализм, широко известным критиком, специалистом по творчеству Андрея Белого; профессором Борисом Яковлевичем Бухштабом, учеником и сотрудником Тынянова и Эйхенбаума, автором исследований о Тютчеве, Фете, Некрасове, о теории русского стиха. Из поколения более молодого, шестидесяти- и пятидесятилетних, в обсуждении приняли участие критик и театровед Борис Осипович Костелянец; поэт-переводчик, историк французской литературы, теоретик перевода Владимир Ефимович Шор, историк поэзии и критик Адриан

Владимирович Македонов, автор книг о Твардовском и Заболоцком. А из молодых — критики Галина Михайловна Цурикова, Адольф Адольфович Урбан, Александр Алексеевич Нинов (автор книги «Бунин и Горький»), — последний и председательствовал. Споров на обсуждении не было — представители всех трех поколений одобрили «Материю стиха» и хотели видеть ее изданной. (Приложение 2.)

Две недели спустя, 23 июня, рукопись обсуждали в Академии наук — в секторе стелистики Института русского языка. (Приложение 3.)

Теперь могли считать себя удовлетворенными не только автор, но и дипломат. Что же касается дискуссии в Союзе писателей, то дело было не только в именах ораторов, и не только в общем выводе, но и в том, как каждый из них оценил рукопись. Конечно, Кондрашову и Лесючевскому она была враждебна независимо от того, что в ней написано, интересна она для читателя или нет. Но отвергнуть ее стало трудно: все-таки броня солидная!

— Ну, как? — спросил автор-оптимист автора-пессимиста, который придирчиво читал все эти обширные материалы. — Ну, как? Достаточная ли теперь у нас защита? Можно ли рискнуть?

Автор-скептик молчал, погруженный в раздумия. Он казался неуверенным.

— Ты все молчишь? — настаивал нетерпеливый оптимист, — Посмотри: нет в Советском Союзе больших научных авторитетов в нашей области нежеле Жирмунский, Лидия Гинзбург, Бухштаб; нет более тонких и проницательных критиков поэзии, чем Хмельницкий, Костелянец и

Македонов, Цурикова и Урбан; да и с лингвистической стороны мы застрахованы — кто лучше разбирается в теории поэтической речи, чем ученые из Института русского языка Академии Наук? По-моему, рукопись окажется вне удара. Издательству трудно даже найти специалиста для рецензирования: все уже высказались. А ты боишься?

— Боюсь, — отвечал автор-скептик. — Ты, братец, идеалист, ты и не догадываешься, что могут — нет, не сказать, а решить и сделать. Ты серьезно думаешь, что кого-нибудь и в самом деле интересует мнение авторитетов? Они авторитеты для тебя, а не для твоих противников. Заметил ли ты, что все или почти все твои ораторы — из формалистов? И Лидия Гинзбург, и Бухштаб, и Хмельницкая, и даже Жирмунский. Понимаешь ли ты, что можно сказать про обсуждение? «Рукопись Эткинда возвращает нас к худшим временам эстетско-формалистической критики, когда о классовом анализе не задумывались, когда в художественной форме видели материал, из которого при помощи всяких «приемов» делается «художественная вещь», когда филологи заявляли о своем безразличии к цвету «флага над крепостью»... Эткинд унаследовал от формалистов их воинствующую аполитичность, которая оборачивается буржуазностью, их непонимание партийности и народности литературы...» И пошла-поехала! Если они всего этого не скажут тебе в глаза, а скажут друг другу — тебе будет легче? А ты говоришь — авторитеты! Все они старые формалисты, эти твои авторитеты, и, кто надо, об этом помнит.

— А Костелянец, а Шор? Виктор Левин и Юрий Левин? Они другого круга, другой школы.

— Это верно, другой школы. Но они, как почти все остальные, евреи. Трудно ли сказать, что это одна теплая компания, что евреи поддерживают друг друга?

— А Македонов? Уж он-то и не формалист, и не еврей.

— Македонов — лагерник. Ты думаешь, они простили ему, что он восемнадцать лет трубил в лагерях? Что он близкий друг Твардовского? Что это с ним Твардовский встретился на станции Тайшет и что это о нем — целая глава в поэме «За далью — даль»? Помнишь — «зубов казенных блеск унылый?»

— Ты слишком осторожен. Все ж таки сейчас 1970 год, а не 1950-ый.

— Ты, кажется, уже забыл «дело о фразе». Ведь оно тоже было не в 1950-м году, а почти вчера.

— Но ты хотел защиты, хотел надежной брони. На такую мы еще недавно и надеяться не могли, да и лучшего у нас ничего не будет. Я считаю, пора делать первый ход.

— Что ж, делай свой ход, — мрачно заключил автор-скептик. — Только помни: я ни за что не ручаюсь.

И вот, я сделал ход — как говорится, е-два, е-четыре: отнес в издательство «Советский писатель» рукопись «Материю стиха» в двух больших папках. В третьей, тоненькой папке, лежали официальные, снабженные подписями и печатями, протоколы обоих обсуждений. А также мое сопроводительное письмо.

Все это я сдал молоденькой секретарше, которая посмотрела на меня с сочувствием (мне казалось, что для издательства я — злодей, погубивший лучших его сотрудников, я не мог избавиться от угрызений совести, но там смотрели на все иначе, разумнее) и спросила, не хочу ли я поговорить с начальством. Новым главным редактором был Анатолий Чепуров, стихотворец лет пятидесяти, который от своего предшественника отличался полной серостью и столь же полным отсутствием собственных суждений. Я знал его давно: ничтожный чиновник, он пользовался благосклонностью обкома — за неизменную готовность. Если я кого-нибудь боюсь, то не бандитов, не откровенных погромщиков, не прямых врагов — те не скрывают намерений; а боюсь я бездарных писателей, особенно поэтов. Они полны вовнутрь загнанной злобы, которая в подходящий миг может гейзером вырваться наружу. А. Чепуров достаточно грамотен, чтобы понимать свое литературное бессилие и то, за какие заслуги его поощряют: издают книгу за книгой, печатают статьи о его творчестве, пышно отмечают его юбилеи. И, чем больше его издают, чем чаще печатают его портреты — кругло-сытая, лишенная возраста, мысли, чувств, гладкая физиономия в роговых очках, создающих иллюзию выражения лица, — чем льстивей хвалят его в рецензиях, тем он сам становится злее: на меценатов, которые его возвышают, чтобы использовать для своих нужд; на самого себя, неспособного подняться до уровня их похвал и состязаться со своими соперниками, которых никто не возвышает, но которых коснулся перст божий — таковы Глеб

Семенов, Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Леонид Агеев; на этих самых соперников, которые к тому же смеют быть талантливыми; и на читателей, которых ни портретами, ни юбилеями, ни рецензиями не купить, и которые не скрывают своих крамольных пристрастий. Вот такого человека и назначили главным редактором (а позднее — руководителем всех писателей Ленинграда, их первым секретарем!), он подошел на этот пост, потому что обладал всеми чертами, необходимыми идеальному редактору: был недоброжелателен до озлобленности, завистлив, крайне учтив, глух к художественному слову, в теориях несведущ и при этом даже лощен.

Я зашел к нему. Окруженный папками, бумагами, телефонами, он раздувался от важности, но, нисходя с бюрократического Олимпа, наклонялся ко мне с подчеркнутой доступностью. За рукопись поблагодарил, обещал не тянуть ее прохождения: «Мы только пошлем ее на рецензию как можно скорее, надо выбрать хорошего и умного человека. Только ведь сейчас лето, июль, кого найдешь в городе? Да, да, я потороплю, я послежу, я непременно...»

На прощанье он как бы вскользь посоветовал съездить в Москву и наладить отношения с Лесючевским: «Ты Николая Васильевича рассердил, не знаю чем... Он ждет от тебя примирительных шагов».

Мой первый ход был сделан. Будем ждать ответа: как сыграют черные?

Черные бездействовали. Прошло полгода. Противник молчал. Прошел еще месяц. В феврале 1971 года я получил почтой пакет от издательства

(находившегося от моего дома в десяти минутах ходьбы). В пакете была часть рукописи « Материя стиха » — два экземпляра первого тома и один второго. Где остаток моей рукописи ? Почему мне вообще принесли пакет ? Почему нет даже разъясняющей записки ? Признаться, я ждал от противника любого хода, не обязательно « е-семь, е-пять », но не этого. Еще месяц я обождал (вдруг да что-нибудь мне соблаговолит объяснить ?) и в марте послал Г.Ф. Кондрашову письмо. Нет, это не было вторым ходом белых, это был призыв к противнику — сделать черными первый : я пытался насильно засадить его за шахматную доску. Я пользовался тем, что мой противник был обязан играть, поскольку я свой первый ход сделал; по советскому закону издательство, получившее рукопись, обязано в определенный срок ответить согласием или отказом, иначе рукопись официально считается... одобренной. Вот почему Кондрашов вернул мне мою через семь месяцев — останься она у него, пришлось бы за нее платить гонорар. Только того не понял Кондрашов, что вернуть рукопись — не значит ее отвергнуть : последнее требует мотивировки, значит — рецензии. А рецензия, это и есть тот ответный, ход, к которому я хотел его принудить. (Приложение 4.)

Одновременно с письмом я послал в издательство возвращенную мне некомплектную рукопись. Через некоторое время, испросив аудиенции у Кондрашова, я, тоном уже не слишком вежливым, потребовал :

первое — моей полной рукописи;

второе — отзыва на нее, то-есть официальной рецензии.

Мне повезло, что Кондрашов потерял часть рукописи. Это позволило мне наседать на него и его обличать. Иметь дело с этим чиновником было еще труднее, нежели с Чепуровым. Унылое, длинное-длинное, серо-скучное лицо с мертвыми глазами было неподвижно; на нем не читалось ничего. Хоть бы ненависть, хоть бы отвращение, хоть бы скука... Даже скуки в нем не отражалось. Своим тусклым голосом он нехотя, с абсолютным безразличием произносил какие-то дежурные тирады, словно читал их из передовицы позавчерашней газеты, и с таким же безразличием замолкал. Все же ссылками на юристов мне удалось довести до его дремлющего сознания, что, если не будет рецензии, я подам на издательство в суд, а суд признает рукопись принятой и заставит его, Кондрашова, уплатить гонорар. Это он понял.

Дней через десять мне стало известно, что Кондрашов меня послушался и дал «Материю стиха» кому-то на рецензию. А еще неделю спустя узнал, кому. Кондрашов своего рецензента засекретил, чтобы никто на него так или иначе не повлиял; к тому же он сам, лично он, выбрал к кому обратиться — и сделал это, минуя даже главного редактора, может быть и ему не вполне доверяя. Все-таки я довольно скоро узнал, что моя рукопись — у Юрия Андреева, молодого волка, прославившегося незадолго до того критической статьей в «Литературной газете» о сталинистском романе Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?»; эта статья свидетельствовала о либеральных взглядах критика, если бы не была заказана ему начальством, для которого Кочетов с его романом-памфлетом был чересчур откровенен. Ю. Андреев

казался мне удачливым карьеристом; ждать от него было нечего, кроме разгрома. Я мог бы заранее написать его рецензию вместо него : в рукописи нет партийного подхода к литературе, нет народности, преобладают примеры из антиреволюционных поэтов, нет современных советских авторов, методология порочная; его, Е. Эткинда, нельзя подпускать к читателям, — он их испортит, привьет им идеализм, ревизионизм, формализм, структурализм...

Через месяца два, в конце мая, меня пригласил в издательство Чепуров и дал прочесть наконец-то поступившую рецензию. « Читай здесь, — сказал мне главный редактор, — уносить этот документ запрещено ». Я удивился — почему? Разве он секретный? Содержит государственные тайны? Ведь речь идет о моей собственной книге. Но, не настаивая, стал читать, ожидая поношений и разоблачений. Еще больше я удивился, прочитав начало :

« Представленная издательству « Советский писатель » книга Е. Эткинда — большой, интересный труд специалиста, владеющего анализом стихотворных произведений на таком уровне, которого до сих пор удавалось достичь весьма немногим исследователям в отечественном и зарубежном литературоведении.

Высокая квалификация, эрудиция и одаренность автора поставлена на службу утверждению и реальному доказательству того важного положения, что в подлинной поэзии форма существенна и что сущность поэзии не проявляется нигде и никак вне элементов формы. Методология автора,

проводимая им последовательно, позволяет неопровержимо, на основании аргументов, а не заклинаний, опровергать как приверженцев формального подхода к поэзии, так и тех, кто обедняет возможности поэзии, сводя ее роль лишь к иллюстрации уже известных положений.

Свою методологию автор применяет с большим чувством историзма, понимая, что поэзия, как все на свете, со временем меняется. Анализ поэзии ведется в соотношении (близости или противопоставления) с прозой — с одной стороны, с музыкой — с другой, что делает изложение еще более рельефным и доказательным.

Обиленные поэтического материала, замечательная разноаспектность его анализа, убедительность общего вывода о неисчерпаемом богатстве поэтического познания мира составляют важную особенность монографии Е. Эткинда.

Я без затруднения мог бы конкретизировать и развить эти позитивные положения, развернуть, детализируя тезис о немаловажных, а в ряде случаев попросту незаурядных достоинствах «Материи стиха», но, думается, и того, что я уже сказал, достаточно, чтобы сделать мотивированный вывод: у издательства есть основания заключить с автором договор на публикацию этого труда.

Ну и ну, вот уж чего я не ждал! Сильны мы, как видно, стали, если Ю. Андреев считает необходимым так перед нами расшаркиваться, так низко кланяться, так нас превозносить! Пожалуй, даже мой единомышленник, даже близкий друг не позволил бы себе написать, что мои анализы «на таком уровне, которого до сих пор не уда-

валось достичь весьма немногим исследователям в отечественном и зарубежном литературоведении»... Кондрашов хотел руками Андреева зарезать мою рукопись, а это Андреев рекомендует ему «заключить с автором договор на публикацию этого труда!» Читаю дальше — видимо теперь критик перейдет к недостаткам, и тут уж он меня не пощадит :

Однако, заключая этот договор, издательство, по-моему, должно обратиться к автору с рядом предложений, и прежде всего с просьбой — в высшей степени серьезно и ответственно отнестись к доработке рукописи, понимая, что издание подобного труда — не только его личное дело, но акт, который будет представлять общий уровень советского литературоведения. Кроме того, личные интересы автора также должны диктовать ему необходимость усовершенствования книги.

В чем видятся мне пути улучшения работы ?

Еще того хлеще : значит в необходимости издать книгу у рецензента нет сомнений; ее только надо «доработать». Всякий советский автор знает разницу между двумя глаголами : «доработать» и «переработать». Второй означает, что рукопись надо в корне изменить, переделать, и что она, следовательно, в нынешнем ее виде отвергнута; первый — что рукопись нуждается в улучшениях, в некотором (иногда справедливом) редактировании, но что в целом она принята, одобрена. Андреев говорит о «доработке рукописи». Да еще о том, что «издательство должно обратиться к автору с рядом предложений (а не ультиматумов, не

императивов !), и прежде всего с просьбой... » (а не с требованием !). И еще оказывается, что « издание подобного рода не его личное дело, но акт, который будет представлять общий уровень советского литературоведения » — значит, « Материя стиха » вдруг оказалась вершинной точкой нашей филологии !

Итак, переходим к деловой части. В чем же Ю. Андрееву видятся « пути улучшения работы » ?

Автор верно декларирует тезис о том, что поэзия исторически изменчива, но сам останавливается в основном где-то на уровне 20-х годов (за редчайшим исключением). Поэзии современной, ее закономерностей, ее сложности и своеобразия в книге почти нет, и это в немалой доле обесценивает книгу.

Подумает ли читатель, что автор оробел войти в непростой бурный мир современности, подумает ли он, что автор не считает современную поэзию — поэзией, во всех случаях это не пойдет в актив книги, призванной научить понимать поэзию. Понимать ее — далеко не легко, и значит автор в немалой доле ушел от решения своей задачи в область, зачастую уже принадлежащую музею, истории.

Было бы логично некоторые важные положения (позитивного или отрицательного характера) чаще анализировать на поэзии нового периода. Ведь приведено же хорошее стихотворение А. Суркова о танковом бое в разделе « 10 сражений » — и как прекрасно, неусеченно смотрится это место, в отличие от многих других !

Это возражение я предвидел: не в том дело, что в моей книге мало современных поэтов, а в том, что в ней не те, кто нужен Ю. Андрееву. Ему нужны Сурковы — а у меня Л. Мартынов, Н. Заболоцкий, Анна Ахматова, А. Твардовский, даже Маяковского я считаю нашим современником. «Музей»? Нет, в подлинной литературе музея нет: разве Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев — музейные экспонаты? Впрочем, и понятие «музей» не такое уж для искусства обидное: в музейных залах висят полотна Пикассо и Дюфи, Врубеля и Натана Альтмана, Рембрандта и Ван-Гога, — а разве есть более современные живописцы? Музей нам не укор.

При сокращении книги и пересмотре ее поэтического материала следует исходить, по-моему, не столько из субъективного, личного восприятия поэтических ценностей, но из более широкой шкалы. Я понимаю, что исследователь может быть влюблен в поэтический мир Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, но строить в огромной мере на их трагических, страдальческих, недоуменных стихах свои выводы — это значит в немалой степени обеднять представление о новой русской поэзии. Меня смущает, например, и отсутствие в примерах монографии одной из самых крупных фигур — С. Есенина. Мне ясно, что автор пишет не учебник, не историю поэзии, но уже сам размах его иллюстраций предполагает определенную соразмерность, иначе невольно может возникнуть впечатление о некоторой предвзятости, что безусловно повредит общему впечатлению и общим выводам книги.

Мне кажется, характер подбора примеров должен быть тщательно продуман вновь, чтобы ценная монография не была дискредитирована вполне справедливым упреком в односторонности, тенденциозности выбора художественного материала.

Вот, значит, как расшифровывается предыдущее замечание: односторонность в подборе иллюстраций. Стихи Цветаевой, Пастернака, Мандельштама — « трагические, страдальческие, недоуменные ». Кого же этим односторонне подобранным поэтам Ю. Андреев рекомендует противопоставить? Сергея Есенина? Нашел весельчака! Не от оптимизма ли Есенин пил горькую, не от жизнерадостности ли повесился? А у меня еще широко представлен Маяковский, — но ведь и он поэт трагический и писал стихи « страдальческие ». Этого всего я ожидал, — что же, можно пойти на уступку и, кое-что сократив, иное добавить: « Материя » не погибнет от небольшой « доработки ».

В книге приведено несколько брезгливых цитат А. Блока о политике, общественной жизни и т. д. — без какого-либо исторического комментария к ним. В книге без какой-либо дифференциации говорится о резкой реакции приверженцев старых систем на новые системы поэзии (на символизм, футуризм, например). С этими штрихами сочетается то, что из общего разговора о содержании поэзии в подавляющем большинстве случаев выпали такие элементы, как стремление поэта осмыслить не просто общечеловеческие категории, но категории социальные, политические, идеологические, национальные.

Е. Эткинд, ослабив в книге эту важнейшую тему — партийность (в широком смысле), социальную страстность поэзии, ее гражданственность, в не-малой степени профессионально ослабил свою книгу: и потому, что раньше социальное содержание диктовало форму и пафос поэзии; и потому, что социальное со временем все более становится эстетической категорией: и потому, что вне этого критерия все кошки оказываются серы: поэзия будто бы выступает абсолютной величиной, вне зависимости от своего общественного знака. Но ведь это не так, и чем гармоничней и страстней, например, стихи Цветаевой во славу белых добровольцев, тем фальшивей они в своей жизненной основе!.. Мне кажется, критерий соответствия или несоответствия поэзии общественным тенденциям и жизни неправомерно приглушен в монографии. При доработке книги все точки над «и» здесь должны быть поставлены, и это пойдет на пользу существу книги.

Я понимаю, что автор мог не писать об этом потому, что обходит общеизвестное, но ведь его содержательный анализ находит новые пути рассмотрения других известных истин, и в данном случае критерий правдивого, истинного отражения жизни поэзией, критерий социальной принадлежности поэзии может быть рассмотрен им оригинально, по-своему, в связи с проблемами содержательной формы.

Прочитав эту страницу рецензии, автор-оптимист сник: все остальное можно осуществить посредством косметического ремонта. А тут? Как удовлетворить требование «партийности», когда,

во-первых, автор не понимает, что это значит; во-вторых, не собирается пачкать страницы своей книги демагогией; в-третьих... В-третьих, книга написана о другом, и « белые добровольцы », которых когда-то воспела Марина Цветаева (кстати, таких стихов в « Материи стиха » нет), никакого ко мне отношения не имеют. Словом, дело становится скверным, и автор-оптимист впадает в мрачность. Тогда слово берет автор-скептик :

— Ты забыл, что все это — лишь сочетание слов, лишенных смысла. Вставь в рукопись три-четыре фразы в разных местах, ты же их и выкинешь в корректуре : книга уже будет жить. Помнишь историю Давида ? Микеланджело создал его по заказу папы Юлия II, и, когда статуя была готова, папа долго на нее любовался, потом заметил : « — Все хорошо, да нос длинноват ! » Микеланджело влез на стремянку, поколотил молотком по кусочку мрамора, который держал зажатым в руке, и, бросив к ногам папы этот кусочек, спросил : — А как теперь ? — Теперь замечательно ! — воскликнул папа, — этого удара резцом нехватало для полного совершенства ».

— Предположим, что так... — с сомнением тянет автор, и читает дальше. Но дальше уже ни мин, ни рифов :

Все это (и ряд других замечаний) свидетельствует о том, что работа нуждается еще в шлифовке, додумывании, уточнении. На мой взгляд, в ней есть все данные для того, чтобы стать заметнейшим явлением советского литературоведения, но для этого необходим еще немалый по объему, увлеченный труд автора, стремящегося к совер-

шенствованию своей интересно задуманной книги.

Опыт подсказывает мне, что работа пойдет в том случае успешно, если издательство выделит автору не редактора-апологета, а квалифицированного редактора-полемиста, способного «кислотой» разумного скепсиса выжечь все слабое, временное в представленной рукописи; и в том случае, если сам автор будет больше стремиться к истинной красоте своего «дитяти», чем к защите слабых мест, которые пока есть в книге.

При всем том полагаю, что игра безусловно стоит свеч, так как автор выступает искусным и прекрасно вооруженным бойцом в защиту содержательной поэзии.

10.V.71.

Ю. Андреев

Хорошо, все это осуществимо и, во всяком случае, преодолимо. Я поднимаюсь, благодарю Чепурова за приглашение и не отказываю себе в удовольствии уязвить противника. Захожу к Кондрашову и со всею смиренностью говорю ему:

— Георгий Филимонович, хочу выразить вам удовлетворение — вы дали мою рукопись компетентному критику, и его рецензия несомненно послужит улучшению рукописи. Замечания его я обдумаю и довольно скоро реализую.

На меня поднимаются рыбы глаза и тусклый голос говорит: — Вам предстоит большая работа. Замечания рецензента очень серьезные. К ним надо отнестись со всей ответственностью. У вас нет партийности...

— Всё это я знаю, рецензию я внимательно прочел, и теперь ожидаю редакционного заключения.

По закону, издательство — на основании офи-

циальной рецензии — должно прислать, и безотлагательно, свое заключение. Но я спокоен: редакционное заключение предрешено, в нем не может быть ничего другого, чем в рецензии. На прощание Кондрашов меня пугает:

— Может быть мы закажем вторую рецензию. Мы имеем обыкновение одной не ограничиваться. Так что работать над рукописью рано. Ждите.

Я жду. Жду месяц, жду второй. Снова издательство молчит. Уже истек год с того дня, как я сделал свой первый шахматный ход, и к годовщине белые делают второй ход — я посылаю Кондрашову новое

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ровно год назад я отдал в Издательство рукопись книги «Материя стиха», написанной мною без договора, но по фактическому заказу Издательства. С тех пор я получил — в середине мая — одну рецензию, подписанную Ю. Андреевым, и содержащую весьма верные и, с моей точки зрения, вполне исполнимые пожелания и рекомендации, — учтя их, автор безусловно улучшит свою рукопись. Поскольку никаких иных указаний Издательство мне не давало, я рассматриваю рецензию Ю. Андреева как выражение мнения редакции.

В настоящее время я работаю над рукописью, стремясь по возможности учесть пожелания рецензента и, следовательно, Издательства. Надеюсь завершить доработку рукописи в сентябре с. г.

6 июля 1971.

Теперь ответ не заставил себя ждать. Вступил в действие тот же закон, о котором я говорил выше: если в течение известного периода издательство не отвергло рукопись, она автоматически считается принятой, и тогда автор может по суду требовать ее издания и уже во всяком случае немедленной оплаты. А прошел уже год — срок вполне достаточный, чтобы автор выиграл дело. Теперь Кондрашов отвечает на ход белых — черные делают свой, правда, нарушая правило — как если бы, например, слон пошел по горизонтали, словно ладья, или конь перескочил через четыре клетки. Ход черных — это долгожданное «Редакционное заключение». (Приложение 5.)

Я читал, перечитывал и глазам своим не верил. «Заключение», убивавшее мою рукопись, поразило меня не выводом, нет, — к этому я был давно готов, — а цинизмом. Оно было написано в расчете на читателя, не видевшего ни моей рукописи, ни рецензии Андреева. Между тем, адресовано оно было мне, знавшему оба текста. Начинается «Заключение» с окрика: автор не имел права считать рецензию Андреева «выражением мнения редакции», потому что «по установленному порядку» должен был «в первую очередь ознакомиться с редакционным заключением». Но ведь никакого «Заключения» не было, а рецензия была, как же автор мог выполнить «установленное положение» и знакомиться с тем, чего не было?

Далее оно утверждает, что Ю. Андрев высоко оценивает не мою рукопись, а «возможности автора, как ученого вообще», и, что «положительное суждение» рецензента не имеет отношения к «конкретной оценке»... «Материи стиха».

Как так? «Большой, интересный труд специалиста, владеющего анализом...» Или: «Свою методологию автор применяет с большим чувством историзма...» Применяет, а не, скажем, «мог бы применить»? Или: «...в работе... есть все данные, чтобы стать замечательным явлением советского литературоведения». Разве все это — «о возможностях автора», а не о рукописи?

Ну, а насчет того, что «Издательство» Советский писатель» призвано издавать произведения; посвященные современности...» и т. д., до решений XXIV съезда КПСС — все это рассуждения фальшивые, опровергаемые первым же проспектом издательства. Оно выпускало в свет книги Лидии Гинзбург — «О лирике» и «О психологической прозе», Павла Громова — «Блок, его предшественники и современники», А. Чичерина — «Возникновение романа-эпопеи» и бесконечное множество других. Это утверждение столь же цинично, как предыдущие.

Дальше раздуты отдельные замечания Ю. Андреева, причем замечания сохранены те же, только изложены они свирепо. И вывод — противоположный. Ю. Андреев считает, что рукопись нужно «доработать» и «шлифовать». Редакционное «Заключение» утверждает, что его, Андреева, замечания «требуют коренного пересмотра концепции» всей книги, что «существенные недочеты» рукописи «результат крупных ошибочных положений методологического характера, которые легли в основание рукописи».

Прочел автор-оптимист и вскипел. Автор-скептик безуспешно пытался его успокоить.

Автор-скептик : Возмущаться нет смысла — этим делу не поможешь. Они решили не издавать книгу, какими бы достоинствами она не обладала. Разве можно их заставить сделать то, чего они не желают ?

Автор-оптимист : Можно. Они нарушают закон. Их « Заключение » противоречит официальной рецензии, они же прикидываются, будто соответствует. Они мошенники. У нас в руках оба документа; всякий увидит, что они противоречат друг другу. Кретины : так глупо, так грубо работают !.. Нет, они сами себя наказали.

Автор-скептик : Не будь смешным. Они позволяют себе быть крестинами, работать грубо и писать что попало, потому что всё это могут делать безнаказанно. Знаешь ли ты, кто написал это редакционное заключение ? Николай Васильевич Лесючевский, это факт достоверный. А уж Лесючевский знает, что делает : в ЦК поддержат его, а не тебя. Да и в КГБ он свой человек; будешь слишком много позволять себе, прижмут.

Оптимист : Но ведь есть юридическая сторона всего этого дела ? Законы ? Суд ? Лесючевский и Кондрашов нарушают законы. Это легко доказать.

Скептик : А кто станет слушать твои доказательства ? Читать твои объяснения ? Лесючевский и Кондрашов будут над тобой издеваться и, главное, бесить тебя наглой безнаказанностью своих действий. А ты будешь писать жалобы. Их издевательства будут умножаться, наглость — расти, а твои жалобы будут все длиннее и всё возмущеннее. Чем длиннее и чем возмущеннее они будут, тем меньше начальство станет их читать и

обращать на них внимание. Ты хочешь пробить стену лбом? Вспомни прекрасное изречение Станислава Ежи Леца: «Предположим, ты пробьешь головой стену; что ты будешь делать в соседней камере?»

Он был прав, и автор-оптимист, понимая это, постепенно утрачивал оптимизм. Но бездействовать казалось невозможно. Автор долго взвешивал за и против.

За: готовая книга, написанная по заданию издательства. Одобрительная рецензия. Два обсуждения — множество хвалебных выступлений.

Против: тень «фразы». Ненависть Лесючевского. Редакционное заключение.

Будем сражаться! И белые делают очередной ход.

Чтобы его понять, нужен небольшой комментарий.

Издательство «Советский писатель» официально подчинено Союзу писателей: оно существует при нем. Секретариат Союза писателей может предписать издательству любое свое решение. Лесючевский — член секретариата, но его можно заставить подчиниться. Значит, управа на него найдется. Но как заставить секретариат принять решение в пользу моей рукописи? Это тоже возможно, хоть и трудно. Есть при Союзе писателей Правовая (юридическая) комиссия, ее возглавляет умный Александр Иванович Орьев. Не может Орьев не понять, что Лесючевский и его приспешники плюют на законность, что их действия — грубейший произвол. Итак, Правовая комиссия, разобравшись в моем деле, выскажет свое мнение

секретариату, и секретариат примет единственное возможное решение, которому Лесючевский вынужден будет подчиниться.

И вот я пишу заявление — главному юристу Союза писателей Орьеву, в котором рассказываю ему всю уже довольно мучительную историю «Материи стиха», а, кроме того, в секретариат Союза писателей. Я рассказываю о деле, которое тянется вот уже скоро полтора года, и стараюсь фактами доказать беспочвенность и злую предвзятость «Редакционного заключения». Демонстрирую вопиющие расхождения между рецензией и «заключением», авторы этого «документа» (точнее — автор, Н. В. Лесючевский), рукопись не только не читали, но даже и не открывали. Мое письмо в секретариат кончалось такими строками:

« Не сомневаюсь, что Секретариат Союза писателей СССР найдет необходимым разобраться в этом конфликте, поможет восстановить справедливость и объективно оценить рукопись, которую отвергает издательство «Советский писатель», нарушая установленные законом и традицией нормы обращения с авторами.

Уважаемые товарищи, члены Секретариата! Дело идет о нашем, писательском издательстве. Неужели мы не можем добиться уважения к автору, его труду и даже его человеческому достоинству внутри нашего собственного творческого Союза? Я уверен, что — можем, и поэтому обращаюсь к вам за поддержкой и справедливым решением ».

3/XI.1971.

Мое письмо обсуждалось в разных кабинетах, при разных участниках, — в самом деле, как быть? Бросить вызов Н. В. Лесючевскому? Но ведь он — член Секретариата, да еще есть у него дополнительная всем известная сила: за его спиной вот уже скоро сорок лет тень тайной полиции.

Наконец придуман такой выход: секретариат, желал проверить основательность авторской жалобы, от себя передает рукопись «Материи стиха» на новую рецензию. И уж на сей раз это должен быть действительно крупнейший специалист по стиху, русской поэзии, поэтике — необходимо все предусмотреть заранее и снять всякие возражения. Выбор остановился на профессоре Николае Леонидовиче Степанове, авторе многих трудов в смежной области.

Прошло меньше месяца, и уже в середине декабря 1971 года рецензия В.Л. Степанова была готова. Я получил ее из Москвы и начал читать с трепетом — не от нее ли зависела теперь участь моей книги?

ОТСТУПЛЕНИЕ О ПРОГРЕССЕ И ЗАКОНЕ «ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ»

*Способ, как творил создатель,
Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета о печати.*

А.К. Толстой.

*Послание о дарвинизме (1872)
Почтенными людьми называют
тех, кто ничем не выделяется.*

Анатоль Франс

С Н.Л. Степановым меня ничего не связывало — лишь мимолетное знакомство; ранние

его работы мне были близки — но то относилось к двадцатым годам, когда Степанов учился в том же Институте Истории Искусств, был единомышленником и сотрудником Ю. Тынянова и — вместе с Тыняновым — издавал пятитомное собрание сочинений Хлебникова, до сих пор оставшееся лучшим и, собственно говоря, единственным. Книги последнего периода оставляли меня равнодушным, если не огорчали: «Лирика Пушкина» и «Проза Пушкина», «Мастерство Крылова-баснописца» и «Некрасов и советская поэзия» — все это казалось мне движением некогда талантливого человека в сторону ученого конформизма. Это весьма привычная в советской действительности эволюция вниз. Пожалуй, ни в одной стране мира с такой охотой не говорят о «прогессе» и «прогрессивности», как в Советском Союзе, — любой художник, актер, журналист, психолог, медик оценивается как «прогрессивный» или «реакционный», — и нигде так часто не встречается не только отсутствие прогресса, но именно регрессивная эволюция, как в советской литературе и науке; нередко начав с блестящих работ, писатель или ученый спускается по лестнице, пока не достигнет обыкновенности, то есть того общего уровня, где он уже решительно ничем от всех окружающих не отличается и где его стиль можно спутать со стилем всех соседей. Это явление — «обратное развитие» — характерно для наших писателей, даже очень одаренных: В.Ф. Панова начала со своей

лучшей книги «Спутники» (1946), каждая следующая была слабее предыдущей. А.А. Фадеев пришел в литературу с «Разгромом» (1927), и спускался с одной ступеньки на другую, пока не добрался до ходульной «Молодой гвардии» и совсем уж не удавшейся «Черной металлургии». А К. Федин? Зощенко? Ю. Тынянов? Л. Леонов? Д. Гранин? Я привожу имена прозаиков разных поколений, — их всех постигла та же драматическая судьба. Здесь не место вдаваться в анализ этого зловещего явления, — ясно, что такой страшный закон действует. И он же распространяется на филологическую науку: сравните работы молодого Б. Эйхенбаума — «Мелодика стиха», «Мой современник» — с книгами, изданными в последующие десятилетия; или книги Б.В. Томашевского, В. Шкловского, даже Д. Благого (в довольно вульгарной «Социологии творчества Пушкина» были задор, пафос открытия, озорство).

В науке, особенно исторической и филологической, этот процесс объясним без труда, да и в литературе, впрочем, тоже. Рождается какая-то научная школа, например, формалистов. Некоторое время ее терпят, даже в известных пределах — поощряют. Затем начинается — безобидная ученая дискуссия: выступают такие оппоненты, как Б. Энгельгардт, Л. Выготский или М. Бахтин, и нападают на самые принципы направления. Формалисты обороняются и в свою очередь нападают на своих противников: это нормальная научная жизнь. Но внезапно сгущаются тучи,

раздается удар грома : формализм объявляется антимарксистским, декадентским, фальшивым учением, — лженаукой. Приверженцев его, « лжеученых », прорабатывают : топчут, оплевают, даже изгоняют. И вот научная школа распадается : Б. Эйхенбаум и Б. Томашевский уходят в текстологию — издавать классиков, Ю. Тынянов — в историческую романистику, В. Шкловский — в киносценарии, В. Жирмунский — в лингвистику; ученики разбредаются кто куда — один в лингвистическую теорию перевода, другой — в спокойно-университетское литературоведение, третий — в художественный перевод... Может быть, школа формалистов распалась бы и сама, но тогда она, преодолев себя, свои ограниченности и детские болезни, перешла бы в новое качество; во всяком случае, в развитии науки не было бы перерыва. Произошло же вот что : школу разогнали, ее создатели и адепты разошлись в разные стороны и занялись другими делами, но книги остались, и эти книги вдруг вынырнули на Западе : в Америке, Германии, Франции. Всюду появились последователи русского формализма, началось бурное развитие идей, родившихся в двадцатые годы, и вот, глядишь, эти идеи вернулись к нам, в Россию, на свою родину, через тридцать-сорок лет после того, как их придушили, под новыми модными названиями : структурализм, семиотика, семиология, семантическая поэтика. Но прежние ученые, оплодотворившие, как теперь оказалось, научную мысль всего ми-

ра, уже не участвуют в возрождении своей науки : « Иных уж нет, а те далече... » Умерли Б.М. Эйхенбаум и Б.В. Томашевский, неждавшись ренессанса и « репринтов » в мюнхенском издательстве Финка; ушел в лингвистику, тюркологию, сравнительное изучение эпосов В.М. Жирмунский; умер в тюрьме под следствием Г.А. Гуковский; отошел от собственных открытий, не успев их развить и предоставив это своим научным внукам, В.Я. Пропп; много лет провел в ссылке, а потом в глухой провинции М.М. Бахтин. Можно ли после этого представить себе эволюцию отдельных ученых иначе, как движение по лестнице вниз ?

Так вот, Н.Л. Степанов не избежал такой — почти общей ! — участи. И я понимал, что ему должно быть горько читать рукопись, которая продолжает его темы двадцатых годов, но, увы, не содержит ссылок на его труды за пределами двадцатых годов, словно после того Степанова и не было. А ведь доктором наук он стал в пятидесятые годы (за диссертацию о баснях Крылова), и тогда же профессором Московского университета, научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького... Талант иссякал, звания росли. Впрочем, трудно сказать, иссякал ли талант или его обладатель выдавливал его из себя. Н.Л. Степанов вел жизнь трудную, был необходим большой, систематический заработок для содержания тяжелобольного сына, и он писал, писал, писал, все теснее прижимаясь к общей линии и все

очевиднее банализируя свой стиль, приглушая мысли и отодвигая в сторону пристрастия. Но ведь о моей несчастной « Материи стиха » пишет рецензию не тот молодой критик, ученик Тынянова, который был влюблен в футуризм и Хлебникова, а солидный профессор, позабывший о былых увлечениях и ставший « одним из... ». Нет, дурного Н.Л. Степанов не делал никогда, он только подавил в самом себе свой дар и свою оригинальность. Или это тоже — дурное ?

И вот я с трепетом читаю рецензию Н.Л. Степанова, читаю и вижу, что ошибся : написал ее тот самый молодой издатель Хлебникова. Никуда он не подевался, — он всегда был тут, да, видно, прятался.

При нормальном развитии событий я мог считать свое дело выигранным. Оптимист ликовал. Спектик с печальным состраданием поглядывал на своего близнеца.

Скептик : Рецензия прекрасная, лучшей и желать нельзя. Но ты уже видел : противник играет без правил. Чем рецензия лучше, тем коварнее и сокрушительнее будет неожиданный удар, который нам нанесут. Неужели ты думаешь, что они уступят ? Готовься к худшему.

Оптимист : Нет, мы выиграли. Подумай только, каково соотношение сил ! Давай рассмотрим положение беспристрастно, подведем предварительный итог наших « за » и « против ».

За

1. Издательский заказ.
2. Рецензия Ю. Андреева.
3. Обсуждение в Союзе писателей в Ленинграде и мнения крупнейших литературоведов.
4. Обсуждение в Академии Наук в Москве и мнение видных лингвистов.
5. Поддержка юридических органов Союза писателей.
6. Рецензия Н. Степанова

Против

1. Фальшивое «редакционное заключение».
2. Злая воля издательских руководителей.

Сам видишь : наши « за » во много раз сильнее ! На нашей стороне закон, справедливость, общественное мнение. На нашей стороне ученые литературоведы и лингвисты, две научных столицы — Москва и Ленинград. А « против » ? Сфабрикованное из поддельных доводов « заключение », опровергнуть его ничего не стоит. Что еще ?

Скептик : Что еще ? Ты забыл, что еще — на стороне Лесючевского и Кондрашова ? А что было на стороне Лесючевского, когда по его доносам арестовали Бориса Корнилова и Николая Заболоцкого ? Литературная или научная аргументация ? На его стороне была тайная полиция, плевавшая на все обсуждения и дискуссии, на общественное мнение и законы.

Оптимист : Так ведь то было в конце тридцатых. Время совсем другое ! В ту пору никакие юриди-

ческие отделы не стали бы вмешиваться, секретариат Союза писателей и не подумал бы заступиться. Теперь за нас — юристы, за нас — союз, за нас будет даже суд, если до того дойдет.

Скептик: Ну, и что ты скажешь на суде? Лесячевский с Кондрашовым сами не придут, они пришлют своего юриста, юрист будет настаивать на том, что по закону — все в порядке, все на месте. Вы требовали редакционного заключения? Вот оно. С чем тут можно спорить? Мы пишем, что «автор проходит мимо крупных явлений русской советской поэзии». Да, проходит, и всё тут!

Оптимист: А я скажу судьям, что это бесстыдная ложь! Пусть назначат экспертов, пусть прочтут рукопись. Мимо крупных явлений? Можно ли так бессовестно лгать? Я требую экспертизы!

Скептик: Суд согласится назначить экспертов по рукописи «Материя стиха». Кого он выделит? По рекомендации Союза писателей — А.Л. Дымшица и Зою Кедрину. Вот уж они тебе покажут!

Оптимист: Этих экспертов я отведу. С Дымшицем у меня обостренные личные отношения, Зое Кедриной я не доверяю с тех пор, как она выступила общественным обвинителем по делу Синявского и Даниеля.

Скептик: Ладно, найдут других, таких же. Они, эти другие, всё равно повторяют, что ты проходишь мимо... У тебя есть «Про это» и «Война и мир» Маяковского. Но ведь нет у тебя «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин»? Значит — проходишь мимо. К тому же — Брюсов, Блок, Хлебников... А где у тебя Василий Федоров, Сергей Васильев, Сергей Смирнов, Владимир Фирсов? Брось, не

отобьешься. К тому же ты « отдаешь предпочтение страдальческим стихам Цветаевой и Мандельштама ».

Оптимист : Я не понимаю, что это значит. Но, как бы там ни было, это тоже ложь.

Скептик : Зачем спорить против очевидности? Лесючевскому известно, что стихи у Цветаевой и Мандельштама — страдальческие. Они не могут быть другими: Цветаеву довели до петли, Мандельштама сгноили в лагере. Так что ж они, жизнерадостные стихи что ли станут писать? Не выкручивайся. Да ведь, кроме того, напомню тебе, — « В своем анализе вы исходите из субъективного, личного восприятия поэтических ценностей... » и дальше : « Предвзятый и односторонний подход в выборе художественного материала лишает монографию главного — той научной убежденности, которая определяет ценность любого литературоведческого труда ». Что скажешь, братец ?

Оптимист : Я взываю снова к честности экспертов ! Ведь я разбираю стихи не только современных поэтов, но и классиков. У меня в книге появляются : Херасков, Державин, Рылеев, Баратынский, Лермонтов, Некрасов, Бальмонт, Белый... Где же тут предвзятость и односторонность ? Поэты, которыми я занимаюсь, совершенно разные — тут и классики, и романтики, и реалисты, и символисты, тут и славянофилы, и западники, тут и архаисты, и новаторы, тут и революционеры, и консерваторы. Разве такая односторонность бывает ? Нет, друг скептик, опровергнуть и это обвинение — раз плюнуть. А ведь оно, кажется, последнее ?

Скептик : Боюсь я за нас с тобой и за нашу рукопись — ты размахиваешь копьём, как Дон Кихот. Не кончилось бы это совсем худо ! В успех справедливости я не верю; твоих доводов никто не услышит, как бы ты их красноречиво ни излагал. Судья слушает только то, что хочет, и глух к тому, что мешает ему исполнять волю начальства. Ты читал рассказ Анатоля Франса « Кренкебилль »? Там гравёр Жан Лермит объясняет, почему председатель суда Буриш, разбирая спор между зеленщиком и полицейским, обязательно и всегда вынесет решение в пользу полицейского. Да, он, конечно, знает, что прав старый зеленщик, но... Вот послушай мудрого Жана Лермита : « Когда даёт показания человек, вооружённый саблей, надо прислушиваться к сабле, а не к человеку. Человек — существо презренное и может быть неправ. Иное дело сабля — она всегда права ».

Далее гравёр говорит как бы от имени судьи Буриша :

« Обезоруживать сильных и предоставлять оружие слабым — значило бы изменять социальный порядок, который я обязан охранять : закон — это санкция установившегося беззакония. Кто и когда видел, чтобы правосудие противостояло завоевателям и узурпаторам ? Утверждается какая-либо незаконная власть — и служителям закона только и остаётся, что признать её законной. Главное — это форма, а преступление и невинность разделены между собой только толщиной листа гербовой бумаги ».

В моем деле этот лист гербовой бумаги был налицо. Сабля была не у меня, и я был изначально — виновен.

Я еще не успел ничего предпринять, как вдруг получил письмо от главного редактора «Советского писателя» из Москвы, В.М. Карповой, со следующим текстом :

Уважаемый Ефим Григорьевич !

В Правление издательства «Советский писатель» переслано из Секретариата Правления СП СССР Ваше письмо, в котором Вы пишете о Вашем категорическом несогласии с решением руководителей Ленинградского отделения издательства, отклонившего Вашу рукопись «Материя стиха».

Спор между Вами, автором исследования «Материя стиха», и Ленинградским отделением можно разрешить, лишь рассмотрев рукопись в Главной редакции издательства. Поэтому просим Вас прислать рукопись (если возможно два экземпляра).

С уважением

Главный редактор издательства

«Советский писатель»

В. Карпова

Что представляет собою Карпова, я отлично знал : озлобленная лицемерка, иногда игравшая в несогласие с Лесючевским, на самом деле покорно выполнявшая все требования своего начальника, душительница русской литературы и науки, к тому же малограмотная невежда. Послать ей «Материю стиха?» Да ведь это значит : бросить еще не родившуюся книгу на съедение Лесючевскому. Я-то надеялся, что рассматривать мою рукопись будет не Карпова, не Лесючевский, а — секретариат Союза писателей. И снова написал в юридический отдел, А.И. Орьеву :

Многоуважаемый Александр Иванович, прилагаю письмо, полученное мною только что из «Советского писателя». Не значит ли оно, что мое дело — проиграно, даже не начавшись? Н.В. Лесючевский рассматривает мое заявление, как жалобу ему — на кого? На него же? Ведь я знаю, что автор редзаклучения — он. Я надеялся на рассмотрение в секретариате, а не у Лесючевского. Да и Вы так полагали.

Что делать? Как ответить на это письмо?

Экземпляров у меня нет — первый у Вас, второй потерян Кондрашевым.

При новом варианте рассмотрения рецензия Н.Л. Степанова вообще теряет смысл. Не так ли? Точно так же теряет смысл и Ваше заключение.

Неужели с этим придется согласиться? Все-таки надеюсь на обсуждение вопроса на уровне секретариата, как первоначально и предполагалось.

1 апреля 1972.

Я начинал понимать, что мой собрат-скептик прав: вот уже и стало ясно, что секретариат меня предал, переслав все мое дело моему противнику. Я с нетерпением ждал ответа от Орьева, — он мог написать, например, так: — Да, Вы правы, не следует посылать «Материю стиха» тому, кто ее однажды уже зарубил. Давайте обождем немного, а мы, юристы, добьемся, чтобы рукопись рассмотрел секретариат.

Но ответил он иначе. Он действительно сделал все, что зависело лично от него — попытался уговорить секретаря Союза писателей, ведавшего критикой и литературоведением, редактора журнала «Вопросы литературы» Виталия Михайло-

вича Озерова, встать на защиту « Материи стиха ». Но Озеров на его настояния не поддался. Орьев написал мне :

Уважаемый Ефим Григорьевич !

В.М. Озеров ознакомился с Вашим письмом и поручил мне передать Вам его мнение : в соответствии с просьбой В.М. Карповой (письмо в Ваш адрес от 27.III.72 г.), Вам следует направить рукопись « Материи стиха » в Главную редакцию издательства « Советский писатель ». Виталий Михайлович полагает, что, возможно, руководство издательства само внесет необходимые коррективы в действия руководителей Ленинградского отделения... »

А. Орьев
Председатель Правовой комиссии
Правления СП СССР

Со стороны это выглядит примерно так : Главная редакция, может быть, поправит ошибку, допущенную филиалом издательства, « внесет необходимые коррективы »... Но я знал, и не только я, но и Орьев тоже знал (а он был ближе к моему Скептику, чем к Оптимисту), что никто никаких « корректив » не внесет. Потому что не Ленинградское отделение совершало эти « действия », а сам Лесючевский. Потому что борьба шла против автора, посмеявшего произнести « фразу ». Потому что за спиной Лесючевского и его помощников стояла незримая всемогущая сила. Потому что — « сабля всегда права ». И вот круг замыкается : снова все в руках Лесючевского. Черные собирались разыграть простую комбинацию и создать на

доске матовое положение. Но я должен был выждать : ход черных.

Этот ход был сделан — правда не так уж скоро, через восемь месяцев. В середине декабря я получил официальное, на красивом фирменном бланке, письмо с подписью В. Карповой, содержавшее отрицательный приговор моей рукописи.

Борьба окончилась или вступила в решающую фазу ?

Скептик считал первое, оптимист — второе. И оптимист решил дать генеральный бой — ведь до мата, казалось ему, далеко : противник, против ожидания, своего хода не сделал, а скинул с доски фигуры и хватил партнера доской по голове.

И вот я получил рецензию профессора Л.И. Тимофеева, написанную по заказу издательства.

Первое, что мне пришло в голову, когда я прочитал ее, — что ее написал не Л.И. Тимофеев, а кто-то другой. Я довольно хорошо знал сочинения этого исследователя : они мне никогда не казались оригинальными. Лучшей книжкой Тимофеева была « Поэтика Маяковского », появившаяся в 1941 году; но если к ней присмотреться, становится очевидно : просто-напросто она повторяет некоторые положения Романа Яacobсона. Книга Тимофеева о Блоке (« Творчество Александра Блока », 1963) не вносит ничего нового после книг В.М. Жирмунского, даже В.Н. Орлова, — порою она кажется карикатурной вульгаризацией своих предшественников. Стиховедческие исследования Тимофеева тем интереснее, чем они более ранние : книжка 1931 года « Проблемы стиховедения. Материалы к социологии стиха » задорна в своей антиформалистичности, но до крайности примитивна :

на фоне книг Томашевского, Эйхенбаума и Жирмунского она кажется убого-провинциальной. Тимофеев всегда отличался партийной правильностью; он боролся с формализмом, он пытался выдумать теоретические основы социалистического реализма («Проблемы теории литературы», 1955), превратить ущербную, лишенную многих авторов историю советской литературы в подобие науки («Русская советская литература», школьный учебник 1946 года, множество изданий). Более трех десятилетий именно Тимофеев возглавлял науку о советской литературе — с 1941 года он заведовал соответствующим отделом в Институте мировой литературы имени Горького. Вот в чьи руки попала моя «Материя стиха». Выбор был сделан правильно: враг формалистов, теоретик социалистического реализма, идеолог партийности, разоблачитель «ревизионистских и буржуазных концепций» в западном литературоведении не мог доброжелательно или даже снисходительно прочитать «Материю стиха», — он должен был злиться на каждой странице.

И все же — все же я был уверен, что рецензию написал не он. При всей догматичности Тимофеев умнее, а, главное, грамотнее ее автора. Многие примеры и собственные выкладки даны не к месту — Тимофеев, как испытанный полемист, не позволил бы себе такие сомнительные ходы. Позднее я узнал, что мое предположение было верным: больной Л.И. Тимофеев поручил рецензию одному из своих сотрудников, не слишком образованному, но фанатичному, психически неуравновешенному и бешено целеустремленному карьеристу. В тот

момент я этого не знал и лишь мог догадываться. Так или иначе, Л.И. Тимофеев по какой-то неведомой мне причине согласился дать Лесючевскому и Карповой свое имя и свое звание члена-корреспондента Академии Наук СССР, чтобы способствовать уничтожению своего коллеги. Но сама по себе рецензия была написана так слабо, так уязвимо, что ответить на нее, и, кажется, достаточно убедительно, я смог без особого труда.

И все же В.М. Карпова, главный редактор издательства, полностью присоединилась к рецензии Тимофеева: « Мы находим, — заключала Карпова, — что отсутствие в Вашем исследовании продуманной методологии, антиисторизм... » Изящно выглядит это « мы находим » ! Кто такие « мы » ? Главная редакция « Советского писателя » ? Но никто в Главной редакции, в том числе Карпова, рукопись не читал. Л.И. Тимофеев — и тот не читал. Можно составить список лиц, от которых зависела судьба книги, кто авторитетно высказывался по ее поводу, но не бросил взгляда ни на одну из ее страниц :

- 1) Директор издательства Н.В. Лесючевский.
- 2) Главный редактор В.М. Карпова.
- 3) Директор Ленинградского отделения издательства Г.Ф. Кондрашов.
- 4) Главный редактор Ленинградского отделения А.Н. Чепуров.
- 5) Член-корреспондент Академии Наук СССР профессор Л.И. Тимофеев.

Все они подписывали бумаги, отзывы, заключения и все — с переименованных чужих слов, со слов Ю. Андреева и В. Гончарова.

Мой ответ Л.И. Тимофееву я, кроме него и Кар-

повой, разослал многим литературоведам и критикам Советского Союза — разумеется, вместе с рецензией, подписанной «Л. Тимофеев». Никому из моих адресатов я дополнительных эмоций не выражал, но это и не требовалось: десятки ответов, которые я получил от старых и молодых, далеких и близких читателей обоих документов были не вежливой отпиской, а выражением искреннего негодования и удивления: зачем старик это сделал? Ведь он довольно долго держался — почему же он так низко пал? Что посулил ему Лесючевский? Тимофеев стар, ему около семидесяти, пора думать о душе, — чего же он, в самом деле, хочет? На что надеется? На собрание сочинений? На звание «Герой Социалистического Труда»? На Ленинскую премию? Большинство подлостей, совершенных на наших глазах литераторами или учеными, объяснялись одной из названных трех надежд. Я не пощадил моего рецензента и послал по такому же пакету нескольким его ученикам; их ответы мало чем отличались от всех прочих.

Сам Л. Тимофеев отмалчивался. Примерно год спустя я решил отвести душу: вышла новая моя книга «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина», и я послал ему экземпляр с надписью: «Леониду Ивановичу Тимофееву — от благодарного автора».

Иначе, как пощечину, мою надпись понять было нельзя. Но ответ я получил очень скорый. Тимофеев писал из больницы, где ему сделали тяжелую операцию, он с внешним миром пока не общался; накопилась почта, он никому не отвечает. Но мой подарок таков, что он, Тимофеев, не

может не сказать, как тронут и взволнован. Письмо кончалось словами: « Вы проявили щедрость души. Благодарю Вас! » Ошибаюсь ли я, видя в этом необычном письме тень раскаяния?

В.М. Карповой я послал мой ответ Тимофееву и еще весьма обширное письмо — ответ ей. Оно кончалось словами о том, что я буду продолжать борьбу. (Приложение 6.)

А время шло, рукопись лежала без движения уже третий год. В. Озеров, прочитав посланные ему материалы, сказал Орьеву: — Тимофеев — фигура сильная, он почти академик. Против него бороться трудно.

— Но за рукопись Эткинда, — возражал А.И. Орьев, — высказался в свое время и полный академик. Вы ведь читали выступление Жирмунского на обсуждении книги? Да и профессор Степанов — большой авторитет.

— Жирмунский не написал официального отзыва, — возразил Озеров. — Нам нужны рецензии настоящие.

— Но ведь протоколы обсуждения в Союзе писателей и в Институте русского языка Академии наук — документы официальные, — сказал юрист.

— Этого мало, — ответил секретарь Союза. — Чтобы разговаривать об издании, нужны еще рецензии: из Института русской литературы и Института мировой литературы Академии Наук. И, желательно, академиков.

— Значит, заказываем еще две рецензии из обоих эти институтов? — спросил Орьев.

На авторскую чашу весов легло еще два отзыва — очень видных, очень серьезных ученых. На второй чаше — всего-то и было два текста: редак-

ционное заключение и рецензия Тимофеева, и оба они были подобны картонным гилям, которые на ярмарках выжимают мошенники: ложь пуста, невесома. И, разумеется, автор победил. Но знали об этой победе он и его сторонники, читатели так и не прочитали «Материю стиха». Руководители Союза писателей не удосужились внимательно все это рассмотреть: они ездили на международные конгрессы, проводили пленумы и совещания, прорабатывали своих собратьев, оплеывали Солженицына, исключали из Союза Лидию Корнеевну Чуковскую — им было не до меня и моей книги. А, точнее говоря, они и не собирались воевать с Лесючевским. Анатолий Франс оказался прав: закон — это санкция установившегося беззакония.

Я предпринял еще несколько шагов, о которых, не желая наскучить и без того утомленному читателю, рассказывать не буду. А потом грянуло 25 апреля 1974 года, и все, что я делал до того дня, оказалось единым махом перечеркнуто. За «Материю стиха» я вел борьбу около четырех лет. Теперь она выходит на Западе.

Можно думать, что в истории с этой книгой автор-оптимист закрывал глаза на реальное соотношение сил. Параллельно с ней разыгралась другая, из которой автор мог бы понять, что происходящее с ним — закономерно, что он — в блокаде. Эту параллельную историю я расскажу без особых подробностей; в мое повествование она не внесет ничего принципиального нового.

Глава шестая

« РАЗГОВОР О СТИХАХ »

Книга под таким названием была выпущена в 1970 году издательством « Детская литература » тиражом в сто тысяч экземпляров. Ее распродали за несколько дней — уже неделю спустя я не мог ее купить, хотя просил знакомых в разных концах страны. Успех книги — высокий тираж, мгновенная продажа, — подтвердился рецензиями в газетах и журналах, а, главное, большой почтой; писали самые разные корреспонденты, и юные, и великовозрастные специалисты, и очень далекие от словесности просто-читатели. Я выпустил немало книг, но такого отклика не имел никогда; значит, цель была в известной мере достигнута. Цель же была такая: приобщить к поэзии молодых, рассказав о ней доступно, не пользуясь учеными словами. В наше время о литературе пишут все сложнее, терминология становится все специальной, я же издавна уверен, что даже о проблемах тонких и трудных можно рассказать прозрачно.

В школе литературу преподают так, что надолго отбивают любовь к ней : детям скучно и противно. Стихи для них выбирают искусственно, словно нарочно (а может и в самом деле нарочно ?) обедняя — и уже навсегда — художественный мир молодых читателей. Мне хотелось раздвинуть их горизонты, предложив им не только понятные для них разборы, но, попутно, и целую антологию стихотворений, которых не найти; это прежде всего относится к новейшей поэзии, к стихам Анны Ахматовой, Хлебникова, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, даже Маяковского, — его преподносят тенденциозно, в политическом искажении. Но и классическую русскую поэзию молодые не знают : Баратынский, Тютчев, Алексей Толстой, Фет — это для большинства пустые имена. Хорошо, если хоть имена известны ! Свою нравственную задачу я видел в воспитании моих читателей приближением их к искусству. В институтской газете появилась статья совсем юной студентки первого курса Елены Баевской, которая с простосердечной непосредственностью признавалась : « После такой книги хочется самому заняться стихами, хочется научиться в них видеть то, чего не видел и не замечал раньше. Я думаю, что многих эта книга приведет к вдумчивому и глубокому чтению стихов, а кое-кого и к страшно интересной науке — стиховедению ». (Газета « Советский учитель » от 1 июня 1971 г.)

Издательство было довольно — оно получало благодарственные письма, приходили и просьбы о новом тираже. Ста тысяч книг не хватало. И вот редакция предложила автору подготовить второе издание; он по своему усмотрению мог дополнить

и расширить книгу. Написав несколько новых глав, пересмотрев и исправив прежние, я отдал в редакцию почти вдвое разросшийся «Разговор о стихах». У «Материи стиха» сложилась трудная судьба, зато «Разговор о стихах» оказался удачлив: за те три года, что мою «главную книгу» перебрасывают от одного рецензента к другому и плетут вокруг нее сложные сети интриг, «Разговор» вышел в свет, завоевал читателя и прессу, и вот теперь готов к новому рождению. Небо над ним было безоблачным; казалось, издательство «Детская литература» — на другой планете или, во всяком случае, в другой стране, чем «Советский писатель». Заботы, связанные с новым изданием «Разговора о стихах», были мирные, для каждого автора любимые: какой выбрать формат? Какие поля? Как оформлять спуски? Где ставить колонцифры? Спорили об оформлении обложки, — сохранить старую, изменив цвет? Дать совсем другую? Сошлись на втором решении, и мой брат, хороший знаток книги и талантливый оформитель, уже подготовил два варианта. Словом, все шло благополучно, настолько благополучно, что я начинал пугаться: мог ли я забыть о том, что в нескольких кварталах от «Детской литературы» находился «Советский писатель» и что моя детская редакция — на площади Дзержинского, как раз напротив Лубянки?

Обложка, наконец, одобрена, формат выбран, рукопись после технической обработки вернулась в редакцию... А я слежу за этими этапами, слежу и думаю: — Скорее! Ох, скорее! Как бы не сорвалось... Успеть бы!

Успеть? Разве что-то должно произойти? Не

знаю, Но — успеть : это сознание не оставляло меня ни на миг. Может быть, успеть до того, как мои недоброжелатели узнают о новом издании « Разговора » и примут меры для его пресечения? Может быть, до того удара, который мне собираются нанести — кто и когда? Я не знал ничего, но привык жить в мире кафкианских кошмаров. И все же « Детская литература » была островом, кусочком суши посреди водоворотов : здесь ничего не знали (и знать не хотели) о « фразе », обкоме, проработках, и мой « Разговор о стихах » им не представлялся опаснее других книг (для советского издателя всякая книга скрывает смертельную опасность, он ее боится, как солдат — неразорвавшейся бомбы; второе издание уже апробированной, не погубившей издательство книги всегда спокойнее, чем новая, таящая в себе неведомый заряд).

Все это благополучие было обманчиво : смутное предчувствие меня тревожило не даром.

Приехав в очередной раз в Москву в конце марта, я зашел в редакцию « Детской литературы » и в моей собеседнице почувствовал смущение : она отводила глаза. Потом достала из письменного стола бумагу и протянула мне. — Вот, сказала она, — контрольная рецензия, только что получили из Комитета по делам печати. Прочитайте.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ДОСТОИНСТВЕ И СВОБОДЕ ВЫБОРА

« Мы же видели поистине великий пример терпения; и если былые поколения видели, что представляет собой ничем не ограниченная свобода, то мы — такое же порабощение, ибо нескончаемые преследования отняли у нас возможность общаться, высказывать свои мысли и слушать других. И вместе с голосом мы бы утратили также самую память, если бы забывать было столько же в нашей власти, как безмолвствовать ».

Корнелий Тацит.

Жизнеописание Юлия Агриколы.
Wahl ist Qual. Deutsches Sprichwort¹.

Комитет по делам печати — это, в сущности, высшая книжная инстанция; он имеет право наложить вето на любое издание. Впрочем, запретить книгу или, во всяком случае, помешать ее выходу в свет — могут многие. Снизу вверх это :

- редактор
- заведующий редакцией
- главный редактор
- первый рецензент
- второй рецензент
- директор
- цензор (сотрудник « Главлита »)
- райком или обком КПСС
- Комитет по делам печати РСФСР
- Комитет по делам печати СССР
- Отдел пропаганды или
- Отдел культуры ЦК КПСС
- КГБ

¹ Выбор — мученье. Немецкая поговорка.

Двенадцать Сцилл и Харибд на пути книги !
Удивительнее всего, что каким-то книгам
все же удается проползти. Советские литера-
торы к своим Харибдам привыкли — может
быть, нам даже было бы пресно, не подстере-
гай нас на каждом шагу опасность :

*Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...*

Какие уж там « неизъяснимы наслажденья » !
Но в постоянном хождении по самому краю
есть напряженность. В игре с загадочным
противником возникает азарт. И ведь на
карту всегда ставится самая крупная ставка :
всё. Да, каждый раз я ставлю всё. Не менее.

Дорогой французский коллега ! Ты недавно
мне рассказывал, как твою книгу не захотел
издать Лаффон, хотя предварительные пере-
говоры велись именно с ним. Поссорившись с
издательством Лаффона, ты пошел к Гали-
мару. Там не поладил, разошелся мнениями и
вкусом с каким-то сотрудником, читавшим
твою рукопись; попробовал в « Сёй »; не по-
лучилось и там. Книгу твою, не нашедшую
себе пристанища во всей Франции, выпускает
швейцарский издатель (а мог бы и бельгий-
ский, и канадский). Во все время, пока ты
вел эти переговоры, ты, мне кажется, был
легок, свободен, весел, и, как всегда, ни на
миг не терял свойственного тебе изящного
достоинства. Унижаться перед Лаффоном ?
Это не могло тебе притти в голову, ты с
издательством — партнер равноправный, гор-

дый и, главное, свободный. Захотел — пришел, захотел — ушел. Захочешь — придешь опять. Рассказывают, что когда Ю. Тынянов опубликовал свой первый исторический роман «Кюхля», Маяковский встретил его словами: «Тынянов, давайте поговорим как держава с державой». Так вот, ты, мой дорогой француз, ты — держава, и никто твои права и твое достоинство ущемить не может. При любых обстоятельствах у тебя сохраняется свобода — свобода выбора. (О, я прекрасно знаю, что и ты, мой французский друг, далеко не свободен: твоя зависимость экономическая. Один из твоих соотечественников имел основания написать в 1974 году, обращаясь к писателю советскому: «У вас дерзким умам затыкают рот; у нас их подвергают бойкоту — коммерческому, финансовому, экономическому...» Однако всё это есть и на Востоке, и такой бойкот — полбеда; он преодолим. Вот когда к нему прибавляется бойкот внеэкономический, полицейский, тогда — выхода нет, и писатель оказывается рабом.)

Понимаешь ли ты, мой друг, понимаешь ли до конца, чем от тебя отличается советский литератор? Он пришел к своему Лаффону, к Лесючевскому, и, переступив директорский порог «Советского писателя», утратил достоинство: выбора нет. Кинь ему Лесючевский рукопись, рявкни он: «Лакировка!» или «Очернительство!» — рукопись обречена, литератор пропал. Он, конечно, может апеллировать к обкому или ЦК, к Союзу писате-

лей или Академии Наук, но всем им Лесючевский дороже, чем какой-то писака; зачем обижать могущественного директора? Твой собрат изначально обречен на униженность. Он получает большой — бóльший, чем ты — гонорар, находясь в полной и несокрушимой зависимости от прихоти издателя, представляющего для него советскую власть. А потом, даже если главный начальник посмотрит на его рукопись сквозь пальцы, он в поочередной или одновременной зависимости от всех двенадцати перечисленных лиц или инстанций. Мнение, точнее, прихоть каждого из них определяет судьбу его труда, иногда — многолетнего. С горечью и тоской вспоминаю лица писателей, которых доводилось видеть в издательских коридорах: на них печать скрытой искательности, намеренно хмурого достоинства или наигранной бодрости. Конечно, есть и другие, выше этого: не Михалков зависит от издателя, а издатель от Михалкова. Соотношение иное: собеседники меняются местами. Но неизменным остается: на одной стороне — искательное ожидание, на другой — право на безнаказанный произвол. Лицо одного из собеседников выражает власть, лицо другого — зависимость.

Иногда западные наблюдатели — из числа сочувствующих нашей интеллигенции — думают, что несвобода советского литератора — следствие цензуры и что, устрани цензуру, наступит у нас царствие свободы. Нет, все сложнее. У нас цензура многоступенчатая, ее осуществляют все двенадцать перечисленных

инстанций, а важнее их всех самая первая или, если угодно, тринадцатая : сам автор, который уже в рукопись не пропускает того, что он сам считает нецензурным — это так называемая « автоцензура », осуществляемая под лозунгом : « Все равно не пропустят ! » ; — на долю цензуры как таковой (Главлита) остается совсем немного.

В истории русской словесности прошлого века бывали периоды, когда именно « домашняя » цензура причиняла литературе наибольший ущерб. Цензор пушкинской эпохи С.Н. Глинка вообще не снисходил до чтения рукописей или корректурных листов — он подписывал, не заглядывая в них. Глинка любил говорить : « Дайте мне стопу белой бумаги, я подпишу ее всю по листам как цензор, а вы пишете на ней всё, что хотите ! Да ! Я не верю, чтобы нашелся такой человек, который употребил бы во зло доверенность цензора ; когда притом он и сам отвечает за то, что пишет ». И Глинка не ошибался : известное время авторы его не подводили. « домашняя » цензура действовала безотказно ; продержался он четыре года, и в своих « Записках » не без иронии заметил : « ...только в 1830 году приключилось, что в одно время король французов слетел с престола, а я с цензорского кресла ». Как бы там ни было, С.Н. Глинка, этот « цензор без страха и упрека » (он заслужил этот титул, данный ему потомками), доказал, что при рыцарских взаимоотношениях можно полагаться на исправное функционирование автоцензуры —

она и сама по себе может обеспечить порядок в литературе.

В советских условиях никакого рыцарства нет и «цензоров без страха и упрека» не бывает, но автоцензура свою губительную миссию выполняет: она превратилась в рабочий инстинкт.

Впрочем, дело вообще не столько в цензуре, сколько в отсутствии свободы выбора, в партийно-государственной издательской монополии. Еще недавно было легче с журналами — пока существовал «Новый мир» Твардовского; позднее остался лишь выбор между разными градациями правой идеологии: от русофильской до сталинистской.

Отсутствие выбора — самая полная форма несвободы. Выбор утомителен, это каждый раз тяжелая работа. Трудно, выбрать мировоззрение, когда перед тобой открыты десятки учений и каждое из них по-своему привлекательно; выбрать, какую читать газету, когда тебя манит множество взаимоисключающих заголовков; трудно выбрать, за какую партию голосовать на выборах — все они обещают рай на земле; выбрать автомобиль той или иной марки, когда тебе предлагается сотня равноценных. Каждый из таких избирательных актов утомителен, но это усталость благотворная: проявляя свободу воли, становишься человеком. В Советском Союзе жизнь куда проще, и, главное, психологически безответственной: мировоззрение дано заранее, другого не выберешь не только потому, что — опасно, но и за отсутствием

источников; газета, в сущности, издается одна — под разными названиями и с некоторыми жанровыми оттенками: «Комсомольская правда» отличается от «Правды» стилистическими вольностями да игрой в занимательность; за какую партию голосовать — решить нетрудно. А уж кого поставят нами править... В решении этой проблемы народ не участвовал со времен избрания на царство Бориса Годунова:

Народ *(на коленях. Вой и плач.)*
Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!

Один *(тихо)*

О чем там плачут?

Другой

А как нам знать? То ведают бояре,
Не нам чета.

Приехавшие из Советского Союза на Запад, недолго позавидовав, склонны проклинать изобилие — материальное и духовное: зачем это им? Выбор утомителен. Уставать они не хотят. Так просто, когда все дано заранее и предопределено однозначно! Несвобода легче свободы. Никакой ответственности перед собой, а уж перед другими и подавно.

С другой стороны, отсутствие выбора — это форма рабства. Но ведь и рабу легче жить, чем свободному. В стремлении к легкому существованию одна из разгадок той приверженности многих наших современников к партийной идеологии, которая удивляет че-

ловека свободного от рождения и во всяком рабстве видящего проклятие. Он, этот свободный, превыше всего ценит не легкость предписанных решений, а гордое достоинство независимости. Сколько раз мне приходилось слышать и даже читать, что отсутствие выбора — это и есть подлинная свобода, ибо выбор (а значит — и выборы) загромаждает жизнь ненужными заботами, а голову — лишними мыслями, вызывает вздорную сумятицу чувств и отвлекает от главного, от неуклонной целеустремленности, позволяющей создать здоровый коллектив. Выбор способствует буржуазному индивидуализму, разрушению социальной или национальной общности, отсутствие же его — строительству коммунистического общества.

Советский литератор, не подчинивший свое перо каким-то без него и над ним принятым решениям, безжалостно вытесняется в пользу безропотных исполнителей. Он вытесняется вовсе не в тех только случаях, когда со взглядами сегодняшней «Правды» его политические взгляды не совпадают. Напрасно ученый думает, что, скажем, в специальных вопросах лингвистики он понимает больше секретаря райкома. Секретарь всегда все знает лучше. В звездные часы хрущевской свободы писательница Е. Катерли, выступая в Ленинградском Союзе писателей перед собранием литераторов, высказала эту мысль, приведя восточное изречение :

— Когда мы знаем и умеем, мы делаем. Когда мы знаем и не умеем, мы учим других.

Моего друга, знаменитого филолога, исключили из партии в начале семидесятых годов в частности за то, что когда-то, в тридцатые-сороковые годы, он проявлял свое несогласие с академиком Марром. Как известно, Н.Я. Марр в течение нескольких десятилетий считался единственным носителем марксистского языкознания, и противники Марра приравнивались к противникам диалектического материализма; в 1949 году Сталин вдруг развенчал Марра и марксистами стали считаться именно и только противники его идей. В начале же семидесятых годов нашего лингвиста исключают из партии, выдвигая среди прочих обвинение в том, что в сороковых годах он выступал против Марра. — Как, — изумленно спрашивает лингвист, — но ведь я оказался прав? Ведь позднее партия встала на мою точку зрения?

Тогда ему заявили (на заседании в парткоме):

— Вы что же, умнее партии, и вы были правы, когда партия ошибалась? Вы хвалитесь тем, что не ошибались вместе с ней? Что она пришла к вам и с вами согласилась — после того, как вы боролись с ней? Да, вы с партией боролись, вы ей противопоставили себя. Вам в партии не место.

И лингвиста исключили. Он пробовал спорить, но ничего ему не помогло. Партия всегда права. А если так, то она не ошиблась, исключив из своих рядов лингвиста, раньше нее и вопреки ей обнаружившего несогласие с Марром. (Теперь этот лингвист, В.Д. Левин,

профессор Иерусалимского Университета.
Примечание 1976 года).

А в основе рабства — отсутствие свободы выбора.

Итак, передо мной лежала еще одна рецензия с пугающим названием «контрольная»: она призвана «проконтролировать» — следовательно, установить, что все делается по закону. Что предыдущие отзывы написаны не близкими родственниками автора и не за бутылку коньяка. Что автор в самом деле не списал своего сочинения у дяди или соседа. Словом, рецензия — «контрольная», исходящая из правительственных сфер Государственного Комитета по делам печати (в литературных кругах его давно уже прозвали «Комитетом подделом печати»). И вот я читаю этот удивительный документ. Заглядываю в конец — подпись отрезана. Это, значит, так полагается: для беспристрастности, что ли. Ладно, буду читать, не зная автора. Постараюсь реконструировать в моем сознании его образ.

Рецензия начиналась строчками вступления:

По логике серьезной литературной и издательской практики сопроводить эту огромную расклейку-рукопись должен был бы обоснованный, аргументированный издательский документ (заключение, решение — дело не в названии), объясняющий не просто издание (издание было осуществлено в 1970 г.); а необходимость, обязательность переиздания этой работы издательством «Детская литература», переиздание книги, предназначенной прежде всего, конечно, для мо-

лодых людей, соприкасающихся в школе или в жизни с поэзией.

Такой аргументацией предложение издательства не сопровождается. Поэтому, умышленно или не умышленно, любой человек, читающий предлагаемую к переизданию рукопись, поставлен в условия, при которых он должен будто бы доказать и позицию издательства и, если смысл переиздания неубедителен (а он никем из издателей не высказан), то опровергнуть ее. Мягко говоря, это неэтичная позиция издательства по отношению к авторам и читателям. Но неэтичность поведения одной стороны всегда вызывает сложность для другой.

В данном случае, однако, уходить от этой сложности не надо, ибо речь идет об общественном, а не личном акте — о проблеме переиздания книги.

И вот, как только мы коснемся общественного назначения издательской практики, так и возникает множество вопросов и недоумений.

Предположим, я бы не знал, откуда исходит рецензия; все равно догадался бы, что из высших сфер: ее автор сурово распекает издательство, которое, дескать, не мотивирует необходимости переиздания: это и несерьезно, и неэтично. Рецензент настолько важный начальник, что, стоя выше издательства, может позволить себе не заботиться о логике и даже грамотности. Что это значит: «... если смысл издания неубедителен (он никем из издателей не высказан)...»? Кто не высказан? Смысл? Ясно одно: дело нешуточное, государственное; критик — человек масштабный, он ведет речь не о мелочах, а об «общественном

назначении издательской практики». Продолжаем :

Чтение книги Е. Эткинда — трудное дело, откровеннее говоря — скучное дело. Можно было бы написать о том, о чем написал Е. Эткинд, гораздо короче, интересней и убедительней, а можно было и еще длиннее, и менее убедительно. Е. Эткинд стоит на втором пути.

Нет, читатель не упрекнет его в незнании стихов, в отсутствии эрудиции. Стихи автор книги знает, может, наизусть, может, пользуясь библиотекой, работая над рукописью. Это — частность.

Что же все-таки главное? А главное состоит в том, что работа Эткинда несет в себе удивительную, прямо напорную силу отпугивания молодого читателя от поэзии. Она не помогает ему дышать объемным воздухом ее назначения, а паталогически расчленяет ее на понятия, носящие частный, не определяющий ее миссии характер. Она делает то, что, скажем, неловко делать : стоя над расчлененным телом бывшего человека, упорительно и долго говорить о великом предназначении Человека и Человечества.

Когда тебя поносят, это всегда неприятно. Читая эти строки, я испытывал не столько обиду, сколько изумление. Кто же это пишет? Понимает ли он сам, что его рецензия пародийна? « Можно было бы написать... гораздо короче, интересней и убедительней, а можно было и еще длиннее, и менее убедительно. Е. Эткинд стоит на втором пути ». Ну, всегда можно и короче и длиннее, — стбит ли это констатировать? Однако на каком пути стоит

Е. Эткинд? Он пишет «и еще длинее, и менее убедительно», чем сам написал? » Работа Эткинда не помогает читателю... » Что? Что? Вчитываюсь, читаю несколько раз, и все равно понять не могу: «...дышать объемным воздухом ее назначения». Впрочем, одно несомненно: рецензент бешено зол, его от злости даже заносит... Дальше идет художественная иллюстрация — не буду ее пропускать: она обнаруживает уровень моего оппонента:

У хорошего сегодняшнего русского прозаика Евгения Носова в повести «Моя Джомолунгма» есть прекрасная мысль: сам человек, искалеченный войной, безногий, но оставшийся сильным и мужественным, говорит своему собеседнику:

«— Я ведь тоже когда-то в школе, как и ты, изучал человека, — сказал он, усмехнувшись. — Зубрили всякие позвонки, внутренности. Разбирали всего по косточкам. Малая берцовая, большая берцовая... Всего обшарили на макете. Черта с два! Разве из этого состоит человек! Он, брат, из чего-то другого.

Иван сидел передо мной, как птица, жилистыми пальцами обхватив края стула, и я, размышляя над его словами, вдруг поразился остроте его мысли: в нем самом не осталось ни большой, ни малой берцовой кости, а человек в нем остался».

Этого Человека — Поэзию читатель в работе Эткинда не увидит, увидит одни «берцовые»...

Сравнение с «Моей Джомолунгмой» странное: в самом деле, человек состоит не из одних «берцовых», но ведь анатомия и не претендует на то, чтобы заменить собою, скажем, психологию. Раз-

ве тот несомненный факт, что человек — не одни кости, делает анатомию не-наукой или наукой вредной, формалистической? Удивительно, почему рецензент не подумал об этом? Чего он хочет? Да ведь и, кроме того, моя книга не останавливается на разборе «берцовых костей» и например, метра и ритма, а предлагает читателю целостный анализ стихотворений. Только «целостный» без анатомии — невозможен...

У нас о поэзии написано немало, Кое-какие библиографические ссылки Е. Эткинд делает. Но поразительно, что в этих ссылках нет ни словечка упоминания даже о таких действительно серьезных работах в области теории стиха такого поэта, как Александр Коваленков, хотя студенчество — творческое студенчество Литинститута им. Горького — около двух десятков лет училось на его работах. Нет ни слова о глубоких, действительно великолепных раздумьях о поэзии таких поэтов, как Мих. Луконин, Вас. Федоров, С. Наровчатов, С. Васильев, К. Ваншенкин, выпустивших в последние годы интересные книги об этом.

Как может эрудированный автор не видеть, не заметить этого? Или он не знает об этих книгах? Или более того: каждый из названных мною поэтов в своей книге увязывает смысл поэзии с ее художественным и общественным назначением. Очевидно, это не забывчивость автора. Очевидно, здесь цель другая: вести разговор о ней именно в отрыве от главного — от содержания творчества поэта, от его общественного назначения. У Е. Эткинда нет анализа живой поэзии. У него воссоздан некий макет поэзии для «обшаривания», о котором упоминается в повести Носова. Странно —

цель поставлена — любить поэзию, живую и бессмертную, а предлагается для анализа некий макет ее.

Терминологическая угнетенность, злоупотребления понятиями, спецефическими для цехового дела поэзии — вот главный объемный материал книги Е. Эткинда.

Мой безымянный, но сановный критик на этот раз прав. Я ни слова не сказал о книгах названных им авторов. Но скажу — теперь и здесь скажу. Кто такие — все эти люди?

ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛЮДОЕДАХ

*Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку.*

Александр Галич.
Памяти Б.Л. Пастернака.

Александр Коваленков. Он много лет преподавал молодым писателям в Литературном институте, сам писал стихи и выпустил несколько вульгарных сочинений о стихе. Я писал о них — в книге «Поэзия и перевод», вышедшей в 1963 году; собирался было полемизировать с Коваленковым, но понял, что эти «труды» того не стоят, и посвятил ему несколько иронических абзацев. Чему «творческое студенчество» у него научилось, можно себе представить по данной рецензии, — видно, ее автор тоже учился на «серьезных работах в области теории стиха» Александра Коваленкова. Добавлю, что с самим Коваленковым я был знаком во время войны — он

служил « поэтом » в карельской фронтовой газете « В бой за Родину » и ничем не отличался, кроме фантастической памяти и политических доносов, по одному из которых был арестован (и едва не погиб) мой старший друг, ныне покойный критик Федор Маркович Левин. Коваленков написал во фронтовой « особый отдел », будто бы Левин ведет « пораженческие разговоры », не верит в победу, клеветает на советские вооруженные силы. По тем временам военный трибунал мог приговорить майора Левина к расстрелу, но Левину сказочно повезло : следователь, который вел его дело, оказался человеком порядочным : он сочувствовал старому коммунисту (с 1917 г.) Левину куда больше, нежели доносчику, и выручил казалось бы обреченного арестанта. Федор Левин, просидев около года в армейской тюрьме и уже успевший поработать на Беломорканале (дело происходило в городе Беломорске, на 19-м шлюзе канала), вернулся в редакцию « В бой за Родину » реабилитированным, а Коваленкову пришлось проситься в другую часть. Нет, не совесть его заела, а страх перед своими товарищами.

Вот кто « около двух десятков лет » обучал будущих писателей и на кого я в моей книге не ссылался. Музыканты всех стран поклялись не исполнять музыку Сальери, видя в нем не композитора, а убийцу Моцарта. Должны ли мы, литераторы, быть великодушнее ?

Михаил Луконин. Поэт, автор нескольких

сборников и книжки о собственных стихах. Не буду его обстоятельно характеризовать, приведу лишь несколько цитат из его доклада « Проблемы советской поэзии (итоги 1948 года) », опубликованного в журнале « Звезда » в светлой памяти 1949 году (№ 3) :

« Пастернак удовлетворялся и дорожил только тем, что его признавал заграничный выродившийся хлам... Всю жизнь в нашей поэзии он был свиньей под дубом. Буржуазные эстеты и безродные космополиты на все лады прославляли юродливое и лживое творчество Пастернака только потому, что он щекотал их антипатриотические чувства, капал елей на их коленопреклоненные перед Западом души. Не случайно так вспыхнул среди формалистов и эстетов культ Ахматовой : Ахматова появилась, как магнит, и притянула к себе все ржавые опилки, весь сор в наших рядах ». (стр. 185).

А вот из рассуждений Луконина о Заболоцком : « Автора обуревают какая-то душевная паника... Ложное, позерское отрешение от человеческого разговора, надуманная многозначительность... Никому не нужно это иконописное мастерство, рассуждения о стихиях и толпах, о мирозданиях и прочей символике. Нам нужен советский человек во весь рост, умный и гордый человек... » и т. д. (стр. 189).

Не ясно ли, почему у меня нет « ни слова о глубоких, действительно великолепных раздумьях о поэзии таких поэтов, как М. Луконин... » ?

Сергей Васильев. Умер недавно и этот « са-

тирик », (как и два предыдущих персонажа), а, как известно, « aut bene... » Нет, С. Васильев (как и оба предыдущих) не заслужил даже того уважения, которого удостоивается смерть. Он — редкий образец откровенного охотнорядца. В свое время, в 1949 году, С. Васильев позволил себе — понимая безнаказанность! — прочесть в Союзе писателей юдофобскую поэму с прозрачным названием — « Без кого на Руси жить хорошо ». В этой, с позволения сказать, « поэме » рассказывается (« почти по Некрасову ») о том, как

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Советской нашей критики
сошлись и зазлословили
двенадцать злобных лбов.

Все эти « лбы » — космополиты, то бишь евреи, и они спорят о том, каких русских писателей в первую очередь уничтожить и кому из них, евреев, при этом быть главным :

Космополит, он смолоду
как старьй бык : втемяшится
в башку какая блажь, —
колом ее оттудова
не выбьешь : упираются,
всяк на своем стоит!
Такой скандал затеяли,
что думают прохожие,
советские читатели :
чай, клад космополитики

тут делят меж собой?
Идут и чертыхаются,
цитатами бодаются,
что дале, то сильней.

Космополиты составляют гнусный комплот —
« врагам заморским наруку, друзьям Руси
назло ». Чтобы скрепить зловецкий сговор,
надо, ясное дело, выпить и закусить. И вот :

Один бежит за водкою,
второй мчит за селедкой,
а третий, как ужаленный,
летит за чесноком.

Как же без чеснока? Без чеснока еврей не
может. От него непременно должно за версту
разить чесноком. Выпивая и закусывая,
космополиты вырабатывают антисоветскую
литературную программу :

— Зачем нам проза ясная?
— Зачем стихи понятные?
Спектакли злободневные
На тему о труде?

Все это, значит, ни к чему — уничтожим!
Раздавим! Истребим! А вместо социалисти-
ческой, понятной, здоровой литературы о
труде —

Подай Луи Селина нам,
подай нам Джойса, Киплинга,
подай сюда Ахматову,
подай Пастернака!

Бегут космополиты, врываются в совет-

скую культуру, все круша и ломая на своем пути, их много, этих Финкельштейнов :

Гуревич за Сутыриным,
Бернштейн за Финкельштейном,
Черняк за Гоффеншефером,
В. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Руниным,
за Хольцманом Мунблит.
Такой бедлам устроили,
Так нагло распоясались,
вольготно этак зажили,
что зарвались вконец.

Так зарвались эти злодеи, так разжирели,
столько награбили государственных денег,
столько напекли « отравных » книг, статей
и рецензий, что забыли о грозном народном
суде :

Плюясь, кичась, юродствуя,
открыто издеваясь
над Пушкиным самим,
за гвалтом, за бесстыдною,
позорной, вредоносною,
мьшиною возней
иуды-зубоскальники
в горячке не заметили,
как взял их крепко за ухо
своей рукой могучею
советский наш народ !
Взял за ухо, за шиворот,
за руки загребущие,
за бельма завидующие —
да гневом осветил !

Это еще не конец « поэмы », которую незря назвали « энциклопедией погрома » — да цитировать противно. Целиком ее можно прочесть в интересной книге Григория Свирского « Заложники » (Париж, 1974, стр. 427-429). Кажется, русский стих и русское литературное слово еще никогда не служили для такой откровенно расистской, разнуданной похабщины. И что же ? Осудили Сергея Васильева как фашиствующего хулигана ? Его даже не попрекнули, от него не отмежевались, его выбирали в руководящие органы и печатали в « Правде ». А когда он отдал концы, множество солидных организаций поспешили выразить свою скорбь. В газете « Московская Правда » от 4 июля 1975 года появилось торжественно-траурное объявление, гласившее :

*Секретариат правления Союза писателей СССР,
секретариат правления Союза писателей РСФСР,
секретариат правления и партком московской писательской организации
с глубоким прискорбием извещают
о смерти члена КПСС, члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии РСФСР, известного поэта
**СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ВАСИЛЬЕВА**
и выражает соболезнование родным и близким покойного.*

И все эти секретариаты всех этих правлений тем самым выразили свою солидарность с лауреатом и людоедом, автором «энциклопедии погрома», Впрочем, чего от них хотеть? У них нет чувства истории. Они забыли, неверно, каким объявлением в свое время почтили поистине великого поэта :

*Правление Литературного фонда СССР
извещает о смерти писателя, члена Лит-
фонда,*

**БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА
ПАСТЕРНАКА,**

*последовавшей 30 мая сего года, на 71
году жизни, после тяжелой и продолжи-
тельной болезни, и выражает соболезно-
вание семье покойного.*

Сопоставление этих двух объявлений поучительно. Их разделяет ровно пятнадцать лет. Изменилось ли что-нибудь между 1960 и 1975 годами? Пастернак умер членом Литфонда, а Васильев — государственным лауреатом. О Пастернаке до сих пор пишут, что его поэзия далека от народа, а сам он вызвал негодование предательским опубликованием за границей своего романа и присуждением ему Нобелевской премии. О С. Васильеве пишут иначе: он — образец партийности и народности. О смерти его в 1975 году все секретариаты всех правлений извещают «с глубоким прискорбием», которого они не испытывали пятнадцать лет назад, когда

смерть Бориса Пастернака оплакала в незабываемых стихах Анна Ахматова, принужденная, однако, поставить под ними ложную дату (1957 — вместо 1960), чтобы те, кому не надо, не догадались, о ком идет речь :

*Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник роц.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное — Земли.*

Видно, прав был покойный людоед, когда поставил рядом имена этих двух поэтов —

*подай сюда Ахматову,
подай Пастернака!*

Но никакие издевки, ни даже паскудный сдвиг ударения не легли и легкой тенью на светлую память Пастернака. Сергей же Васильев, если и останется в истории русской литературы, то как опозоривший ее погромщик.

В самом деле, почему бы мне наряду с Пастернаком, Ахматовой, Заболоцким не цитировать Сергея Васильева? Повторяю, мой рецензент несомненно учился у А. Коваленкова и всех прочих (кроме К. Ваншенкина, сюда поставленного по недоразумению), потому он и пишет так грамотно — в подражание Сергею Васильеву и Михаилу Луконину: « Терминологическая угнетенность (?)! ... вот главный объемный материал книги Е. Эткинда ».

Должно заметить, что знание поэтических цеховых тайн — это не определяющее начало для читателя в том, чтобы понимать и любить поэзию, тем более — для широкого круга читателей (коль предполагается переиздание), тем более для молодых людей.

Должно заметить также, если уж идти по «цеховой линии», то Е. Эткинд вводит в книгу такую технически-терминологическую систему, которая даже в специальных словарях (А. Квятковский) не отражена.

К примеру, на стр. 40 Е. Эткинд подчеркнуто начинает разговор о том, что такое многоосмысленность лирики. А. Квятковский уходит от этого термина. Е. Эткинд вводит его именно как термин. Но если бы за этим была хоть какая-то научная убедительность! В частности Е. Эткинд пишет (со ссылкой на цитату из А. Ахматовой): «достаточно произнести имя «Пастернак» и сочетания слов, казавшиеся до сих пор общими, начнут вызывать конкретные ассоциации — «Собеседник роц»... Для Пастернака парк, сад, роца были самым полным осуществлением природы...»

Но ведь все дело-то в том, что недостаточно для многочисленного советского читателя произнести имя «Пастернак». А разве, если мы произнесем имя «Пушкин» или «Есенин» или «Прокофьев» или произнесем имена других поэтов — для них понятие «Собеседник роц» — исключенное, не отраженное в их творчестве?! Чем вызвана такая навязчивая узость «научной позиции» автора? Понятие т. н. «многоосмысленности» оборачивается здесь узостью мысли или слишком

ограниченными пределами раздумий о богатстве нашей отечественной поэзии.

Что за ахинея, какая такая «многоосмысленность»? Подобного слова я не слышал никогда. Мой критик его повторяет несколько раз, он искал его в «Поэтическом словаре» А. Квятковского, а у меня его и нет, и не было. Я пишу «многоосмысленность» и это — простое русское слово, даже и не термин; термин — лингвистический — звучит так: «полисемантизм». Рецензент придумал слово и сам топчет его! Как же он читает? Или это опять все нарочно?

Вводятся другие терминологические понятия — «лестницы смыслов». Причем, с такой детализацией: «вверх по лестнице смыслов» — да еще с движениями по ступеням: «ступень первая», «ступень вторая», «ступень третья», «ступень четвертая»... Это о стихах А. Фета. Да, простите, все-таки большее наслаждение получишь, прочитав стихотворение А. Фета «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер», стихотворение всего из 20 строк, нежели от движения «по лестнице» комментатора, который только вынимает душу из стихов и оставляет одну «лестницу смысла», которая, как пишет автор, «прямо связана с принципом неопределенности».

Стоило бы удивляться, если бы наша молодежь жадно ждала именно таких «научных комментариев» к глубинной, многовековой поэтической работе самых талантливых сыновей своего народа.

Будто бы я утверждаю, что мои комментарии должны доставить читателю «большее насла-

ждение», чем стихи Фета! Ирония рецензента так же неопровержимо убедительна, как его патетика. Дальнейшее я почти не буду комментировать: нелепость утверждений критика ясна всякому, даже не слишком подготовленному читателю. Все, что он пишет о значении слов у поэта, о понятии «контекст», о «времени» в поэзии и, в частности, у Маяковского — примитивно до безграмотности. Придумать такой документ нельзя. Все здесь характерно: кипящая в нем злоба, находящая себе выражение в не слишком грамотных восклицаниях и ехидных политических намеках; вульгарно разговорные обороты, намеренно противопоставленные тому, что обыватель называет «толстограммными выражениями», издевательское цитирование само собой разумеющихся фраз с разухабистым комментарием; осуждение всякой попытки объяснить, разобрать, даже просто понять; беззастенчивый политический или идеологический подтекст, рассчитанный на то, чтобы и дискредитировать автора, и вызвать его бешенство:

«Ах, в том то и беда, что Эткинда нельзя читать, как Белинского, Добролюбова и Писарева...»

«...Вадим Шефнер — мастер стиха», «Яков Козловский — виртуоз стиха»... Право, самим авторам, наверно, неудобно было бы читать это о себе». (Туркин ошибся: у русского поэта В. Шефнера случайно не по русские звучащая фамилия!)

«...диву даешься, как в этом объемном труде не нашлось места для серьезного прикосновения (?), а то и вообще для упоминания, творчества таких поэтов, как А. Твардовский, Я. Смеляков, Вас. Федоров, М. Луконин, С. Наровчатов, М. Дудин,

Н. Рыбенков, О. Берггольц. К. Симонов — *воистину оставивших и оставляющих глубокий след в нашей отечественной поэзии*». Твардовский назван для отводу глаз, в моей книге он присутствует уже и в первом издании, и даже имеется «серьезное прикосновение к его творчеству», а вот Вас. Федорова, М. Луконина, С. Наровчатова действительно нет и не было; никакого следа — а уж тем более глубокого — они нигде не оставили. По сути дела, их в русской литературе нет. Ну, да уж это вопрос особый, не здесь его обсуждать.

Позднее я узнал имя рецензента — Владимир Павлович Туркин. Узнал, что он крупный чиновник в Комитетах по делам печати. И еще : что он сам стихотворец из круга Сергея Васильева и Василия Федорова. «Литературная энциклопедия» сообщает, что В.П. Туркин долгое время, с 1947 до 1953 года, работал в Китае, (где, видимо, и научился приемам «культурной революции»), а потом — главным редактором русофильского издательства «Советская Россия» (1956-1972); что он выпустил несколько сборников стихов, из них первый, прославляющий дружбу Сталина и Мао, озаглавлен «Москва — Пекин» (1951); что его в рецензиях восхваляли такие же, как он, патентованные реакционеры — В. Дементьев, В. Цыбин, Дм. Ковалев. Стихи его я поглядел и приводить здесь не стану. Можно получить достаточное представление о Туркине-поэте, почитав Туркина-критика : они стоят друг друга. И все-таки две его строчки заслуживают остаться в нашей памяти, — очень уж они хорошо характеризуют их автора :

*Все чаще мне становится тревожно
За тех из нас, кто болен добротой.*

И снова передо мной встал вопрос: смириться или воевать? В подобных случаях можно апеллировать к Комитету по делам печати, но Туркин сам и есть этот Комитет. Более того, он, Туркин, представляет оба Комитета сразу: и РСФСР, где он главный редактор, и СССР, где он заместитель главного. Я сказал — оба Комитета, но думаю, что не ошибусь, сказав: все три. Третий — это всем комитетам Комитет, — Государственной безопасности: не случайно же именно Туркину поручили разгромить мою книгу перед самым ее изданием — рецензия, датирована февралем, сразу после высылки А.И. Солженицына.

Приближался, как на войне говорили, день икс.

Конец марта. Мне вручена рецензия Туркина, которая явилась следствием длинной цепи событий: появление на Западе и начало широкого чтения по нескольким радиостанциям «Архипелага ГУЛаг»; травля автора «ГУЛага» в советской печати; высылка его из СССР в середине февраля 1974 года, и вот тогда же в феврале, когда на весьма высоком уровне было принято решение изгнать Солженицына, решили раздавить его «ленинградского уполномоченного» — видимо поэтому именно в феврале Туркин истребляет «Разговор о стихах». А дальше — вот хроника апреля:

1 апреля. Обыск у М. Хейфеца. Найдены мои пометки на полях статьи о Бродском и мое письмо с оценкой этой же статьи.

10 апреля. Вызвали на допрос в КГБ в связи с делом № 15 (Хейфеца и Марамзина), а также моими взаимоотношениями с А.И. Солженицыным.

12 апреля. Пишу ответ В. Туркину и рассылую его по нескольким адресам.

23 апреля. Вызывает ректор Педагогического института и сообщает о предстоящем изгнании из Института.

25 апреля. Ученый Совет — снятие профессорского звания и увольнение. Секретариат Союза писателей — исключение из Союза.

Вот в какой контекст (да простит мне Туркин это слово) попадает рецензия, с которой только что познакомился читатель. В свете дальнейших событий можно с уверенностью сказать: не случайно она была написана и пущена в ход именно в эти дни. Прежде, чем исключать автора из Союза писателей, увольнять его с работы и из профессоров, надо было его дискредитировать, разгромить как литератора, лишить права на какие бы то ни было претензии к издательствам.

Того, что случится через две недели, я не предвидел и, как прежде, ринулся в бой: написал ядовитый и, мне казалось, неотразимый ответ. Я еще думал, что борьба может мне принести победу. Мало того, я даже радовался тому, что рецензия так слаба, озлоблена и (думал я) беспомощна: это укрепляло мои позиции. Для солидности я подписался всеми титулами, не зная, что только еще две недели буду иметь на них право и что в последний раз ими козырю. Резенцию В. Туркина я перепечатал во многих экземплярах, как до того — рецензию Тимофеева, и разослал по разным

адресам — в Союз писателей РСФСР и СССР, а также, на этот раз, еще и в Центральный Комитет КПСС.

Кажется, эти письма были последними моими попытками бороться за книги — в «той жизни». Ответов я не получил, все оборвалось. После 25 апреля я вел уже другую борьбу, писал другие письма и ждал других ответов.

Глава седьмая

ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Утром десятого апреля раздался звонок в дверь — штатский молодой человек принес повестку: вызов в Управление Государственной Безопасности, на Литейный проспект, дом шесть. С КГБ у меня до того встреч не бывало — если не считать его стукачей и топтунов, вот уже несколько месяцев следовавших за мной по пятам. Я направлялся к Большому дому, мимо которого проходил достаточно часто, косясь на плотно замкнутые добротные ворота: его бурая громада устрашающе высится напротив Дома писателей имени Маяковского, как постоянное напоминание о «карающем мече Революции» — по большим праздникам этот меч (правда, изготовленный из безобидной фанеры) украшает внушительный фасад на Литейном. Фасад Большого дома я запомнил с 1937 года; его облицовывали гранитными надгробиями, на которых читались потемневшие надписи: «Генерал от инфантерии»..., «Действительный статский советник..». Плиты приклады-

вали надписями к стене. Это страшноватое впечатление осталось на всю жизнь. И еще я вспомнил рассказ о том, как архитектор Ной Троцкий создавал проект Большого дома, сидя в Шпалерной тюрьме, которая, когда Дом построили, оказалась включенной в его комплекс и образовала «внутреннюю тюрьму»; но уже Ноя Троцкого не было в живых: он пал жертвой своей неблагозвучной фамилии (и, конечно, того факта, что проектировал Большой дом а, значит, хорошо знал расположение всех помещений). Но можно ли именоваться Троцким? Правда, самого Троцкого звали Львом Бронштейном; никто в это не вдумывался. Из Гомеровой «Илиады» вырывали предисловие другого Троцкого, Иосифа Моисеевича, эту крамольную фамилию на титульном листе замазывали типографской икрой; пришлось Иосифу Моисеевичу, замечательному и уже к тому времени — речь идет о тридцатых годах — известному ученому-классику, поменять фамилию и стать Тронским (за три с половиной десятилетия он сумел прославить и псевдоним). Этот анекдот — не бессмыслица: страх перед магической силой звука здесь получил трагикомическое выражение. А этот страх связан с глубинными свойствами режима. Совсем уж только что какой-то из читателей, кажется, газеты «Советская культура», без тени юмора возводил фамилию «Солженицын» к таким ее истокам: «солжец» с империалистами, он падает перед ними «ниц»; человек с такой фамилией иным быть не может и, конечно, заслуживает истребления.

Обо всем этом — и о многом другом — я думал, приближаясь к Большому дому, а потом двигаясь

по этажам и длинным коридорам. Некоторые двери были приоткрыты, я видел одинаковые кабинеты и всюду над письменным столом висел тот же Ленин, а в конце каждого многодверного коридора стоял — спиной к окну — тот же позолоченный гипсовый бюст. Майор Рябчук оказался довольно молодым, в роговых очках и с пробором, с бабьим, круглым и непроницаемым лицом; был он похож скорее на учителя, чем на следователя по особо важным делам, каковым оказался. Разговор шел долгий, Рябчук задавал по всей форме официальный вопрос (перед ним лежал длинный список заготовленных) и записывал ответ, обычно короткий, если не односложный.

— Я вызвал вас свидетелем по делу № 15 по обвинению Хейфеца М.Р. в хранении и распространении клеветнических материалов. Какие показания можете дать по этому делу ?

— Никаких. Не знаю, что вы называете клеветническими материалами. Не знаю, в чем обвиняется Хейфец.

— Поставим вопрос иначе. Что вам известно вообще о распространении антисоветских клеветнических материалов ?

— Вы имеете в виду самиздат ?

— Я имею в виду антисоветские клеветнические материалы, которые в разговоре иногда называют самиздатом.

— В последнее время самиздат видеть не приходилось. Видимо, КГБ принял энергичные меры и пресек его распространение.

— А что видели прежде ?

— Разные материалы, но ни один из них не

подходит под данное вами определение. Они не были ни антисоветскими, ни клеветническими.

— Что вы имеете в виду?

— Имею в виду, например, записи судебных заседаний — судов над Бродским, над Синявским и Даниэлем, над Гинзбургом и Галансковым, последние слова подсудимых, речи адвокатов. Не считаю эти документы антисоветскими, потому что это реальные записи открытых заседаний, имевших место в Ленинграде и в Москве, при советской власти. По той же причине не считаю их клеветническими.

— Других материалов не видели?

— Нет, не видел.

— Знакомы ли вы с Хейфецом, Михаилом Рувимовичем?

— Знаком, но бегло. Он живет в одном доме с моей дочерью и я раза два-три встречал его перед домом или на лестничной площадке.

— Хейфец М.Р. передавал вам для ознакомления свою статью «Иосиф Бродский и наше поколение»?

— Да, он попросил меня прочесть рукопись, я согласился и прочел.

— Он передал рукопись вам лично или через третье лицо?

— Рукопись он передал мне лично, встретившись со мной на лестнице.

— Почему он дал свою статью для прочтения именно вам?

— Я занимаюсь теорией стиха и являюсь в этой области специалистом; кроме того, Хейфецу было известно, что я издавна в дружеских отношениях с поэтом Бродским.

Внезапно Рябчук меняет темп. До сих пор он вел допрос медленно, с паузами для записывания, даже лениво. Теперь он быстрым движением пододвигает мне какие-то листы, соединенные скрепкой, и (видимо полагается ошеломить неожиданным разоблачением) :

— Это ваш почерк ?

Вижу мою рецензию на статью Хейфеца и, сохраняя прежний замедленный темп, тяну :

— Да, конечно, мой. Это письмо, которое я написал Хейфецу о его статье.

— А это ?

Он пододвигает мне статью Хейфеца, напечатанную на мелкой машинке, с множеством помарок, и показывает на мои карандашные пометки.

— И это я писал.

— Вы понимаете антисоветский характер статьи Хейфеца ?

— Это размышления о стихах, не имеющих никакого отношения к политике.

— Статья антисоветская, а ваши пометки на полях это подтверждают и усиливают.

(Я еще свидетель или уже обвиняемый ? Не помню, что я такое начиркал на полях, но ведь не для того я писал, чтобы обсуждать в Большом доме.)

— Это ваше воображение. Мои пометки чисто редакторские.

— Например, эта ?

Он показывает мне пальцем, и я читаю мелко нацарапанные слова : « Почему полу » ? Перевожу глаза на машинописный текст; это — вопрос к строчке Хейфеца : « После оккупации Чехословакии Советский Союз превратился в полуколони-

альную державу ». В самом деле, почему « полу » ? Но, усмехнувшись, говорю :

— Это пометка стилистическая. По-русски можно сказать « колониальная держава » или « полуколония », но термина « полуколониальная держава » — нет, и не может быть. Я тут обращаю внимание автора на стилистический оборот.

Рябчук смотрит на меня с насмешливым упреком.

— Что вы имели в виду, достаточно понятно. А здесь, в вашей рецензии, вы тоже говорите о стилистике ?

Он показывает мне отчеркнутые кем-то строки, в которых я спору с Хейфецом; он, Хейфец, считает, что Бродского и его сверстников потрясли чехословацкие события 1968 года, я же, ссылаясь и на слова Бродского, и на знание его поколения, утверждаю: нет, не события 1968 года имели решающее значение для этих ребят, а подавление венгерской революции 1956 года. Вот отчеркнутые строчки: « Подумайте, был XX съезд, была сказана правда, у всех открылись глаза на собственное прошлое, и даже на подоплеку своих побед и вдруг... с той стороны петли и бомбы, с этой — танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отращивание к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 г. был грандиозной встряской. И. Бродский прав, ссылаясь на него. А 68? Уже предано забвению все, сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму злое дело Кирова, уже давно расправились с простодушным тираном Н.Х., ну, на этом фоне танки в Праге никого удивить не могли... »

— Н.Х. — это вы кого подразумеваете ?

— Того же, кого и вы. Никиту Хрущева.

— Ефим Григорьевич, вы признаете антисоветской фразу, где вы говорите о советском империализме?

— Нет, не признаю. У меня тут написано: «В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности». Разве я написал — «к советскому империализму»? А может быть — американскому или западногерманскому? Взгляните в мой текст, я вовсе не идеализирую венгерских повстанцев: Вот видите: «С одной стороны — петли и бомбы...», это с венгерской, «с другой — танки и автоматы», с советской. Я подчеркиваю, что поколение Бродского поняло ситуацию в нашем мире как безысходную, и поэзия Бродского — трагическая поэзия...

Рябчук все писал, по-временам иронически поглядывая на меня. Затем он усадил меня за маленький столик типа шахматного и попросил написать «разными красителями» один и тот же текст: карандашом, ручками шариковой и перьевой, фламастером. — Текст любой, — сказал он, и вынул из портфеля последний номер журнала «Иностранная литература», — вот, хотя бы отсюда, строчек десять.

Я начал списывать, оборвал и сказал Рябчуку, оформлявшему протокол.

— Нет, этого я писать не буду. Потом вы же меня обвините в намерении насаждать вредные взгляды среди сотрудников КГБ.

То была статья японского писателя об отношениях литературы и государства. Я не мог отказать себе в маленьком удовольствии показать ее следо-

вателю, и, кроме того, напомнить о том, как у них стряпают обвинения.

Долго я писал, создавая образцы своего почерка «разными красителями», но Рубчик писал еще дольше. Я давно кончил, ходил, разминаясь, по кабинету, разглядывал план Ленинграда на стене — вдоль полоски Невы была наклеена крохотная вырезка из газеты: «Слово не воробей...» Неужели так развлекается хмурый Рябчук? И к кому обращено это хитрое предостережение? К тем, кого уже допрашивают здесь, или к тем, которые еще гуляют там, по набережным Невы?

— Подпишите каждый лист в отдельности.

Я прочел. Подписываю. Допрос окончен. Рябчук откинулся на спинку кресла, ждет.

— Дайте ваш пропуск, я подпишу на выход.

Он уже занес ручку для подписи, но вдруг остановился.

— Я задам вам еще вопрос, уже вне этого разговора.

Теперь он вернулся к методу ошеломлять быстрой неожиданностью.

— Вы знакомы с Солженицыным, Александром Исаевичем?

— Знаком.

— С какого времени?

— С 1963 года.

— Часто встречались?

— Нет, редко.

— Когда в последний раз?

— В марте 1972 года.

— Где?

— В Ленинграде.

— Он приезжал?

— Да, приезжал.

— С тех пор виделись ?

— Мы поддерживали связь с семьей. Когда Солженицын разошелся с женой, мы перестали встречаться.

— Что вам известно о рукописи Солженицына « Архипелаг ГУЛаг » ?

— Ничего не известно.

— Так-таки ничего ?

— Ничего.

Медленно, со значением :

— Ефим Григорьевич, вам будет очень неловко, когда мы фактами докажем вам обратное.

— Это вам будет неловко. Вы вели разговор со мной вполне корректно, а теперь угрожаете, ссылаясь на какие-то факты, которых нет.

— Вы решительно отрицаете ?

— Решительно.

— Я так и запишу.

— Запишите.

Он записывает. Я слежу за его ручкой и понимаю, что смысл допроса, сердцевина его именно и только в этой заключительной и заранее как бы непредусмотренной части.

Пропуск подписан. Прошу разрешения задать несколько вопросов :

— Вы три раза употребили выражение « клеветнические документы ». Это теперь такое официальное название для самиздата ?

— Да, это термин, точное обозначение.

— Считаете ли вы, что это относится к стихам Бродского ?

— Ну, он, вероятно писал и просто лирические

стихи, которые под такое определение не подпадают.

— Я хорошо знаю стихи Бродского и ставлю вам этот вопрос, потому что у него нет ни одного политического, а тем более антисоветского стихотворения.

— Стихи Бродского я не изучал. До сих пор пришлось внимательно заниматься творчеством только двух поэтов, других.

— Каких именно ?

— Вы слишком многое хотите знать.

— Вот вы говорите, что не изучали стихов Бродского. Как же так ? Ведь вы ведете дело, с этими стихами связанное ?

— Нас интересуют не стихи, а их интерпретация.

— Можно ли заниматься интерпретацией, не зная самого предмета ?

— Кажется, вы начинаете допрашивать меня ?

— Извините, не собирался. Последний вопрос. Я храню несколько рукописей вполне безобидных стихотворений, подаренных мне автором, Бродским. Криминал ли это ?

Следователь улыбается :

— Все зависит от того, что за стихотворения. К тому же, если вы их не распространяете, это ваше частное дело. Мы не считаем криминальным простое хранение.

И вот еще напоследок — совсем незначительный мой вопрос :

— Вы меня вызвали сегодня, в среду, когда у меня нет лекций. Это случайно или преднамеренно — чтобы в институте не знали ?

— Это случайно. Мы исходим из своего распи-

сания, а не из вашего. Но в институте о вызове к нам не знают, можете быть спокойны. (О да, я мог быть вполне спокоен, и ровно через две недели мое спокойствие оправдалось весьма своеобразно, — Рябчук был мужем чести !)

Допрос окончен. Выйдя из Большого дома, я сразу же из ближайшего автомата позвонил домой. Скоро вернусь. Отпустили. Свободен.

Прощаясь со мной, майор Рябчук казался благодушным. Было это 10 апреля. Через одиннадцать дней, 21 апреля, арестовали Хейфеца. Еще через четыре дня, 25 апреля, состоялась моя гражданская казнь.

С Рябчуком мне предстояло опять встретиться два с половиной месяца спустя, 25 июня. Утром того дня принесли повестку с вызовом в КГБ — моей дочери Маше. Проводив ее до бюро пропусков Большого дома, я вернулся и сел у телефона, с замиранием сердца ожидая звонка. Звонка не было час, два, три. Потом раздался звонок в дверь : принесли еще одну повестку на сей раз мне — явиться немедленно. Я знал, что могу и не вернуться. Написал записку жене (она была на даче). Позвонил из автомата товарищу : утром вызвали в КГБ дочь, теперь меня; если не вернусь, чтобы знали, где мы. Я был готов ко всему, и даже надел ботинки без шнурков — в тюрьме шнурки отбирают.

На этот раз меня провели в пыльную приемную с мягкими креслами, там я ожидал минут сорок. Наконец, пришел Рябчук, извинился : вина не его, затянулась очная ставка. Какая ? Очная став-

ка между вашей дочерью Марией и Хейфецом. Пойдемте.

Мы сидели друг перед другом, как два с половиной месяца назад. Он был тот же, откормленный, холеный майор Рябчук, а я не был уже ни профессором, ни доктором наук, ни писателем. Кто же я такой? Свидетель по делу № 15? Или обвиняемый? Впрочем, за себя я был спокойнее, чем тогда в апреле: газеты западных стран уже оповестили мировую общественность о моем деле, уже на мою защиту выступили университеты Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, уже выразили свою солидарность со мною Международный ПЕН-клуб и Австрийское общество литературы, Дармштадская академия и французский союз переводчиков...

Почта мне почти ничего не доставляла, кроме телеграмм — их, впрочем, было достаточно; но ежедневно мне звонили из Женевы, Парижа, Базеля, Вены, сообщая о посланных приглашениях, письмах, протестах. Я знал, что вся моя почта задержана, но Рябчук то ее читал... Итак, собеседники были те же, но отношения их решительно переменились. 10 апреля шла беседа следователя со свидетелем, 25 июня — палача с жертвой. Однако же тот, кто в первую беседу мог показаться беззащитным, хотя и носил разные титулы и звания, во вторую был огражден броней всемирного внимания, хотя и был уже «никто». В апреле он стоял в темноте, подступиться к нему было легко; в июне его фигура освещена мощными юпитерами прессы и радио; дотрагиваться до него стало опасно.

— Где моя дочь? Зачем она вам понадобилась?

— Ваша дочь вызвана в качестве свидетеля. Она долго давала нам ложные показания, видимо сговорившись с вами. Пришлось устроить ей очную ставку с Хейфецом. Теперь она изменила показания и говорит правду. Вот почитайте письменное заявление обвиняемого Хейфеца.

Хейфец подробно рассказывал, как, написав статью о стихах Бродского, принес ее в соседнюю квартиру, моей дочери, и просил передать мне. Рябчук дождался, пока эти строки прочел я :

— Десятого апреля вы утверждали, что статью получили от него — из рук в руки. Хейфец утверждает, что статья передана вам через дочь. Теперь Мария Ефимовна Эткинд согласилась подтвердить показания Хейфеца. Остается противоречие с вашими показаниями.

Молчу.

— Нам надо передать дело в суд. Хейфец проявил искренность, до сих пор он не лгал. Если вы будете настаивать на своем варианте, его дело осложнится. Признайте, что статья получена вами от дочери, и мы закроем следствие.

— Менять свои показания я не собираюсь.

— Придется устроить вам очную ставку с дочерью.

— Это незаконно. Очной ставки отца с дочерью делать нельзя.

— Законы мы знаем. Нам необходима правда. Сейчас вам принесут протокол допроса Марии Эткинд.

Появился второй следователь — тот, который допрашивал Машу. Я прочел протокол : Маша сначала твердила, что статьи от Хейфеца не получала а после очной ставки заявила : — « Раз

он так утверждает, значит так и есть. Я не хотела этого говорить, потому что боялась ответственности». Это была неправда. Она не ответственности боялась, а — не хотела вступать в противоречие со мной. Я же стоял на своем, не желая усугублять вину Хейфеца: если его рукопись прошла через чьи-то руки, ему было легко приписать «распространение».

— Вы отец, вас пугает ответственность дочери, — сказал Рябчук. — Даю вам честное слово коммуниста, ей ничего не грозит.

— Какие у меня гарантии?

— Гарантии? Я вам дал слово коммуниста. Если вы будете упорствовать, следствие затянется, Хейфец будет все это время сидеть в тюрьме, а мы будем устраивать очные ставки и вести допросы, пока не снимем противоречия между показаниями.

Я отлично понимал, что двигают ими совсем другие побуждения: желание не закрыть следствие, а прибавить Хейфецу «распространение». Но я сдался: раз Хейфец нарушил предварительную договоренность со мной, почему-то назвав Машу, и раз Маша после очной ставки почему-то подтвердила версию Хейфеца, мне было смешно настаивать. Я подписал протокол, в котором было сказано, что я меняю свои показания и что первоначальные объяснялись страхом за дочь. (Маша все это сделала под прямым нажимом Хейфеца: будто бы не он им это сказал, а они ему — видимо, на основании магнитных записей).

Я понимал, что сейчас уйду отсюда, — может быть, и ненадолго, но уйду, — вместе с Машей, которая непременно ждет меня внизу; теперь

замирает от тревоги она. Но все время, что я провел в следственном кабинете, я смотрел на этот напряженный допрос со стороны: « Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью »... Не бред ли? Молодой автор дал черновик статьи прочесть специалисту — вот и весь состав преступления. Целый день тратится на выяснение вопроса: кто дал? Не через дочь ли рукопись попала к отцу? Да и в рукописи-то этой ровно ничего криминального, если только оставаться в мире душевно-здоровых. Может быть и в самом деле Кафка лучше других предвидел современное безумное общество?

А ведь на этом дело не кончилось — оно только началось. Перед уходом Маша получила повестку на завтра утром: дала палец, руку оттяпают! На другой день ее допрашивали несколько часов: долго ли у нее оставалась рукопись Хейфеца? Целый день — до вечера? Кто приходил в течение дня? Она не помнит? А вот Владимир Загреба приходил? Может быть? Значит, не исключено, что приходил? А рукопись где лежала? Она не помнит? На письменном столе? Но ведь не исключено, что могла лежать на письменном столе? Она выходила? Например — кормить ребенка? Выходила? Значит, пока ее не было, гость мог прочесть рукопись? Нет? Но ведь не исключено?..

Тут Маша взвилась:

— Нет, это исключено. Он человек порядочный и чужих бумаг не трогает, когда хозяйка выходит из комнаты.

— Он сидит обычно где? Близко от стола? На папке было написано « Иосиф Бродский и наше поколение »? Но, ведь он, Владимир Загреба, при-

ятель Бродского, и принадлежит к тому же поколению? Мог ли он удержаться и не прочесть статью о своем друге и о самом себе? Вы этого не допускаете?

Маша этого не допускала. Два дня ее терзали, потом отпустили.

Так фабриковалось дело Хейфеца — «распространение»...

— Ну вот и для вас все это кончилось благополучно, — сказал Рябчук, подписывая пропуск, — и вы будете теперь себя чувствовать спокойно.

— Спокойно? После того, что вы со мной сделали?

— Это не мы. К решениям общественности мы не имеем никакого отношения. Мы не подсказываем решений.

«Честные глаза майора Рябчука внимательно смотрели на меня сквозь стекла очков». (Советский читатель помнит фольклор о майоре Пронине!) Эта фарисейская фраза была последней. Больше мы не виделись. Но я часто думал о ней. Прочтет ли он мои размышления? Они пойдут ему на пользу.

Майор Рябчук вел следствие по этому «особо важному» делу, которое, по существу не стоило серьезного внимания, и он это знал. И еще знал следователь мужественное заявление от 30 мая, опубликованное Владимиром Марамзиным в западной прессе. Я приведу здесь только его начало:

«У меня есть смутное ощущение вины, которое коренится, вероятно, в исконном для нас отсутствии правосознания. Мой друг, ленинградский писатель и историк Михаил Хейфец, уже более

месяца находится в следственной тюрьме. По дошедшим до нас отголоскам, он арестован за издание в Самиздате пятитомника Иосифа Бродского и за свою статью о его стихах. Следователь прекрасно знает, что Самиздат — не издательство, знает он также, что Хейфец непричастен к собиранию стихов Бродского.

Всем известно, что в течение трех лет стихи собирал я, потому что Бродский, как всякий большой мастер, никогда не хранил и щедро раздаривал свои стихи. Я хотел собрать их, чтобы сохранить для русской культуры все, что сделано этим великим поэтом. Те люди, которые сейчас причастны к гонениям на Бродского, еще при своей жизни будут им гордиться. Я же предпринял и еще один шаг, чтобы сохранить с таким трудом собранные тексты — отправил их за границу, где сейчас живет и автор. Может быть, это кому-нибудь не понравится, но мною двигала лишь забота о русской культуре... »

В. Марамзин не кривил душой, утверждая, что думал о русской культуре. Иначе для какой цели стал бы он три года подряд собирать стихи изгнанного поэта? Для денег? Для славы? Для карьеры? То же относится и к Хейфецу: зачем он пытался осмыслять в статье эти стихи? Михаил Хейфец, историк и литератор, тоже думал о культуре своей страны, болел за нее, жил ею. А о чем думали следователи по особо важным делам? Неужто они действительно полагали, что дело о собирании далеких от политики, метафизических стихов — «особо важное»?

ОТСТУПЛЕНИЕ НА ТЕМУ : « КОМУ ЭТО НУЖНО ? »

« ...Кто же эти люди ? О чем они говорят ? Из какого они ведомства ? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище ? »

Франц Кафка. Процесс.

« Кому это нужно ? »...

Виктор Некрасов

Заявление для печати, февраль 1974

Один и тот же следователь по особо важным делам вел дело № 15, на основании которого судили М. Хейфеца и В. Марамзина, и предали гражданской казни меня. Уже, готовя процесс Хейфеца, он должен был понять, — не мог не понять, — что судить обвиняемого не за что : перед ним молодой историк, ни к каким политическим действиям непричастный, никакой программы не имеющий и ни с какой группой « антисоветчиков » не связанный. Михаил Хейфец — добропорядочный семьянин, у него молодая жена-музыкант и две маленькие дочери, и в сущности ему при всем желании предъявить нечего. Писал он повести, посвященные революционному движению в России второй половины прошлого века, последняя — об Александре Ульянове, старшем брате Ленина, повешенном за покушение на царя. Интересовался Хейфец стихами Бродского и даже попытался сочинить о них статью; но, впрочем, статью так и не написал, она осталась в черновике, и ее успели прочесть два чело-

века : его близкий друг, известный писатель-фантаст Б. Стругацкий, и я, специалист по теории стиха. Был у Хейфеца обыск, у него нашли несколько на машинке напечатанных текстов — кажется, Солженицына и Амальрика; но никаких доказательств, что он распространял эти тексты, готовя свержение советской власти или что-нибудь еще в этом духе, не было. Одним словом, будь следователь человеком честным и думай он хоть сколько-нибудь о правительстве, которое платит ему жалованье, и о строе, который он призван оберегать, он рассудил бы иначе. Примерно вот как :

Хейфец может принести пользу как талантливый историк и литератор, его деятельность так или иначе обогащает русскую культуру, его книги читателям полезны, даже нужны. Опасности для властей он не представляет. Да, мы знаем, что в кругу друзей он осуждает некоторые правительственные меры, — например, оккупацию Чехословакии. Но осуждают эти меры все интеллигенты у нас и за границей, беспартийные и коммунисты, далекие и близкие. Офицер из органов не может не знать, что оккупацию 1968 года одобрили только последовательные антикоммунисты или крайние правые; во-первых, они, эти правые, боялись, что чехословацкий эксперимент удастся, и тогда « социализм с человеческим лицом » завоюет себе сторонников из числа тех, кто враждебен всякому социализму; во-вторых, они боялись роста левых сил на Западе, которые

нет-нет, да поглядывают на Советский Союз. Разгром дубчековской Чехословакии навсегда устранил опасный вариант привлекательного социализма и способствовал дискредитации всех режимов Восточной Европы, не говоря об СССР. Понятно, что ликовали правые. И понятно, что люди, настроенные в пользу социализма и демократии, горевали. Среди них, может быть, оказался и Хейфец. Не сажать же в лагерь всех, кто не одобрил 21 августа 1968 года? Ленинский лауреат Александр Твардовский — автор незабываемого четверостишия, уже приведенного выше. Но «Юпитера» Твардовского следовательно по особо важным делам не допрашивал. Да и «быка» — Хейфеца — обвинили вовсе не в этом. Его прежде всего судили за статью о стихах Бродского. Но сами по себе стихи Бродского политических криминалов не содержат. Бродский — поэт «метафизический», до политических распрей не снисходящий. Организовав его процесс в 1964 году, органы уже тогда совершили серьезную ошибку. Конечно, Бродский не такой, как все — но достаточное ли это основание? Да и суд-то был лицемерный: имелось в виду одно, а судили за другое; в уме держали, что Бродский опасен для советского режима, а судили за тунеядство. Сам по себе суд над поэтом вызвал смуту, стимулировал недовольство. Бродского отправили в северную деревню, на принудительный труд, как неисправимых пьяниц, потом возвратили в Ленинград. А он уже был знаменит во всем

мире; стихи, даже его замечательные стихи, не прославили бы его так в этом падком на сенсацию «безумном мире», как нелепый процесс. Стихи перевели на многие языки, причем переводили не мракобесы, а преимущественно поэты левые. Потом Иосифа Бродского выслали на Запад, разыграв комедию, будто бы он сам захотел эмигрировать в Израиль. Теперь И. Бродский преподает в американских университетах, пишет стихи по-прежнему не о политике и не о советском строе (ни за, ни против), переводится на важнейшие языки, выступает на конгрессах. Читатели многих стран его любят; у него репутация одного из лучших поэтов современности. Кто выиграл от того суда? От фантастического по глупости приговора? От всемирного шума? От высылки Бродского? Разве не ясно, кто выиграл? И разве не ясно, что если бы в Советском Союзе бывали вредители, так именно они затеяли бы «дело Бродского»? Теперь это стало еще яснее, — после того, как инициатор скандала, секретный сотрудник органов Лернер получил шесть лет лагерей за спекуляцию автомобилями и другие уголовные преступления.

Размышляем дальше. В. Марамзин собирал стихи Бродского, М. Хейфец написал к несостоявшемуся собранию стихов черновик вступительной статьи. Это — преступления? Может быть — если стихи контрреволюционные, нет — если они вне политики. Хейфец получает на суде четыре года лагерей плюс два года ссылки — опять все за того же

Бродского. То есть фактически за то, что судебная ошибка 1964 года не признана ошибкой и продолжается десятилетие спустя. Если бы кто-нибудь задумал скомпрометировать советское судопроизводство и, кроме того, органы безопасности, он не придумал бы ничего лучшего, чем эти два суда, 1964 и 1974 годов. Неужели наши майоры не понимают этого? Понимают. Только наплевать им на советский суд, и на органы, в которых они служат. Им бы свою карьеру делать! Или они бессильны сопротивляться чьим-то приказам?

А вот дело Виктора Некрасова. Видный советский писатель — ветеран Отечественной войны, автор одной из лучших военных книг «В окопах Сталинграда», переведенной на десятки языков. Год за годом его травят, с шумом и хамством изгоняют из Москвы, обыскивают его квартиру, исключают из партии. Потом принуждают уехать за границу. Некрасов написал письмо под точным заглавием: «Кому это нужно?» В самом деле — кому? Только противникам советского режима.

В 1970 году я задал тот же вопрос, выступая с речью над гробом умнейшего ученого, одного из лучших историков русской литературы — Юлиана Григорьевича Оксмана. Много лет он вкалывал банщиком в лагере, потом, вернувшись, печатался только под псевдонимами, и вот умер, а имя его до сих пор под запретом, и теперь этот запрет возобновили. Что он совершил, вернувшись после

реабилитации из лагеря, — организовал заговор против советского строя? Бросал бомбы? Писал памфлеты? Ничего не совершил. Есть у Буало, в его «Первой сатире» известная строка :

Je nomme un chat un chat et Rolet un fripon.
(Я называю кошку кошкой, а Роле — мерзавцем.)

Преступление Ю.Г. Оксмана в том, что он назвал кошку кошкой, и мерзавцем — Лесючевского. А я, произнося надгробное слово, спрашивал : « Кому это было нужно, чтобы Юлиан Григорьевич Оксман ушел, не написав всех книг, которые он должен был написать и которые созрели в его голове? Кому это было нужно, чтобы русская культура не получила от Оксмана всего, что она ждала от него и могла, должна была от него получить? Сегодня мы зароем в этой могиле огромные знания, прекрасный художественный вкус, десятки ненаписанных книг. Кому это нужно? » И еще я тогда сказал : если бы на интеллектуальной энергии, которая у нас уходит в песок, можно было строить гидростанции, мы бы создали тысячи Братских ГЭС. Кому нужно такое чудовищное расточительство ?

В самом деле, кому? Подведут ли когда-нибудь хотя бы приблизительный итог наших потерь? Кажется, уже подсчитаны потери физические — количество погибших, за-зря погибших людей. Но сколько сил,

таланта, ума пущено по ветру! Умер в 1975 году, не достигнув семидесяти, великий Шостакович. Кто знает, сколько бы он прожил, если бы не было гадкой и глупой статьи «Сумбур вместо музыки», на годы выбившей из строя и его, и С. Прокофьева, и других замечательных музыкантов? Кто знает, какие книги погибли вместе с преждевременно отошедшими от творчества, а затем и погибшими Зоценко, М. Булгаковым, Б. Пастернаком, А. Белым, Б. Эйхенбаумом, Л. Орбели?

Помню, как однажды честный и умный писатель Михаил Слонимский рассказал мне, что девяносто третий укус пчелы смертелен. По каким-то вычитанным им данным, пчелиный яд остается, медленно накапливаясь, в организме человека, и вот, если вас в девяносто третий раз укусит пчела, вы умрете. «Так умер — добавил он — мой ближайший друг Михаил Зоценко». Он прочел заметку в газете, где не был упомянут в ряду других писателей — хотя его должны были назвать там по смыслу заметки. Получалось, что такого писателя — Зоценко — нет и не было. Укус был не такой уж болезненный но — девяносто третий. Можем ли мы знать, какой по счету укус ожидает сегодня или завтра каждого из нас? А кусают нас нещадно и постоянно, не думая о последствиях.

В СССР карают тех, кто размышляет об этом. Карая, продолжают совершать то же преступное расточительство: принуждают к эмиграции М. Ростроповича и В. Некрасова,

Э. Неизвестного и И. Бродского. А ведь карать надо, но — расточителей. Гасителей просвещения. Гонителей талантов. Те же, кто горюет о судьбе своей культуры, те — истинные патриоты. Неужели таких азбучных истин не понимают режиссеры балаганных судов-спектаклей, которые в последние годы стали совсем уж анекдотическими? Процесс М. Хейфеца, которому за черновик статьи о Бродском дают четыре года лагерей и два года ссылки, и процесс его однодельца В. Марамзина, которого за более серьезные прегрешения почему-то просто высылают на Запад, удивительны своей нелепостью — из разницы между этими двумя приговорами особенно ясно, что законность уступила место полному произволу. Кому же это нужно?

« Почему-то » — написал я, размышляя о В. Марамзине в противоположность М. Хейфецу. Нет, не « почему-то », а по вполне понятной причине : дело М. Хейфеца проходило при всеобщем молчании, в темноте, дело же В. Марамзина — после статьи Иосифа Бродского, опубликованной во многих западных газетах — приобрело международный резонанс, значит уже было залито ярким светом. При свете у нас душить не любят. В темноте действует один закон, при свете дня — другой. Апофеоз законности !

Глава восьмая

БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

I. ВНУТРИ

Я написал, что после 25 апреля уже вел другую борьбу. Это и верно, и неверно. Другую — тоже, вовне. Но и внутри мне еще казалось возможным что-то сделать, особенно в Союзе писателей: все же это организация — общественная, меня там давно и хорошо знают, и в Ленинграде, и в Москве, да и решение, вынесенное ленинградским секретариатом, вопиюще незаконно. Я еще надеялся, что есть какой-то смысл жаловаться в Москву, в Союз писателей СССР, и что там могут возмутиться «местной» несправедливостью. Впрочем, уже существовал (я этого долго не знал) документ, официально подтверждавший исключение; то было постановление секретариата Союза писателей РСФСР от 5 мая. Удивительнее всего здесь дата: секретариат собирался редко, ленинградское заседание состоялось 25 апреля, 1 и 2 мая были праздники; значит,

секретариат РСФСР состоялся сразу, в один из первых же послепраздничных дней, чтобы завершить операцию скорее, как можно скорее. Никто, однако, не спешил прислать этот документ мне. Только в начале июля меня пригласили в Дом писателя и вручили бумагу, в которой говорится : « ...исключить из рядов Союза Писателей СССР за враждебную антисоветскую деятельность ».

Позднее мне рассказали, что ленинградское постановление было сформулировано иначе : « ...за антиобщественную деятельность ». И что будто бы Холопову в Москве даже влетело за либерализм (за либерализм !). И что секретариат РСФСР, который уж и вовсе ничего не знал — ни меня, ни моих обвинителей — настоял на формулировке самой категорической :

« ...за враждебную антисоветскую деятельность ».

Получив такую выписку, я решил, что мое дело либо совсем скверно, либо совсем хорошо.

Хорошо, потому что уж очень неадекватной была формула исключения и очень явно дышала озлобленностью : зачем два определения, к тому же тавтологических, к моей « деятельности » ? Уж если она « антисоветская », зачем еще « враждебная » ? Ведь это одно и то же : может ли быть « антисоветская » — и не враждебная ? Материалы « дела » не оправдывали ни существительного « деятельность », ни обоих определений. Значит, основания бороться у меня были — так сказать, юридический повод. Я все еще простодушно верил — или хотел верить — в какие-то юридические нормы. Что делать, у каждого из нас, интеллиген-

тов, жива уверенность в конечном торжестве справедливости и права.

Скверно, — потому что на основании подобной формулы не из Союза писателей исключают, а сажают в лагерь лет на семь. Подумать только: «Враждебная антисоветская деятельность!» У нас и за меньшее арестовывают. Выходит, Союз писателей вынес официальное постановление о том, что моя вина доказана, и что я должен быть осужден уголовным судом по 70-ой статье Уголовного кодекса.

Но, как оптимист, я решил исходить из первого варианта и продолжать борьбу, начатую гораздо раньше письмом Брежневу — на таком письме решительно настаивали все мои друзья.

Копию этого письма я послал для ознакомления в Союз писателей СССР и в ректорат Института, и стал ждать ответа. Ответа не было ровно месяц. Восьмого июня меня пригласили в Смольный, к секретарю обкома КПСС Кругловой. Запись беседы, состоявшейся в кабинете Кругловой два дня спустя, я сделал в тот же вечер, вернувшись домой.

Однако прежде, чем читатель познакомится с нею, хочу представить ему Зинаиду Михайловну Круглову, в то время второго секретаря ленинградского обкома партии, ведавшую «пропагандой», то-есть прессой, книгами, музеями, театрами, образованием — всей культурой. Я впервые увидел ее года за четыре до того: на трибуне исторического колонного зала в Смольном стояла неизвестная мне (я опоздал) женщина средних лет с внешностью не то ткачихи, не то игуменьи, и тусклым голосом монотонно считывала с бу-

мажки графаретные фразы о расцвете социалистической культуры и ее перспективах; говорила она мертво, безнадежно скучно, не слышком грамотно и выглядела непроницаемо: на ее скуластом лице не появилось ни тени улыбки, или волнения, или смущения, или еще чего-нибудь человеческого, ни один мускул не дрогнул. Дочитав свою речь, она спустилась в президиум и тут я узнал, что она не ткачиха, а хозяйка этого зала, этого собрания и моей жизни (захочет — выгонит!). Она славилась иезуитской логикой и непривычным в ее кругах открытым цинизмом, обличавшим опору на высоких покровителей. Впрочем, и без покровителей она могла бы подняться в подоблачные сферы — у нее было редкостное для такой карьеры сочетание свойств: беззастенчивость и твердость, полное отсутствие мнений или дарований, поразительное владение советской фразеологией, подходящая внешность. Вот характерный анекдот, являющийся однако реальным фактом. Всемирно знаменитого ученого Н. избрали доктором одного западного университета, но наши власти его не пускали на церемонию вручения мантии; исчерпав все возможности хлопотать на разных уровнях, он явился на прием к З.М. Кругловой. Та сказала: «Мы не можем отпустить вас на Запад; это они безразличны к своим ученым, мы же свои кадры ценим и бережем». «Но, Зинаида Михайловна, меня же там ждет докторская мантия, а не террористский акт». — «Как знать, — ответила Круглова, — мы не можем поручиться, что они вам не сделают какой-нибудь укол, под влиянием которого вы будете говорить совсем не то, что думаете». «Вы

это серьезно говорите? И что же, о таком вашем аргументе можно всем рассказывать?» Круглова еще раз дала понять, что Н. никуда не поедет, без мантии обойдется, и что аргумент ее вполне здравый.

Ну, а теперь — моя запись.

РАЗГОВОР В СМОЛЬНОМ
с секретарем обкома
Зинаидой Михайловной Кругловой
10 июня 1974

Войдя в большой кабинет, я увидел, кроме Кругловой, еще двух молодых людей. Круглова их бегло представила — «Работники наших отделов», сказала она, и, кажется, одного из них назвала Николаевым. Мы сели за стол — я против Кругловой, молодые люди, один справа от меня, другой слева от нее, друг против друга. Зачем они присутствовали? Не знаю. Откуда они? Тоже не знаю. Почти все время они хранили молчание, глядя на меня неподвижными, злыми глазами. Впрочем, и хозяйка не проявляла оживленности: за час, пока длилась «беседа», на лице ее не дрогнул ни один мускул, не появилось ни одного выражения.

— Вы написали письмо в ЦК партии, Л.И. Брежневу, — начала Круглова — и я уполномочена областным комитетом вам изложить нашу точку зрения на это дело и на ваше письмо. Заодно мы сможем выяснить и вашу позицию. Я знакома с вами с 1968 года, когда мне пришлось выступить на бюро обкома относительно вашего предисловия к двухтомнику «Мастера русского

стихотворного перевода». В этом предисловии вы проводили вредную линию, противопоставляли литературу и партию. Вы писали о том, что поэты, которые не могли свободно творить, уходили в перевод, чтобы там высказываться до конца...

Я пытался возразить и в этом месте разговора, и позже; я напомнил свою «фразу», снова повторил, как нелепо считать, будто поэты, с моей точки зрения, переводили, стремясь высказать именно антисоветские идеи — в сонетах Шекспира? В стихах и песнях Гете? Напомнил о словах Маяковского — «Нами лирика в штывки неоднократно атакована» и о том, что в период, о котором я говорю, лирика была не в чести у самих поэтов... Круглова слушала и не слышала, она продолжала твердить свое, потом сказала:

— Вы утверждаете так, потому что так вам выгодно. Все мы умеем читать, и смысл вашей фразы каждому ясен — она отчетливо антисоветская.

Я сразу понял, что напрасно рассчитывал на разговор. Диалога нет и быть не может. Круглова меня вызвала, чтобы изложить свой взгляд, а не чтобы слушать мои доводы. В дальнейшем я время от времени пытался прервать ее речь и вставить какие-то реплики, и это было зря: она их все равно не воспринимала и реагировала так: «виляете», «хитрите», «скрываете», «вам выгодно»...

— Теперь о вашем письме к Л.И. Брежневу. Прежде всего, оно неточно излагает суть обвинений, выдвинутых против вас: о самом главном вы умолчали — о вашей рецензии на предисловие Хейфеца к пятитомнику стихов Бродского. В

этой рецензии вы положительно оцениваете ожесточенно-антисоветскую позицию Хейфеца, который, как вы знаете, за свою деятельность сейчас арестован. Вы стремились улучшить этот антисоветский текст Хейфеца, исправить его, придать ему еще более антисоветский характер. Если Хейфец пишет о полуколониальном характере нашей страны, после событий в Чехословакии, вы пишете на полях: «Почему полу? Наша страна является державой империалистической, последовательно колониальной...»

— Насколько я помню, на полях я написал только «почему полу?», а это замечание можно истолковать по-разному...

— Вам кажется, что вы имеете дело с людьми глупыми, которые ничего не понимают. Мы прекрасно понимаем, что это значит — «почему полу...», — это утверждение колониально-империалистического характера нашей страны. В другом месте, где Хейфец пишет о римском цикле Бродского, вы написали на полях: «Власти этого не прочтут, а, если прочтут, то не поймут». Вот как вы оцениваете советских партийных руководителей». А мы прочли и все поняли.

— Чтобы истолковать это мое замечание, вероятно нужен более широкий контекст — слово «власти», видимо, мною повторено вслед за автором...

— Я вам привела достаточно широкий контекст. Вот так вы, преподаватель, профессор, учите более молодых, так вы выполняете свою роль наставника. Хейфец вам годится в сыновья, а вы ему давали такое направление! У вас двойное дно: вы, конечно, в лекциях таких мыслей не

высказывали; вы их приберегали для своей подпольной деятельности.

То же касается ваших отношений с Солженицыным. Вы пытаетесь изобразить их как домашние, семейные, — будто вы встречались домами и занимались увеселительными поездками. На самом деле ваши отношения можно определить как сотрудничество. Вы использовали свое литературное мастерство для того, чтобы помогать Солженицыну. Нам известно, что вы редактировали его сочинения, в частности «Архипелаг ГУЛаг», антисоветскую книгу, за которую Солженицын выслан за пределы СССР, — это по кодексу 1923 года является высшей мерой наказания. Вы разделяете взгляды Солженицына и сотрудничали с ним.

— Я отвечу сначала на второе обвинение. Сочинений Солженицына я не редактировал, к «Архипелагу ГУЛаг» отношения не имел. Да и каким образом я мог бы редактировать Солженицына? Русский язык он знает гораздо лучше, чем я, стиль его править я не мог — он бы этого никогда не потерпел; стиль Солженицына очень индивидуален, и сглаживать его автор бы не позволил. С точки зрения фактов я тоже не мог бы его редактировать — ведь он знает факты гораздо лучше, чем я. Какова же могла быть в таком случае моя роль редактора? Что же касается взглядов, то вы ошибаетесь, утверждая, что я их полностью разделяю. По заявлениям особенно последнего времени вы знаете, какую роль Солженицын отводит православной церкви и славянскому корню — нетрудно догадаться, что мне эти воззрения импонировать не могут. Даже «Ма-

тренин двор », повесть, которая произвела на меня очень сильное впечатление благодаря своей высокой художественности, не вызвала моего полного согласия — я спорил с Солженицыным, когда он выдвигал такой архаический идеал, как русское патриархальное крестьянство, и наши споры носили весьма ожесточенный характер.

— Это я допускаю, с этими его идеями вы скорее всего были несогласны. И я имею в виду другие его взгляды, которые вы целиком разделяли.

— Вы имеете в виду отношение к сталинским лагерям или к советской власти ?

— Да, вот именно : вы вслед за Солженицыным занимали по отношению к нашему строю отрицательную позицию.

— Из чего вы можете сделать такой решительный вывод ?

— Из того факта, что вы редактировали « Архипелаг ГУЛаг ». Вы ссылаетесь на юридические тонкости, на то, что Вороньянская, дававшая на этот счет показания, умерла и не может подтвердить свои показания. Да, она мертва, и, к сожалению, подтвердить ничего не может. Но у нас есть два ее письма к Солженицыну, в которых она прямо об этом пишет (показывает на папку, лежащую перед ней на столе).

— Этого не может быть. Ничего подобного она писать не могла.

— Именно так она написала, а письма — это уже юридический документ, и опровергнуть его нельзя.

— Повторяю, к « Архипелагу ГУЛаг » я отношения не имел и даже этой рукописи не читал.

— Читали, читали, и не только читали, но и исправляли слог автора. Мы это знаем и нисколько в этом не сомневаемся. Редактировать вы умеете, вы человек квалифицированный, это видно по вашей правке статьи Хейфеца и по вашей рецензии на эту статью.

— Вы неправильно называете рецензией черновые заметки, написанные мною по ходу чтения и так и оставшиеся в черновике; они даже не перепечатаны на машинке. Я не собирался их распространять, только записал для памяти отдельные мысли.

— Да, я знаю, это черновые наброски, но в них сказались ваши подлинные, тщательно скрываемые мысли. Например, Хейфец пишет в антисоветском духе о событиях 1968 года в Чехословакии, а вы еще добавляете: не только 1968, но 1956, не только Чехословакия, но и Венгрия.

— Вы неверно передаете мой текст. Я писал иначе. Я писал, что для Бродского и многих молодых людей его поколения не Чехословакия, а Венгрия оказалась особенно важной. Это были трагические события, когда столкнулись две вооруженные силы, и молодым людям его поколения положение представилось безысходным. Я хорошо знаю, как молодежь в те годы переживала эту трагедию, и в констатации этого факта ничего антисоветского нет.

— Настоящие комсомольцы сделали из этих событий другие выводы: их коммунистическое мировоззрение только укрепилось. Вы же пишете об антисоветской реакции на венгерские дела. Разве так должен оценивать события советский преподаватель? Насчет же того, что это частное

письмо, лучше не говорить — вы помогали Хейфецу создать антисоветский документ для Самиздата. Это так же не частное письмо, как ваше « Воззвание к евреям, уезжающим в Израиль ».

— Об этом письме, мне кажется, и говорить неловко. Оно было написано мною для моего зятя и представляло собой попытку отговорить его от эмиграции, которую я считал и продолжаю считать губительной.

Николаев : Вредной, неправильной в смысле борьбы против нашего строя...

— Нет, губительной для человека, решившего эмигрировать. Я писал о том, что он отрывается от своей культуры и не примыкает ни к какой другой...

— Ваша главная мысль другая. Вы утверждаете, что бороться за свою свободу, за многопартийную систему следует здесь, дома. Вот ваша фраза из этого документа : « Одно независимое слово, сказанное здесь, стоит дороже многолюдных демонстраций под окнами советского посольства где-нибудь в Вашингтоне ».

— Я в этом уверен — бороться за справедливость следует в своей стране, и в этом я не вижу никакого криминала.

— А вот что вы еще пишете : « Зачем вам чужая свобода ? Что с того, что вы сможете на площади перед Капитолием провозглашать лозунги ? Ведь вы и теперь можете выйти на Красную площадь и требовать свободы для Анджелы Дэвис. Оттого, что вы воспользуетесь чужой свободой, Павла Литвинова не выпустят из лагеря и не создадут многопартийной системы... »

— Так ведь это же не я здесь требую много-

партийной системы, я оперирую возможными доводами моего адресата.

— Нет, это ваши взгляды и ваши требования. Письмо же это совсем не частное, — вы знали, что ваша дочь широко знакомила всех своих друзей с ним.

— Этого я не знал и думаю, что, если кто-нибудь мое письмо показывал, то не дочь.

— Вы не знали, а мы знаем. Да и вы, конечно, знали, просто вам невыгодно в этом признаться. Знали — и даже поощряли. Дали же вы экземпляр того же письма Копелеву, который распространил его в Москве; Копелеву — а не кому-нибудь другому. В Ленинграде письмо пустила по рукам ваша дочь, в Москве — Копелев.

— Копелеву я действительно дал единственный экземпляр письма; у него в тот период была та же опасность — его дочь думала об отъезде, и он попросил у меня письмо, чтобы показать ей: он надеялся, что мои доводы помогут ему убедить дочь в гибельности эмиграции. Распространять мое личное письмо я его не уполномочивал.

— Не сомневаюсь, что вы стремились к этому. В вашем письме антисоветский характер носят не только фразы, которые я привела. Вот, вы еще в начале пишете: «Я буду называть себя евреем до тех пор, пока будет существовать дискриминация». Это вас-то подвергали дискриминации? Вас, который был (в этом месте Круглова единственный раз проявила оживление и даже темперамент) профессором института, членом Союза писателей, который широко печатался в разных издательствах? В этом тоже сказалась ваша антисоветская, враждебная позиция. (Я по-

пытался довести до ее сознания, что речь идет не только о дискриминации лично меня, но что если где-нибудь в каком-нибудь углу мира существует гонение на евреев, я, даже не считая себя евреем по культуре, не имею морального права отречься от своего еврейства — это было бы с моей стороны трусостью и низостью. Я приводил ей слова польского поэта Юлиана Тувима, которые любил цитировать Эренбург: «Есть кровь, которая течет в жилах, и есть кровь, которая течет из жил. Я еврей по этой второй крови». Так вот, пока где-то будет течь кровь из жил евреев, я буду евреем. Вот что означает моя фраза: «Я буду называть себя евреем до тех пор, пока существует дискриминация». Все эти слова скользнули мимо нее, даже, кажется, не задев ее слуха; в ее задачу вовсе не входило — слушать, ей нужно было высказать мне точку зрения обкома). Круглова продолжала:

— Ваша антисоветская позиция выразилась и в том, как антисоветские радиостанции раздули ваше дело — о нем сообщали такие махровые станции, как «Свобода», «Немецкая волна», радио Канады. Мы знаем, что у вас многочисленные связи с иностранцами, и, конечно, вы по своим каналам передали за границу эти сведения. Передали же вы письмо Бродскому с одним иностранцем, у которого оно было изъято на таможене аэропорта Шереметьева.

— Это верно, я однажды послал таким путем письмо Бродскому. Но поскольку оно было отобрано, вы должны знать, что в нем не было ни строчки о политике — оно было сугубо частным.

— Нас интересует не его содержание, а факт

передачи нелегальным путем. Антисоветскую деятельность вы ведете давно и последовательно.

Молодой человек: У вас были методологические ошибки даже в кандидатской диссертации, о них говорилось в 1949 году!

— Мне кажется, об ошибках 1949 года сегодня вспоминать неприлично. Помните ли вы, что было в 1949 году?

Второй молодой человек: — В 1949 году тоже была партийная линия, и вы уже тогда ее нарушали.

Круглова: — В 1949 году у нас тоже был социализм. Вся беда ваша в том, что вы никогда не были марксистом. Вы и в других ваших книгах смотрели на литературу эстетски, это проявилось и в 1949 году, когда вы тоже выступали против марксизма.

— Неужели вы теперь, двадцать пять лет спустя, защищаете то, что делалось в 1949 году? Травлю, проработки, аресты лучших представителей нашей интеллигенции? 1949 год — это кампания борьбы с космополитизмом. И вы сегодня упрекаете меня за идеологические ошибки 1949 года? За эстетство? Я сам знаю, что в то время был еще очень незрелым, но тогда, в 1949 году, мой недостаток был пожалуй, не в эстетстве, а в излишней социологичности...

Круглова — Тогда был один порок, позднее другой... Вы всегда уклонялись от партийной линии и не умели оценить правильно, по-марксистски. В этом ваша беда, и потому вы так отнеслись к писаниям и взглядам Солженицына.

— Сочинения и взгляды Солженицына — вещи разные. Хочу вам напомнить что Бальзак, имев-

ший такое значение для мировой литературы и оказавшийся писателем революционным, по своим теоретическим взглядам был сторонником монархии и католицизма. Художественные произведения Солженицына я считаю замечательными — « Один день Ивана Денисовича », « Случай на станции Кречетовка », « Матренин двор ». Взгляды же его я, как уже говорил, далеко не все разделяю.

— Вы назвали вещи, напечатанные у нас, а имеете в виду, конечно, другие, которые вы читали, в том числе « Архипелаг ГУЛаг ».

— « Архипелаг ГУЛаг », насколько я знаю, произведение скорее историко-публицистическое, чем художественное. Так что он не имеет отношения к тому, о чем я говорю.

— Почему же? Имеет — и прямое. У него подзаголовок — « роман ». Так, что автор иначе думает, чем вы.

В конце разговора я показал верстку второго тома « Французских стихов в переводе русских поэтов » — рядом с вышедшим прежде первым томом, и сказал, что набор рассыпан, книга не выйдет, а ее ждут во Франции, и ждали у нас, где ее рекламировали.

Круглова — (показывая на том I) : Это та книга, которую вы послали президенту Франции ?

— Да, только то был экземпляр первого издания, а это — издание второе.

— Мы знаем, что вы тогда послали книгу нелегальным путем, через частное лицо. А том второй, конечно, не выйдет в свет — ваше имя теперь не будет появляться в печати. Что же, вы подвели многих своих коллег, и сами виноваты.

На мой вопрос, что же мне остается делать, если имя мое под запретом, а преподавать мне тоже нельзя, было сказано :

— Конечно, о преподавании не может быть и речи, о печатании тоже. Но работать вам надо. Работать в нашем обществе необходимо.

— Мне кажется, наш разговор заходит в тупик. Давайте подведем итоги. Значит, все ваши обвинения основаны на двух частных письмах, да к тому же на отдельных, допускающих разные толкования фразах из этих писем ?

— Это не частные письма, а политические документы. Кроме того, вы еще забываете о сотрудничестве с Солженицыным и обо всем прочем.

— Сотрудничество вы доказать не можете, это ведь несерьезно. Вы можете с основанием говорить только о знакомстве.

— Мы знаем, все знаем, вы утверждаете только то, что вам выгодно. А вот Н.И. Грудина здесь говорила, что вы настоящий русский ученый... Так вот, вам надо искать себе работу. Есть же другие виды работы, не только те, к которым вы привыкли. Ленинград — большой город, это не провинция, — есть архивы, библиотеки, всякие исследовательские институты другого профиля.

— Я немолод, мне 56 лет, начинать нечто новое мне поздно, да и терять несколько лет для своей работы я уже не могу.

— Ничего не поделаешь, придется искать себе работу. Вы умный человек, знакомых и друзей у вас много, придумайте что-нибудь, а найдете себе работу — мы поможем вам на нее поступить. Только, повторяю, она не должна быть связана

ни с преподаванием, ни с публикациями. Ваша судьба в ваших собственных руках.

Вот какой ответ я получил после письма Брежневу. Разговор с Кругловой был для меня мучителен: я не мог позволить себе искренней прямоты, я должен был оперировать моим юридическим правом. Она же твердила, что знает мою подноготную, хотя оперировать могла только фразами из писем: из письма Хейфецу о его статье, из письма молодым евреям. Круглова не желала понимать моих возражений: говорила она напролом, намекая на свою осведомленность из каких-то, мне неизвестных, источников.

ОТСТУПЛЕНИЕ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВОСОЗНАНИИ

*Суд идет революционный,
Правый суд.*

Конвоиры песню « Яблочко » поют

Михаил Голодный.

Судья ревтрибунала. 1932.

« Правосознание, — я ср. Спец. Совокупность правовых взглядов людей, выражающих оценку действующего права, существующего общ. или гос. строя, правомерность или неправомерность поведения граждан.

Словарь современного русск. литерат. языка.

Т. II, стр. 35, 1961.

Было в период военного коммунизма такое у нас понятие, « революционное правосознание ». Оно, это « правосознание », вполне

заменяло закон: любого человека трибунал мог приговорить и расстрелу, не утруждая себя доказательствами — достаточно было классовой интуиции: «Я чувствую в нем врага!» Возражать против интуиции? Но ведь опровергнуть ее рационально нельзя. На нее ссылался М. Шолохов в одном из самых позорных своих выступлений — с трибуны XXIII съезда партии (1971), когда о деле Синявского и Даниэля он заявил: «Если бы этих людей с черной совестью поймали в двадцатые годы, когда судили не слишком-то заглядывая в уголовный кодекс, а доверяя «революционному правосознанию» (*аплодисменты*), можно себе представить, что бы с ними сделали, с этими оборотнями (*аплодисменты*). И подумать только, что есть еще люди, которые сокрушаются по поводу суровости приговора».

А приговор был нещуточный — семь и пять лет лагерей.

«Революционное правосознание» — это мистика. Из веры в классовую интуицию и родились впоследствии чудовищные беззакония 1937-1938 годов, да и позднейшие тоже. «Я подлинный революционер и пролетарий, я обладаю безошибочным классовым чутьем, и, если я чувствую в нем врага, значит он враг. Врага же — уничтожают». Когда Круглова говорит: *мы знаем*, это всегда значит: *мы чувствуем*. Единственный документ, на который она сослалась, — какие-то два перехваченных письма Е. Д. Воронянской к

Солженицыну; полагаю, что это ложь, — недаром она мне этих писем не показала. Если даже какие-то письма существуют, можно ли ими оперировать для карательных выводов, не представив суду, хотя бы общественному? Не допустив до их изучения (даже просто для установления их подлинности) экспертов и адвоката? Теория революционного (или классового) правосознания проявляется постоянно во всех наших так называемых политических процессах. В ходе суда над Бродским выступали свидетели обвинения, которые — все как один — говорили: «Я Бродского не знаю, со стихами его не знаком (или — почти не знаком), но то, что он делает, возмутительно». Вот трубоукладчик УНР-20 Денисов показывает: «Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после газеты возмущен работой Бродского... Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность, как рабочего, не удовлетворяет». Трубоукладчик Денисов знает о поэте Бродском только то, что он «тунеядец». О Бродском напечатали газеты, и он верит газетам, потому что так ему подсказывает классовая интуиция. Он верит газетам, на основании газетных статей произносит обвинительную речь, а потом газеты верят ему, и, на основании его речи, печатают статьи, еще более обвинительные. Возникает порочный круг: газеты — Денисов — опять газе-

ты, а потом и приговор. На том же процессе Бродского прокурор Сорокин говорил : « Статья в "Вечернем Ленинграде" породила большой отклик. Особенно много писем поступило от молодежи. Она резко осудила поведение Бродского. (*Читает письма.*) Молодежь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан ». Итак : статья в газете — письма молодежи о Бродском; на основании статьи в газете — публикация этих писем в газете — осуждение на основании требований, содержащихся в этих письмах. А если статья в газете — солгала ? В данном случае так оно и было : в ней цитировались чужие стихи, к Бродскому отношения не имевшие. Но « молодежь » верит газете, а потом газета верит молодежи. Все на вере — а это и есть « революционное » и « классовое » правосознание. Вера — вместо доказательств.

Разве не на том же принципе интуиции или веры строятся газетные проработки писателей ? Ни один из тех « трудящихся », кто в 1958 году шельмовал Бориса Пастернака, романа « Доктор Живаго » не читал. В 1974 году советская пресса шельмовала А.И. Солженицына за « Архипелаг ГУЛаг », а еще до того — за « Август четырнадцатого »; свои суждения произносили сталевары, писатели, физики, актеры, трубоукладчики, и все только на основании прочитанного в газете. Снова тот же заколдованный круг : газета как источник информации — гнев читателей той

же газеты — та же газета как зеркало читательского гнева.

Это — видоизменение старой теории «революционного правосознания».

В решениях по моему делу эта теория проявила себя в полную силу: никто ничего не читал; ни Солженицына, которого я будто бы хранил и даже редактировал (в том числе и Круглова в глаза не видела «Архипелага ГУЛаг» — иначе она не сказала бы, что там подзаголовок «роман»!), ни статьи Хейфеца, ни моей на нее рецензии, ни моего письма к евреям — ничего! И Круглова, которая, видимо, была главным судьей (как второй секретарь обкома), подобно всем остальным, тоже руководствовалась классовой интуицией, «революционным правосознанием».

Разговор с Кругловой мог бы меня научить — борьба «внутри» бесполезна. Но друзья настаивали, а я еще верил, что буду работать дома. И продолжал рассылать письма. Нет, больших надежд я не питал. Но мне все казалось, что какое-нибудь мое письмо попадет на глаза разумному человеку, тот вдруг присмотрится, удивится — и все пойдет в обратном направлении с такой же ошеломляющей внезапностью и с такими же крутыми виражами, и здравый смысл возьмет свое. Как читатель помнит, Союз писателей официально моего исключения не подтверждал, и мне представлялось возможным, что и Союз — одумается. Мои ответственные друзья ходили к

руководителям Союза, — к Георгию Маркову, к Юрию Бондареву, еще к кому-то, — горячо говорили о вредности явно сфабрикованного дела, выслушивали невнятно сочувственные ответы, содержавшие подчас даже предложения денежной помощи; тем все и кончилось. Как было сказано, в начале июля меня вызвали в ленинградский Союз писателей к так называемому «рабочему секретарю» (то-есть штатному, не-писателю) Г.Н. Попову; ему было поручено познакомить меня с протоколом секретариата, состоявшегося два с лишним месяца назад (почему же с таким опозданием? На это мне Попов не ответил) и дать копию московского решения — о моей «враждебной антисоветской деятельности». Я впервые прочитал то, что напечатано выше, и, читая, не удерживался от восклицаний — то недоумения, то бешенства. Я кричал на Попова: — «Как Дудин смеет говорить о национализме, фашизме, сионизме? Он был пьян? Или помешался? Или ему подсунули что-то другое?» Миротлюбивый, крайне смущенный Попов увещевал меня: — Да ведь я тут не при чем, я уполномочен вас информировать, это не я говорил.

А я бушевал:

— В Союзе писателей меня никто не принял. Я рвался беседовать с Холоповым, он несколько дней увиливал, потом уехал в отпуск. Все прочие меня избегали. Вы здесь мой первый собеседник после 25 апреля. Больше мне спросить некого. На секретариате вы были. Значит и вы несете ответственность. Как вы смели молчать, когда Дудин клеветал? Или нес очевидную ахинею? Когда Чепуров безответственно фантазировал, а Орлов

лгал и злобствовал, сводя старые счета? Как вы смели молчать?

Попов меня успокаивал — он человек маленький, технический работник, писателям виднее, постепенно все образуется... На прощание, выйдя из-за стола, он произнес:

— Вы записывались на новую машину и вот я хочу вам сказать: вы в моем списке остались, и машины скоро будут.

— Господь с вами, Геннадий Николаевич, какие тут машины? До того ли мне?

То, что он сказал, было так глупо, что не стоило ответа. Но я был... я был тронут: может быть и в самом деле Попов хотел мне показать, что остался человеком? Произнести те единственные слова косвенного сочувствия, на которые был способен?

ОТСТУПЛЕНИЕ ЛИРИЧЕСКОЕ: ДОМ ПИСАТЕЛЯ ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем грубы прочтенных книг.

Сад...

Где волки выражают готовность и преданность, Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов Слово

Полку Игореву.

Велемир Хлебников. Зверинец. 1909.

Я ушел подавленный: в последний раз я был в Доме писателя, в старом шереметьевском дворце, с которым связана моя жизнь. В 13 лет (еще носил я коротенькие штанишки) меня привела сюда моя тогдашняя покровительница, Вера Семеновна Вальдман —

переводчица французских и немецких авторов — в студию художественного перевода, которую тогда вел профессор Александр Александрович Смирнов. И вот с 1931 года я тут бывал постоянно, не менее раза в неделю (с перерывом на войну): сперва участником переводческих студий — А. Смирнова, И. Мандельштама, А. Федорова, А. Кулишер; позднее, в течение многих лет, уже в качестве руководителя таких же студий, участника бесчисленных писательских собраний, одного из руководителей секции переводчиков, редактора устного альманаха «Впервые на русском языке». Больше сорока лет моей жизни прошло в стенах этого особняка, — здесь я учился и учил, негодовал, слушая одних (сколько низости прошло перед нами!), и радовался, открывая других (...и сколько талантов!), здесь я видел и слышал Анну Ахматову, М. Зощенко, Н. Заболоцкого, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского, В. Панову, А.И. Пантелеева, С. Маршака, Л.Я. Гинзбург, В. Жирмунского, Г. Гуковского, А. Смирнова, М. Лозинского... — всю замечательнейшую литературу и литературную науку, современником которых мне посчастливилось быть.

И одно из моих первых впечатлений от этого Дома: длинная, с дубовыми панелями темная комната — «Готическая» — с массивным длинным столом, вокруг которого, на стульях с высоченными резными спинками, сидели неведомые мне старухи и старики (им было лет по тридцать-сорок), и среди них пышная пожилая красавица — она поздней

оказалась Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник, с детства я обожал ее переводы Эдмона Ростана, « Орленка » и « Сирано де Бержерака ». Она веселым распевом читала свой перевод какой-то комедии Тирсы де Молина, кажется « Благочестивую Марту ». Ее сменил изящный гигант с большим, тяжелым и добрейшим лицом, который, гудя глубоким басом, с торжественно-патетическим юмором декламировал недавно, как он сказал, оконченную им « Собаку на сене » другого великого испанца. С голоса Михаила Лозинского усвоил я навсегда поученье — как постараться разлюбить :

*Ведь ежели припомнить вид
Иного мерзкого предмета,
На целый месяц пакость эта
Вам отбивает аппетит.
Вот и старайтесь вновь и вновь
Припоминать ее изъяны;
Утихнет боль сердечной раны
И улетучится любовь.*

За этим черным готическим столом взвешивали на аптекарских весах каждое слово, подбирая самое точное, звучное, полновесное, — мы сообща переводили Мопассана и Вилье де Лиль Адана. А в другой студии, руководимой в ту пору совсем молодым Андреем Венедиктовичем Федоровым — прозу Людвига Тика и Клейста. Стены Дома связались в моем сознании с этой бескорыстной, возвышенно-трепетной любовью к слову — русскому и французскому, русскому и не-

мецкому. И потом я часто вспоминал эти многочасовые споры об оттенках смысла или стиля, эту атмосферу безоглядной преданности литературе, — позднее я понял, что в Готической комнате происходили пиры во время чумы. Тогда еще мне было невдомек, что исчезающие члены нашего сообщества не просто по занятости переставали посещать студию, а уходили навсегда. Родившуюся в юности любовь к слову и к Дому, где его лелеяли, холили и растили, не могло стереть даже все то, что позднее осквернило этот Дом. В этих стенах — в уютном большом «Зале рококо» — распинали бледного Зощенку, прорабатывали моих учителей — формалистов, топтали Пастернака (заочно); не забуду, как, заикаясь, Сергей Михалков кричал с трибуны: «Пусть каждый задумается, сколько таких пастернаков вокруг него?» И все молча слушали, не смея поднять глаз. В том же зале рококо были ежегодные писательские собрания, когда от имени партийного бюро предлагался готовый список правления, и неизменно Вера Панова ломала задуманный распорядок, поднимаясь в президиуме и предлагая пять или шесть, а то и десять дополнительных кандидатов; Панову оборвать не решались, но, стоило ей кончить, как вскакивал какой-нибудь специально на то уполномоченный коммунист и требовал — «подвести черту», то-есть — закрыть список, не вносить новых предложений, которые ведь могут, того и гляди, вовсе разрушить список партбюро. «Под-

вести черту »! — хором поддерживали его десятки законопослушных голосов. Однажды в такой критический момент на трибуну медленно вышел Алексей Иванович Пантелеев и, глядя поверх темных очков в зал, тихо и твердо сказал, что подводить черту рано, что не все внесли свои предложения, и вообще что

*От демократии черта
Не оставляет ни черта.*

Так бывало еще недавно — сопротивление казалось возможным. Позднее многие, потеряв надежду, просто перестали ходить на собрания. Но все мы запомнили эвфорию конца пятидесятых- начала шестидесятых годов: вольнолюбивые речи гремели тогда с писательской трибуны, даже возродилось позабытое ораторское искусство, и мы дышали полной грудью. Увы,

*Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколенья,
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход...*

Приливы и отливы свободы нигде так не были видны, как в Доме писателя. Порою ораторы, вчера обличавшие тиранию культа, сегодня с теми же интонациями неподкупной честности обрушивались на прислужников империализма, на ревизионистов или инакомыслящих.

Дом писателя имени Маяковского и сам по себе казался аллегорией: двоедушия: из его

парадных окон открывались неповторимые виды на державную Неву, на великолепный Петербург, но в других окнах, выходявших на северо-восток, маячил многоэтажный гранитный блок Большого дома. Это двоедушие проявлялось всегда и во всем. Здесь унижали, оскорбляли, втаптывали в грязь Анну Ахматову, Бориса Эйхенбаума, Михаила Зощенку. Позднее здесь же занавешивали простынями зеркала, и сотни людей, стоя вокруг мертвого тела, слушали проникновенные речи о жертвах идеологического погрома. После смерти недавние преступники чудом преображались; из враждебных народу эстетов, клеветников или диверсантов каждый из них становился образцом нравственного величия и гордостью советской литературы.

И все-таки —

О Дом, Дом!

Где волки выражают готовность и

преданность.

Где в зверях погибают какие-то прекрасные

возможности.

Где страх одолевает разум, совесть и честь.

Где живы воспоминания.

И где витают бессмертные тени усопших.

Передал ли я далеким читателям хоть искорку того волнения, которое испытываю, думая об этой моей родине? Достаточно ли хорошо я объяснил, что для меня значит приверженность к одному старому петербургскому дому? К Неве, открывающейся из его окон? К теням ушедших? К волнениям и восторгам, здесь испытанным?

И еще : понимает ли читатель на Западе степень моей связанности с той жизнью, мою от нее неотделимость ? Мою вплетенность в эту ткань, где я был всего одной только ниткой, но ведь и частью ткани ? Вытащишь — и тотчас она перестанет быть тканью, и, значит, уже не будет ни полезной, ни красивой.

Удивительно ли, что нитка, одаренная сознанием и волей, во всяком случае иллюзией воли, всеми силами цеплялась за ткань, дававшую смысл ее существованию ?

Вот и я пытался говорить, убеждать, писать. В ленинградский Союз писателей я, едва получив решение РСФСР, написал о своем протесте : исключение незаконно — в моем отсутствии этого нельзя было делать; да и все обвинение нелепо, юридической силы оно не имеет. Я требовал обсуждения на Правлении — то-есть открытого, гласного, широкого разговора. В составе правления более пятидесяти писателей, из них большинство — люди честные, дорожащие своим добрым именем, умудренные житейским и литературным опытом. Обсуждение на Правлении казалось мне желательным уже хотя бы потому, что там я — обернись дело так — сказал бы все, что думаю и о чем молчал. (Приложение 7.)

Через десять дней, 20 июня, мне заявление возвратили почтой, а по телефону тот же Г.Н. Попов разъяснил, что я поступаю не по уставу : устав дает право апеллировать отнюдь не к правлению своей организации, а, кажется, только к съезду писателей. На письменный ответ поспешили, — видимо, было решено, что переписку с этим уже изгнанным диверсантом следует пре-

кратить. Он считает решение секретариата незаконным? Он считает обвинение недоказательным? Фантастическим? Пусть себе считает. Нам важно, чтобы начальство было довольно — обком, ЦК, Большой дом, секретариат Союза писателей... Оно довольно? И слава богу. Писатели, члены и не-члены Правления, небось не взбунтуются. И не то они терпели. Привыкнут.

И ведь не взбунтовались. Привыкли.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

*Презренье созревает
гневом...*

Александр Блок. Ямбы.

Нет, я не о Комитете буду вести тут речь, а именно о безопасности со строчной буквы. Нужно ли обладать особой мудростью, чтобы понимать: во имя внутреннего спокойствия не следует искусственно провоцировать недовольство, даже тревогу населения. Никакие его слои возбуждать не нужно: выйдя из привычного повиновения, они могут стать опасными. И ведь не в том дело, что поднимется мятеж, а будут созревать разные подспудные настроения. Впрочем, возможно, что Комитет в таких настроениях заинтересован: они оправдывают его деятельность, его террористические акции или намерения. Писатели не взбунтовались, но едва ли они со спокойным равнодушием отнеслись к происходящему. Их ни о чем не спросили, им ничего не разъяснили, их толком даже не информировали ни о чем; их просто запу-

гали. К страху они привыкли. Это так. Но стоит ли их доводить до края? Ведь вот и студенты ко всему привыкли, но, мирные обычно, бессловесные девушки и юноши внезапно стали делать то, что на Западе так естественно привело к майским событиям 1968 года, и что так противоестественно в нашей безмолвной стране.

На скамейках в саду Герценовского института появились надписи масляной краской. На стенах института, на досках в аудиториях, даже на стенах близлежащих улиц возникали ночью надписи. И это было не обычное хулиганское сквернословие, а требования: «Верните профессора...» Пришлось представителям администрации ходить с ведром и кистью и замазывать. Но ведь можно замазать надписи, а недовольство? А недоверие? А негодование? Все это оказалось устойчивее, чем можно было предположить. В конце апреля 1975 года, в годовщину событий, те же (или другие?) студенты герценовского института устроили забастовку и распространили листовки. В Советском Союзе таких вещей не бывало — нужно было здорово постараться, чтобы их спровоцировать. Мне рассказали, что на другой день после обнаружения листовок несколько студентов бесследно из института исчезли.

В институте силами моих учеников был подготовлен сборник статей под названием: «Стилистические проблемы французской литературы». Он был широко разрекламирован, собрал около четырех тысяч заявок от

разных институтов и книжных магазинов страны. Тираж — 4 тысячи экземпляров — был уже напечатан. В книге было мое предисловие, и почти каждый автор — а всего их около двадцати — ссылался на мои работы; понятно, ведь это мои ученики, мое исследовательское направление. 25 апреля, когда изгнали составителя этой книги, было принято решение: уничтожить и весь тираж. Сжечь все четыре тысячи. А потом издать том заново, — убрав упоминание злодейского имени, отныне запретного, обреченного на забвение. Так книга и вышла: моя книга — без моего имени. С цитатами из моих работ — но без ссылок на меня. Беспрецедентно по цинизму (даже обложка была нарисована моей дочерью)! Уничтожение тиража, четырех тысяч экземпляров, и выпуск в свет фальсификации — разве это не провокация недовольства, пусть даже загнанного глубоко внутрь?

В издательстве «Прогресс» был подготовлен второй том двуязычной антологии «Французские стихи в переводе русских поэтов», здесь я печатал многих молодых поэтов-переводчиков, которых собирался представить читателю в одном ряду с известными мастерами. Тираж не был готов, но все корректуры уже прошли. Эту книгу тоже запретили, набор рассыпали. Может быть и она когда-нибудь выйдет без моего имени и даже как-то пересоставленная? Но живы десятки литераторов, знающих, кто эту книгу придумал, собрал, отредактировал,

снабдил вступительной статьей и комментариями. Разве запрет такой книги — не провокация ?

Стилистика французской литературы. Русские переводы французской поэзии, классические и современные. Это что, политика ? Подрыв государственных основ ? Именно в этом я видел цель моего существования и моей работы. И все это оказалось уничтоженным, запрещенным, изуродованным. Пострадали десятки авторов. И сотни, если не больше, слушателей. Им теперь читает лекции мой ученик, но я-то знаю, что доучиться он еще не успел.

А теперь, год спустя, не только имя мое (наряду с именами Ю.Г. Оксмана и В.С. Гроссмана) запрещено упоминать в печати, но и все сочинения, подписанные этими проклятыми именами, во всех библиотеках преданы огню. Труды по теории стиха и теории перевода, по истории французской, немецкой и русской литературе, по стилистике и поэтике.

— Сегодня я была фашисткой, — сказала старая библиотекарша моей знакомой, вернувшись в слезах с работы. — Я жгла работы...

Бросая книги в пламя, она просматривала их. И она не могла никак понять, зачем она это делает ? Почему филологические сочинения оказались опасными для ядерной державы ? Ей не объяснили ничего, как прежде, год назад, ничего не объяснили ни писателям, ни студентам. Последним просто сказали :

— Профессор Эткинд занимался недозволенной деятельностью и преподавать больше не будет.

— А кому нам сдавать экзамены? — спрашивали студенты, окончательно сбитые с толку. Экзамены у них принял мой коллега, специалист по другим наукам, и студенты отвечали ему, отлично это понимая. Ко мне время от времени кто-нибудь из них приходил — с цветами и слезами, и рассказывал фольклорно-студенческие объяснения происходящего. Эткинд был соавтором Солженицына по «Архипелагу ГУЛаг», или, в лучшем случае, редактором. Он подсунул машинистке печатать рукопись Солженицына; та, работая «слепым методом», не знала, что печатает, а, кончив, прочитала, и от ужаса повесилась. У Эткинда был роман с машинисткой, которая печатала «Архипелаг»; одновременно она жила с Солженицыным, и эта близость ее погубила. У Эткинда был обыск, нашли сорок экземпляров «Архипелага ГУЛаг», тогда как можно (разрешается?) иметь дома не больше десяти...

Время от времени раздавались звонки; меня звали к телефону. Помолчав, вешали трубку, — хотели удостовериться в неверности слуха о моем аресте. О том, что у меня был обыск — и не один — говорили все, даже более или менее близкие знакомые. Этот последний слух, видимо, распространял КГБ: такой слух был ему нужен в качестве хоть какого-то оправдания или объяснения своих действий. Домыслы с каждым днем

становились все фантастичней и нелепей, как это бывает всегда, когда место информации занимает воображение.

Моя деятельность по провоцированию недовольства, если таковая была, не может и отдаленно сравниться с деятельностью моих гонителей. Кто же из нас угрожал государственной безопасности ?

Гораздо деятельнее, чем я сам, были некоторые бесстрашные доброхоты : рыцарь справедливости, известная поэтесса Наталья Грудинина, за десять лет до того вместе со мной участвовавшая в защите Иосифа Бродского, бросилась очертя голову в бой. Она обивала пороги в Союзе писателей — в Ленинграде и, главным образом, в Москве, неустанно рассказывала мою историю, которую искренне считала провокацией таинственных заговорщиков, добивалась приема у партийных, правительственных и кагебистских чиновников, и возвращалась полная оптимистической эвфории : все выслушивали терпеливо и сочувственно, говорили, что такого, о чем она рассказывает, не может быть, и что следует писать подробные разъяснения и заявления, — она писала, рассылала, развозила сама красноречивые бумаги, и все они исчезали в пучине бюрократического безразличия. Ей мерещились фантастические злодеи, злое подполье, сознательно организующее антисоветские диверсии, — я пал, как ей казалось, жертвой этих темных сил. Постепенно, впрочем, и она убедилась, что с этим « подпольем » никто воевать не намерен; ее добрая энергия иссякла.

Пока я сам и немногие активные доброжелатели пытались бороться внутри, наталкиваясь на добросовестное бессилье, на фальшивое сочувствие или искреннее равнодушие, возбуждалось и ширилось общественное мнение на Западе. Вечером драматического дня, 25 апреля, я написал письмо, адресованное ректору Амстердамского университета, от которого незадолго до того получил приглашение на курс лекций. Принося ректору извинения за свой вынужденный отказ, я вкратце излагал последние события :

Глубокоуважаемый коллега,

сердечно благодарю Вас и в Вашем лице Амстердамский университет за приглашение выступить с лекциями по теории перевода, проблемам сопоставительной стилистики и поэтики и сравнительного литературоведения. Читать лекции с кафедры представляемого Вами старейшего университета было бы для меня высокой честью. Даже и при нормальных обстоятельствах я едва ли смог бы воспользоваться Вашим любезным приглашением. За последние годы меня не раз приглашали университеты, институты, писательские организации европейских стран, — мне, однако, ни разу не удалось никуда поехать.

Так было до сих пор. Но с 25 апреля все стало безнадежно. В течение этого одного дня я внезапно лишился всех прав ученого и литератора, лишился работы, возможности печатать свои труды, лишился средств к существованию.

Утром 25 апреля был экстренно созван Ученый Совет Ленинградского педагогического Института

им. Герцена; он принял решение уволить меня из института и лишить ученого звания профессора. Днем было созвано руководство Союза писателей, которое исключило меня из Союза. Я был болен, не присутствовал на этом заседании и даже не имел возможности защищаться. Зато в обоих случаях там были представители КГБ. Меня обвинили в том, что я встречался с А. Солженицыным и И. Бродским и написал письмо-рецензию на рукописную статью одного молодого критика о стихах Бродского; мне инкриминировалось еще две фразы — обе из частных писем, отнюдь не предназначенных для распространения и к оценке нынешнего политического курса СССР никакого отношения не имеющие.

Этих смехотворных обвинений оказалось достаточно, чтобы Институт, в котором я работал 23 года, и Союз писателей, в котором я состоял около 20 лет, вышвырнули меня из своих рядов. Еще утром 25 апреля я был профессором института и полноправным литератором. К вечеру этого дня я оказался лишенным всего. Для меня закрылись и преподавание, и возможность публикаций. Уже издательства получают указания не печатать не только моих сочинений, но и моего имени. Меня ждет самое страшное, на что может быть обречен ученый и литератор: немота. Немота — это гражданская смерть. Пишу это письмо, прислушиваясь к шагам на лестнице и торопясь его окончить, пока мне не помешали. Вслед за работой, званиями, возможностью публикаций я в любой момент могу лишиться свободы: это последнее, что у меня осталось.

25 апреля 1974

С одним из преданных учеников и друзей это письмо на другой день улетело на Запад — уже 30 апреля оно было опубликовано в датской газете «*Политикен*» в тревожной статье И.Б. Хольмгаарда, озаглавленной: «В этот день все стало безнадежно», и в другой датской газете, «*Информацион*». Посылая его, я шел на риск. Однако опыт последних лет показал: спасение — в широчайшей всемирной гласности. С того дня, когда «все стало безнадежно», до того, когда Запад узнал о ленинградских событиях, прошло четверо суток, — наши погромщики вряд ли ожидали контрудара такой стремительности, хотя А.И. Солженицын уже должен был научить их тому, что убивать в темноте и при всеобщем безмолвии в наши дни не удастся. Из «*Политикен*» письмо было перепечатано в крупных газетах западного мира. Так, 4 мая информация появилась во «*Франкфуртер альгемейне*», а 6 мая та же газета дала полный его текст. В том же номере «*Франкфуртер альгемейне*», в «*Нойе Цурхер Цайтунг*» и других появилось сообщение о резолюции международного ПЕН-клуба, к тому моменту уже принятой.

Это было началом. Генрих Бёлль еще раз вернулся к своему заявлению, когда в конце мая выступал с докладом на конгрессе международного ПЕН-клуба в югославском городе Орхиде.

«*Франкфуртер альгемейне*» сообщила об этом 27 мая в статье Андреаса Разумовского — «*ПЕН и границы*»:

«...Генрих Бёлль в Орхиде высказал пессимистический взгляд на возможности в будущем

осуществить конкретные политические цели ПЕН-клуба. По его мнению, положение творческой интеллигенции в Советском Союзе наглядно ухудшается, и создание советского ПЕН-центра в настоящее время для него, Бёлля, непредставимо, « если видеть в хартии ПЕН-клуба минимум нравственных обязательств ».

В качестве особенно вопиющего случая Бёлль рассматривает преследование и « разжалование » (как в армии) ленинградского профессора Эткин-да. Он лично хорошо знаком с Эткин-дом и знает его как человека совершенно аполитичного. Теперь его лишили средств к существованию только вследствие дружеских отношений с Солженицыным и Бродским. Практика советского Союза писателей не имеет ничего общего с элементарнейшими предпосылками ПЕН-клуба или других западных литературных объединений, которые существуют для того, чтобы защищать своих членов от преследований и ущемлений. « Врачная сторона советского Союза писателей в том, что они сразу же исключают своих членов, едва только те оказываются в трудном положении ».

Генрих Бёлль произносил эти слова, еще не зная подробностей дела. Нет, Союз советских писателей не тогда исключил меня, когда я оказался в трудном положении, его руководители активно способствовали тому, чтобы создать это положение « трудным » и даже невозможным: они не просто исключили, выполняя чье-то предварительное решение — они разыграли комедию политического суда и, ничего толком не зная о предъ-

явленных обвинениях, согласились играть роль инквизиционного трибунала.

Между тем, информация, поступившая на Запад, распространялась. 19 мая «Вашингтон пост» опубликовала полный текст заседания Ученого Совета педагогического института им. Герцена, а также мое «Заявление для печати», датированное 3-м мая и тогда же переданное иностранным корреспондентам :

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

25 апреля Ученый совет Ленинградского педагогического института им. Герцена освободил меня от работы в институте, где я преподавал 23 года, и лишил ученого звания профессора. В тот же день состоялось заседание ленинградского секретариата Союза писателей, и я был исключен из Союза, в котором состоял около 20 лет. Все это происходило в мое отсутствие, — я болел. Зато в обоих заседаниях принимали участие представители КГБ. На Ученом совете был оглашен документ, озаглавленный «Справка», в котором перечислялись мои «преступления» перед Советским государством. Это список вырванных из контекста, произвольно истолкованных отдельных фраз или иных ничем не мотивированных обвинений; он содержит, например, упоминание о моих «методологических ошибках» 1949 года — года, когда у нас теория относительности и кибернетика объявлялись идеологическим бредом, а Т.Д. Лысенко и его ученики рекомендовали выращивать дуб на вязе.

В «Справке» упоминается о том, что в 1964

году я выступал свидетелем защиты по делу И. Бродского и не раскаялся в этом. Глухо говорится, будто бы у меня хранилась рукопись А. Солженицына « Архипелаг ГУЛаг » — последнее обвинение основано на сбивчивых показаниях машинистки Е.Д. Воронянской. Как уже известно мировой общественности, эта семидесятилетняя женщина покончила с собой после нескольких допросов в августе 1973 года. Другие обвинения столь же мало мотивированы: они подкреплены ссылкой, например, на неизвестного мне бывшего власовца, которому якобы что-то говорила про меня та же Воронянская. В конечном счете все обвинения сводятся к одному: что я лично был знаком с Иосифом Бродским и Александром Солженицыным, встречался с ними и даже, как сказано в « Справке », « оказывал практическую помощь ». Этих обвинений оказалось достаточно, чтобы сделать вывод, формулированный в той же « Справке »: « Эткинд сознательно на протяжении долгого времени проводил идеологически вредную и враждебную деятельность. Он действовал как политический двурушник ». А вывода этого было достаточно для профессоров института, являющихся членами Совета, и для секретарей Союза писателей, чтобы подвергнуть меня гражданской казни. Ни один из них не поинтересовался моей реальной биографией, ничуть не похожей на тот перечень прегрешений, который содержится в « Справке ». Я ведь не только делал « методологические ошибки », но и, скажем, воевал четыре года. Это при совершении обряда гражданской казни не учитывается. Что же влечет за собой такая казнь? А вот что:

Будучи уволен из института, я лишен возможности преподавать; будучи исключен из Союза писателей, я не имею возможности публиковать мои работы. Запрет распространяется даже на мое имя. На основании ряда бессодержательных обвинений начисто стирается моя многолетняя научная и литературная работа, а я сам и моя семья фактически лишаемся средств к существованию.

Да, я знаком с А. Солженицыным. Да, я выступал свидетелем по делу Иосифа Бродского и по мере сил помогал молодому поэту публиковать переводы, которые давали ему кусок хлеба. Да, я писал книги и статьи, в которых пытался высказывать собственные взгляды на французскую литературу, русский стих, немецкую драматургию. Все это я делал в твердой убежденности, что способствую росту отечественной культуры, во имя которой живу. Занимаясь теорией и историей художественного перевода, я был твердо уверен, что способствую дружбе между народами, говорящими на русском, французском и немецком языках.

В «Справке» все мои сочинения названы «вредными», «враждебными». Однако десятки критиков и сотни читателей с одобрением и благодарностью отзывались о таких моих книгах, как «Поэзия и перевод» (1963), «Об искусстве быть читателем» (1964), «Семинарий по французской стилистике» (1965), «Французские стихи в переводе русских поэтов» (1969 и 1973), «Разговор о стихах» (1970), «Бертольт Брехт» (1971), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973).

И вот оказалось достаточно двух-трех фраз из частных писем и записок, фраз, не ставших достоянием гласности, чтобы зачеркнуть все написанные мною книги и другие, возможные будущие книги, и чтобы лишить ученого и литератора возможности разговаривать со студентами и читателями, обречь его на немоту, на гражданскую смерть.

Мое поколение хорошо помнит собрания 1949 года: в ту пору из университетов выгоняли лучших профессоров, наших учителей, а из литературы — лучших писателей. Я не сравниваю себя с ними. Но мое поколение до смертного часа не забудет кровожадного единодушия, с которым ораторы на таких собраниях клеймили Жирмунского, Эйхенбаума, Азадовского, Гуковского, и требовали их немедленного устранения из Ленинградского университета. Прошло ровно четверть века. Правда восторжествовала. Издаются и переиздаются книги настоящих ученых, некогда гонимых и даже уничтоженных физически, а писания хулителей преданы забвению, их имена окружены презрением. Казалось бы, возродить 1949 год невозможно...

Увы, не только возможно, но и куда как просто. Профессора, писатели, поэты знают своего коллегу по много лет, но им сказали, что их коллега государственный преступник — и они торопятся верить. Ведь не поверивший — сам преступник. Им говорят, что он совершал «методологические ошибки» в 1949 году — и они не вдумываются в то, какой абсурд им сказали: они не слышат даты «1949», а только привычно-пугающие слова об ошибках, и соглашаются казнить. Им говорят,

что их коллега «использовал свое общественное положение для протаскивания в своих работах взглядов, враждебных Советскому строю» (это из «Справки») — и они забывают, что каждая книга проходит через многоступенчатый контроль редакторов и рецензентов, цензоров и комитетов по делам печати, забывают об этом и соглашаются казнить. И казнь эту совершают единогласно. Единогласие было необходимым условием процедуры и в ту давнюю пору. А ведь за четверть века, казалось бы, должна была вырасти новая общественность, должно было воспитаться в людях гражданское самосознание. Возможно ли, что нас так легко отбросить на 25 лет назад?

Возможно ли, что люди не накапливают исторический опыт? Что их ничему не научил хотя бы «Новый мир»? Что они забыли о стихах Твардовского, о покаянных статьях Симонова, о самоубийстве Фадеева, о возрождении из праха Булгакова, Бабеля, Мандельштама, Ахматовой и многих других? Возможно ли сегодня, в 1974 году, пользоваться доводами той поры и, вызывая общее одобрение, ссылаться на 1949 год?

Нет, я верю в прогресс, в новую общественность, в рост гражданского самосознания. Я верю в то, что отбросить нашу страну на 25 лет назад не удастся никому. И еще я верю в демократические силы современного мира.

Е. Эткинд

3 мая 1974 г.

Ленинград

ул. Александра Невского 6, кв. 17.

Эта оптимистическая концовка оправдалась

лишь отчасти. Ни « новая общественность », ни « рост гражданского самосознания » в ходе моего дела не обнаружили; их не хватило даже на то, чтобы открыто задавать начальству вопросы. Удалось ли « отбросить нашу страну на 25 лет назад »? Нет, разумеется, пока не удалось, да это и не пытались сделать. Удалась — проба. Проба же показала, что если бы это понадобилось, то, может быть, и удалось бы. Может быть. Всё-таки на сегодня у нас произвол своеобразный, он ограничен — нет, не парламентом и даже не общественным мнением внутри страны, а мнением международной общественности. Ибо, как оказалось, не напрасно я верил « в демократические силы современного мира ». Они развернулись. Публикуя запись заседания Ученого совета и мое « Заявление для печати », московский корреспондент « Вашингтон пост » Роберт Кайзер писал: « Эти документы говорят сами за себя. Они свидетельствуют о том, как КГБ — политическая полиция — вмешивается в обстоятельства, в которых люди Запада видели бы дела чисто академические; как дружеские отношения с видными диссидентами оборачиваются в нынешнем Советском Союзе преступлением, и как с человеком, оказавшемся в опале у властей, обращаются его коллеги ».

С пониманием ситуации и энергией вступила в дело печать европейских стран, причем отнюдь не правые газеты и журналы, как в таких случаях охотно констатируют в Советском Союзе, — а самые разные. Авторами статей выступили не « профессиональные антикоммунисты », а культурные деятели большого масштаба, писатели,

известные слависты, теоретики литературы, эссеисты, историки.

Это был залп из многих орудий. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что мои заслуги тут сильно преувеличены — иногда в угоду газетно-журнальной сенсационности, иногда из соображений тактических. Тем не менее залп оказался мощным. Я не читал эту прессу, до меня доходили только тексты, оглашаемые по радио, — «Би-Би-Си», «Голосу Америки», «Немецкой волне», «Свободе», — и еще то, что сообщали мне по телефону. С благодарностью вспоминаю о систематических звонках сотрудника Базельского радио Альфреда Блаттера, сильно помогавшего мне морально, и державшего меня в курсе западных дел, представителей Австрийского общества литературы, Генриха Бёлля, журналиста французского еженедельника «Экспресс» Мишеля Горде, который в июне взял у меня по телефону интервью и дал мне возможность во всеуслышание высказать отношение к проблеме эмиграции. «Собираетесь ли вы уехать?» — спросил меня Горде, и я ответил, что прошу его записать следующее заявление, которое я считаю принципиальным: «Литератор и ученый, связанный с родным языком и работающий для развития гуманитарной культуры, добровольно уехать из своей страны не может; эмиграция для него не только трудна, но и непредставима. Если меня, как недавно мне было заявлено в областном комитете партии, лишат возможности работать, — преподавать и печататься, — это будет значит, что я задущен и материально, и морально. В таком случае мой отъезд из Советского Союза следует рассматри-

вать не как добровольную эмиграцию, а как насильственное изгнание ».

ОТСТУПЛЕНИЕ ОБ ЭМИГРАЦИИ

*Immer fand ich den Namen falsch, den man
uns gab : Emigranten.
Das heißt doch : Auswanderer. Aber wir
Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluß
Wählend ein anderes Land. Wanderten wir
doch auch nicht
Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich
für immer.
Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte,
Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein,
das uns aufnahm... 1).*

Bertolt Brecht.

Über die Bezeichnung Emigranten. 1937

В последние годы из России уезжает все больше деятелей культуры — писатели, математики, биологи, музыканты, художники, танцоры, лингвисты, историки, искусствоведы, физики, шахматисты. Уезжают по разному, кто как может, — одни используют льготные возможности, открывшиеся для евреев, другие остаются за границей во вре-

-
- 1) Всегда я считал неверным название, которое нам дают : эмигранты.

Это ведь значит : переселенцы. Но мы
Не переселялись, выбрав себе по желанью
Другую страну. И мы не селились
В другой стране, чтоб остаться там,
по-возможности, навсегда.
Нет, мы бежали. Изгнанники, ссыльные мы.
Не домом, изгнанием станет для нас
страна, принявшая нас...

Бертольт Брехт

О слове « эмигранты ». 1937

мя туристских поездок, третьи просят политического убежища, находясь на Западе в служебной командировке... Давно и со все возрастающей тревогой следил я за этим трагическим исходом, который, кстати сказать, охватывает отнюдь не одних только евреев; достаточно назвать таких эмигрантов-неевреев, как виолончелист М. Ростропович, певица Г. Вишневская, композитор А. Волконский, художник М. Шемякин, поэт и переводчик В. Бетаки, писатели В. Некрасов, В. Максимов, А. Синявский, А. Гладилин, лингвисты В. Шеворошкин и С. Шаумян, богослов А. Левитин-Краснов... Впрочем, делить людей на евреев и неевреев нелепо; уезжают деятели русской культуры, кем бы они ни числились в паспорте. Наум Коржавин — русский поэт, хотя в годы борьбы с космополитизмом ему непременно припомнили бы, что его настоящая фамилия — Мандель. Иосиф Бродский — поэт русского языка, и принадлежит он к той литературе, которую создавали — независимо от паспортных данных — Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Борис Пастернак. Автор этих строк — еврей « по крови » но ни язык, ни культура, ни образ мыслей не отделяет его от России Пушкина и Толстого, Блока и Мандельштама. Мы, воспитанные на передовых идеях века, не унизимся до зоологического расизма, пятнавшего сознание, увы, многих наших соотечественников, — даже одаренных, как В.В. Розанов. « Еврей силится отмыть какую-то мировую не-

чистоту с себя, какой-то допотопный пот... Услуги еврейские как гвозди в руки мои. Ласковость еврейская как пламя обжигает меня. Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой... Сила евреев — в их липкости. Пальцы их — с клеем... Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелек: они пришли «по душу русскую». («Опавшие листья», 1 и 2 коробки, 1912-1915). Шестьдесят лет назад написаны Розановым эти слова ненависти и травли.

А ведь был в его же время другой русский писатель и публицист, В.Г. Короленко, давший начало другому мировоззрению, — видно, ненависть, одушевлявшая Розанова, оказалась сильнее короленковского благородства. Сегодня, в середине семидесятых годов XX века, в нашем отечестве нас снова хотят убедить, что евреи России отличаются от «коренного» населения своей кровью, от которой у них и «мировая нечистота» и «липкость». Но мы были свидетелями Освенцима и дела «убийц в белых халатах», и мы не хотим повторения. Мы то уж знаем, как прост переход от «опавших листьев» к Бабьему яру, газовой камере, крематорию.

И вот теперь мы стали свидетелями того, как антисемитские настроения мутным потоком разливаются в нашей стране. И как в другом лагере антисемитизм идет об руку со все растущим, все крепнущим русским национализмом — не только среди инакомыслящих в Советском Союзе, но и на Западе, среди некоторых, кичащихся своей терпи-

мостью, эмигрантских кругов. То в одной, то в другой статье, в журналах, газетах, книгах мелькают либо подразумеваемые, либо даже прямо высказанные мнения: что еврею до русской нации? Еврей по природе своей интернационалист (читай: коммунист). Евреи повинны в Октябрьской революции, евреи ответственны за лагеря, евреи навязали России неорганичный для нее марксизм... Вот несколько фраз из одного рассказа, опубликованного в 1975 году: «Насколько естественней для еврея давить сверху, а для русского изголяться в психологических претензиях снизу?..» «Вот оно, чеховское брезгливое, но гениальное предвидение: Соломон — предтеча будущих комиссаров (имеется в виду Соломон Моисеевич из повести Чехова «Степь», стремившийся иметь десять миллионов, и тогда его нынешний хозяин Варламов был бы его лакеем. Е.Э.). Теперь я прослеживаю линию, считываю родословие, — черное родословие сынов израилевых в наши дни. Да, да, вот оно: Соломон породил комиссаров, комиссары посмеялись над его душевной наготой, наивной прямолинейностью и упрятали в желтый дом. Комиссары породили наркомов, те поставили комиссаров к стенке, сослали в лагеря. Наркомы породили... кого? Да его, разумеется, Болотина — кого же еще! Вот он, жалкий последний дыш линии, ее гаснущее окончание. А что дальше?» (А. Суконик. Мой консультант Болотин. «Континент», № 3). Чехов тут не при чем; Чехов — автор не только «Степи»,

но и « Скрипки Ротшильда ». А Суконик... Да, Суконик — не Чехов. Когда я читаю — в 1975 году ! — эти строки, я, при всем моем бескомпромиссном интернационализме, с гордостью говорю : я — еврей. И чем злее будут суконики, тем большую гордость я буду испытывать от сознания того, что я еврей. По крови ли (которую хотят пролить нацисты), по форме ли носа (которая им ненавистна), по интернационализму ли мировоззрения (который противоречит их идеям расовой ненависти) — не все ли равно? Впрочем, по крови Александр Суконик и сам, видимо, еврей, так что и черносотенец-то он неполноценный. Моим же идеалом человека останется Ариадна Скрябина, дочь великого композитора, русская дворянка, которая в годы нацистской оккупации приняла имя Сарра, и погибла.

Уезжают евреи, — те, кто сами считают себя евреями и видят свой жизненный долг в строительстве государства Израиль. Уезжают неевреи, — те, кто, числясь нерусскими по паспорту, причисляют себя к потомкам Пушкина (который сам о себе писал : « Потомок негров безобразный, возвращенный в дикой простоте... »). Уезжают и те, кого с еврейством не связывает ничего, кроме — иногда — нравственной солидарности. Уезжает интеллигенция.

Прежде было иначе. Так называемая первая эмиграция была классовой : духовенство, дворянство, офицерство, буржуазия, связанные с ними круги литераторов и художни-

ков; в ту пору из России стремились уехать все, кто не принимал социалистической революции и страшился ее — даже еще не представляя себе, что принесет она стране. Революция была направлена против них; понятно, что они ударились в эмиграцию.

Вторая эмиграция была вызвана войной: на Западе остались «перемещенные лица», пленные, беглецы. Это были главным образом «невозвращенцы», и руководствовались они не столько сознательным политическим выбором, сколько нежеланием оказаться жертвой сталинского террора, который ждал всех, побывавших в плену или вообще по ту сторону.

А теперь — третья. Не классовая, как первая, и часто не вынужденная внешними обстоятельствами, как вторая. Это люди, из которых большинство сами выбрали — покинуть свою страну и уехать в другую, за плотно замкнутую границу, без надежды на возвращение. Есть среди них шкурники и обыватели — они привлечены материальным благополучием Запада, эротико-порнографическим кино, шикарными автомобилями, ночными кабаре, длинноногими нимфами на плас Пигаль. Об этих людях нечего говорить — народ оздоравливается, избавляясь от таких сограждан. Есть категория промежуточная: уехали, потому, что на Западе и лучше, и вольнее, и жить легче, можно путешествовать по разным странам, читать газеты разных партий, не бояться стукачей, топтунов, микрофонов в потолке, ночных звонков в

дверь... Их можно понять и оправдать : страна сделала многое, чтобы они утратили даже подобие патриотических чувств. Уезжают идейные сионисты или немцы — создавать будущее для своих детей там, где никто не скажет, что у них « пальцы с клеем », или что они — « колбасники ». А ведь еще недавно и они (отлично помню) считали себя русскими или, во всяком случае, советскими. Но им долго объясняли, что зря они стараются : чужак останется чужаком, какие бы он услуги не оказывал « коренным ». Все равно, сколько ни бейся, эти « коренные » не станут тебя благодарить — в лучшем случае тебя ждет судьба, постигшая великого полководца Баркляя де Толли. В 1812 году русскую армию спас от разгрома Барклай, но даже князь Андрей, оценивая его деятельность, скажет Пьеру Безухову : « Ну, у твоего отца немец-лакей, и он прекрасный лакей, и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек ». Льву Толстому исчерпывающе ответил Пушкин (правда за четверть века до « Войны и мира »), обратившись к Барклаю со словами :

*О вождь несчастливый! Суров был жребий
твой.*

*Все в жертву ты отдал стране, тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
Спокойно шел один ты с мыслию великой.
Но в имени твоём звук чуждый не влюбля,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Глумился над твоей священной сединою...*

В этом разгадка всякого антисемитизма, даже такого идейного, как розановский: «В имени твоём звук чуждый не влюбля...» Все можно простить, кроме чуждого звука. Как же допустить, чтобы русского поэта звали Кюхельбекер или Мандельштам? Художника — Левитан? Философа — Гершензон?

Люди высокого духа умели стать выше мстительности и прощать «черни дикой» ее предрассудки. Барклай де Толли остался русским патриотом и за Россию отдал жизнь. Мандельштам остался русским поэтом и вопреки всему мечтал

*эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.*

Уезжают и другие: те, кто верят в свои духовные силы и знают, что на родине эти силы развернуть не удастся. Отделы кадров на работу их не берут. В аспирантуру их проваливают, хотя заведомо ясно, что они созданы для научных исследований. На конгрессы не пускают. Их книги стараются не

публиковать («звук чуждый» — на переплете !)

Одним самолетом со мной улетел из Ленинграда скрипач Яков Милкис, концертмейстер и вторая скрипка Ленинградского филармонического оркестра, одного из лучших в мире. Несколько лет подряд весь оркестр гастролировал в разных странах Европы и Востока, а его не пускали. Почему? Не объясняли. Потом однажды сказали так: у него в Канаде тетка. Милкис опешил: при чем тут тетка, с которой он, кажется, даже не был знаком? Оркестр продолжал ездить по мировым столицам, Милкис — сидеть дома. В том, что он первоклассный музыкант, никто не сомневался. Но, говоря словами князя Андрея, он — «немец-лакей», и, хотя Россия не при смерти, как было в 1812 году, а Милкиса лучше все же оставлять дома. Евреи — «липкие», все они в душе сионисты, доверять им нельзя. И вот Милкис, русский музыкант, может быть имеющий от еврейства только смешную для русского слуха фамилию — «звук чуждый» — уехал. К тетке в Канаду. Там и его приняли в оркестр, и детей — в консерваторию.

Это горько и страшно. Разъезжаются деятели русской культуры по странам Запада, распадается наша культура. Поэт творит в языке, и когда вокруг него звучит чужая речь, он постепенно немеет, чувство языка притупляется, слова гаснут. Ученый формировался внутри своей школы, у него свои противники и свои союзники. Оказавшись в

чужом мире, он — наедине с самим собой — нередко чахнет; утратив учителей и учеников, оппонентов и читателей, он теряет и чувство пути, и чувство цели. Оказавшись без родины, « апатридом », он рискует стать обывателем — это случается, к счастью, не всегда, но часто. Мудрый Пушкин писал :

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу :
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

Вторую строфу Пушкин позднее в рукописи заменил другой, еще более решительной и торжественной :

*Животворящая святыня !
Земля без них была б мертва,
Как [безнадежная] пустыня
И как алтарь без божества.*

Значит для Пушкина и внутренний смысл человеческой жизни, и достоинство ни от кого не зависящего, истинно свободного человека, и одухотворенность земного бытия вообще — все это зависит от ощущения кровной связи со своим прошлым, от неразрывности временного и пространственного су-

ществования. Расторжение связей подобно смерти :

Земля без них была б мертва.

Когда нитку вытаскивают из ткани, то и сама нитка теряет смысл своего существования, и ткань изуродована — она расползается. Уезжать нужно, когда на шею твою накинута петля, когда оставаться и гибельно, и бесполезно. Когда нитку без того уж из ткани вытянули, и назад ее не вплетут. Но пока не вытянули, пока ты еще там, внутри, и необратимое не свершилось — держись, всеми силами держись, руками и зубами.

Так я говорил самому себе, решая свое будущее и размышляя о своем настоящем. Мне страстно хотелось на Запад: я всю жизнь исследовал французских писателей, и никогда мне не довелось видеть Францию: меня не пускали даже туристом. Я много лет переводил немецких поэтов, от Ганса Сакса до Бертольта Брехта и Эриха Кестнера, и никогда я не видел Германии, и уже не надеялся ступить на ее землю. Я изучал творчество Метерлинка и Верхарна, много написал о них, и даже не думал о поездке в Бельгию.

Мой близкий друг Владимир Шор, глубокий знаток французской литературы и французского языка, любил гулять по воображаемому Парижу: он знал наизусть каждую парижскую улицу и в такие прогулки играл, как шахматный гроссмейстер играет, не глядя на доску. Много раз он хлопотал о поездке в любимую страну, — напрасно: *« в имени его звук чуждый не взлюбя »*, его не

пускали — ни в гости, ни для работы, ни для туризма. Он умер пятидесяти четырех лет, а мечта его так и не осуществилась: Париж он видел только в своем воображении или еще в кино. Пример его стоял перед моими глазами. Мне мучительно хотелось увидеть Экс-ан-Прованс, Париж, Ферней, Любек и Женеву, остров Реюньон и Брюгге.

Но изгнанник — не турист. Увидеть мир ценой утраты своего воздуха, своих близких, своего читателя, языка, окружения, своих учеников? Это мне казалось чудовищным. Непредставимым. И я был готов бороться, если только хоть какая-то борьба возможна. Бороться вопреки всему — еврейскому бесправию, всесилию Большого дома, леденящему страху, парализовавшему даже благожелателей.

Но слишком скоро оказалось, что борьба невозможна.

В начале июня я собрал несколько университетских приглашений, — из тех, которые прорвались ко мне сквозь блокаду переписки, — и приложил их к заявлению председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорному, в котором просил о разрешении выехать с семьей на два года во Францию. Через месяц меня вызвали в ОВИР¹⁾. Некий штатский чиновник, оказавшийся генералом Смирновым, принял меня в просторном кабинете (рядом с ним стоял магни-

1) Отдел виз и регистраций иностранцев — организация при Министерстве Внутренних дел, которая ведала выездами за границу.

тофон с вертевшейся катушкой — может быть для устрашения посетителя? Или для того, чтобы сам генерал Смирнов не сказал лишнего?) и заявил, что моя просьба Н.В. Подгорному не может быть удовлетворена: «Таких форм отъезда у нас не предусмотрено». Я пытался сослаться на примеры некоторых моих предшественников: ведь именно на два года уехали из СССР М. Ростропович, В. Максимов, В. Некрасов?.. Генерал Смирнов отчетливо дал мне понять, что для меня такой путь закрыт. «Для вас, — настойчиво подчеркнул он, — для вас это невозможно». Я понял: те, кого я рассматривал как моих предшественников, принадлежат «коренной национальности», они русские; я же — еврей, и мне надлежит отправляться в Израиль, да поскорее. Но выезд в Израиль влечет за собой немедленную и необратимую потерю подданства: в момент получения израильской визы уезжающий сдает (и навсегда теряет) советский паспорт. Мало этого: по установленным правилам он еще должен уплатить пятьсот рублей (около двух с половиной тысяч французских франков) «за отказ от подданства». Спорить было бессмысленно: высылка из страны оформлялась как добровольный отъезд, лишение гражданства — как «отказ» от него.

Все же я ждал еще три месяца — может быть дело как-нибудь повернется? Оно никак не повернулось. С каждым днем я чувствовал, что тучи сгущаются, что КГБ становится все активнее, что и мне, и в особенности дочери грозит прямая опасность. Наконец один из близких моих друзей, которого со мной и моей семьей связывают многие десятилетия близости, сказал мне: — Тебе

надо уезжать, не медля ни одного лишнего дня. Ты встречаешься с людьми — это для них губительно. Молодые приходят к тебе, помогают, открыто демонстрируют свое сочувствие. Они незащищенные — никакие западные университеты их не пригласят, газеты о них писать не будут. Пока ты здесь, они в смертельной опасности. Каждого из них могут со дня на день выгнать с работы. Неужели ты не понимаешь своей ответственности перед ними, да и перед всеми нами? Даже нам, старшим, грозит потеря работы, — в лучшем случае нам не дадут дослужиться до пенсии. Уезжай!

В моей памяти этот разговор остался, как одно из самых тяжелых переживаний последнего периода жизни в Советском Союзе. Даже близкий друг сторонился меня, как прокаженного. Солидарность окончательно уступила место страху. Конечно, он был прав: находясь под наблюдением органов, я втягивал в орбиту наблюдения всех, кто приходил ко мне или просто пожимал мне на улице руку. Я не имел права требовать даже от моих друзей, чтобы они были героями. Все чаще мне вспоминались слова Бертольта Брехта: « Несчастлива та страна, которая нуждается в героях! »

В конце сентября мы подали заявление в ОВИР на отъезд в Израиль. Опыт других говорил о том, что ответ поступит месяца через два, не прежде; время было необходимо — для отправления библиотеки, для разборки и оформления архива, для имущественных распоряжений, для прощания с близкими. Казалось бы, временем мы располагаем, в этом смысле мы чувствовали себя спокойно. Но даже и это спокойствие оказалось

иллюзией : ответ пришел через четыре дня. Решение о высылке было заготовлено давно, и мне много раз давали понять это, только я старался не понимать. 16 октября мы вылетели в Вену, 25 прибыли в Париж.

Только что я привел слова Брехта. Когда мне пришлось переводить — в пятидесятых годах — его стихи об эмиграции, а позднее « Разговоры беженцев », я не думал, что тексты Брехта станут жизненно-актуальны для меня. Стихотворение « О слове 'эмигранты' », созданное Брехтом в 1937 году, а мною переведенное двадцать лет назад, в 1955-м, кончается строками, которыми я хочу кончить эту книгу :

*В вечной тревоге живем мы — живем поближе
к границам,
Ждем дня возвращения, следя с замиранием
сердца
За малейшими изменениями по ту сторону
границы,
Ревностно расспрашивая каждого
новоприбывшего оттуда,
Ничего не забывая, ни от чего не отказываясь
И ничего не прощая, — нет, ничего не прощая,
что было.
Безмолвие пролива нас не обманет ! Мы слышим
крики,
Которые к нам долетают из их лагерей. Мы ведь
и сами
Подобны слухам о зверствах, пролетевшим
Через границы. Каждый из нас,
Идущий в разбитых башмаках сквозь толпу,*

*Свидетельствует о позоре, пятнающем нашу
страну.*

*Но не один из нас
Здесь не останется. Еще не сказано
Последнее слово.*

Август — сентябрь 1975 г.

Esery — Suresnes

ПРИЛОЖЕНИЯ

От автора

Рискуя отяжелить книгу и, может быть, вызвать упреки в известной нескромности, прилагаю тексты некоторых документов. Мне это представляется, если не необходимым, то, во всяком случае, полезным. Многому из того, что я рассказываю от себя, читатель вправе не поверить, приписав не только трактовку, но даже и факты необузданности моего воображения. Документы обладают непреложностью, хотя и они порою могут показаться плодом фантазии. Я отобрал те, которые свидетельствуют о специфических трудностях советского автора, стремящегося опубликовать книгу, о трудностях, которые еще возрастают и становятся непреодолимыми, когда автор — в немилости, когда он стал объектом наблюдения и преследований со стороны органов Государственной Безопасности. Читатель увидит, чем являются так называемые «внутренние рецензии», написанные по заданию издательств или «вышестоящих инстанций», и какую роль они могут сыграть в судьбе автора. Он увидит, что такое борьба писателя за существование, за собственное достоинство, за право обратиться к читателям, за свою литературу, свою науку, свою жизнь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Второй суд над И. Бродским
Фонтанка, 22, зал Клуба строителей
13 марта 1964 года
(Запись Ф. Вигдоровой)

Заключение экспертизы гласит: В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка.

Идущих на суд встречает объявление: *Суд над тунеядцем Бродским*. Большой зал Клуба строителей полон народа.

— Встать! Суд идет!

Судья Савельева спрашивает у Бродского, какие у него есть ходатайства к суду. Выясняется, что ни перед первым, ни перед вторым он не был ознакомлен с делом. Судья объявляет перерыв. Бродского уводят для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Через некоторое время его приводят, и он говорит, что стихи на страницах 141, 143, 155, 200, 234 (перечисляет) ему не принадлежат. Кроме того, просит не приобщать к делу дневник, который он вел в 1956 году, то-есть тогда, когда ему было 16 лет. Защитница присоединяется к этой просьбе.

Судья: В части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради, изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года

вы переменяли 13 мест работы. Вы работали на заводе год, потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали... (перечисляет места работы и следовавшие за этим перерывы). Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?

Бродский : Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас : я писал стихи.

Судья : Значит, вы писали свои так называемые стихи ? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы ?

Бродский : Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях.

Судья : А что вы делали полезного для родины ?

Бродский : Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики : Подумаешь. Воображает.

Другой голос : Он поэт, он должен так думать.

Судья : Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу ?

Бродский : А почему вы говорите про стихи « так называемые » ?

Судья : Мы называем ваши стихи « так называемые » потому, что иного понятия о них у нас нет.

Сорокин : Вы говорите, что у вас сильно развита любознательность. Почему же вы не захотели служить в Советской армии ?

Бродский : Я не буду отвечать на такие вопросы.

Судья : Отвечайте.

Бродский : Я был освобожден от военной службы. Не « не захотел », а был освобожден. Это разные вещи. Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни.

Сорокин : Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете ?

Бродский : Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.

Сорокин : Но надо же обуваться, одеваться.

Бродский : У меня один костюм — старьё, но уж какой есть. И другого мне не надо.

Адвокат : Оценивали ли ваши стихи специалисты ?

Бродский : Да. Чуковский и Маршак очень хорошо говорили о моих переводах. Лучше, чем я заслуживаю.

Адвокат : Была ли у вас связь с секцией переводов Союза писателей ?

Бродский : Да. Я выступал в альманахе, который называется « Впервые на русском языке » и читал переводы с польского.

Судья (защитнице) : Вы должны спрашивать его о полезной работе, а вы спрашиваете о выступлениях.

Адвокат : Его переводы и есть его полезная работа.

Судья : Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились ?

Бродский : Я работал. Я писал стихи.

Судья : Но это не мешало вам трудиться.

Бродский : А я трудился. Я писал стихи.

Судья : Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать ?

Бродский : Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица.

Судья : Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму ?

Бродский : Строительство коммунизма это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...

Судья : Оставьте высокие фразы. Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее.

Бродский : Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый : У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени ?

Бродский : Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом.

Судья : Вы сделали для себя выводы из выступления печати ?

Бродский : Статья Лернера была лживой. Вот единственный вывод, который я сделал.

Судья : Значит, вы других выводов не сделали ?

Бродский : Не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни.

Адвокат : Вы сказали, что статья « Окололи-

тературный трутень», опубликованная в газете «Вечерний Ленинград» неверна. Чем?

Бродский: Там только имя и фамилия верны. Даже возраст неверен. Даже стихи не мои. Там моими друзьями названы люди, которых я едва знаю или не знаю совсем. Как же я могу считать эту статью верной и делать из нее выводы?

Адвокат: Вы считаете свой труд полезным. Смогут ли это подтвердить вызванные мною свидетели?

Судья (адвокату, иронически): Вы только для этого свидетелей и вызвали?

Сорокин (общественный обвинитель, Бродскому): Как мы могли самостоятельно, не используя чужой труд, сделать перевод с сербского?

Бродский: Вы задаете вопрос невежественно. Договор иногда предполагает подстрочник. Я знаю польский, сербский знаю меньше, но это родственные языки, и с помощью подстрочника я смог сделать свой перевод.

Судья: Свидетельница Грудинина.

Грудинина: Я руковожу работой начинающих поэтов более 11 лет. В течение семи лет была членом комиссии по работе с молодыми авторами. Сейчас руковожу поэтами-старшеклассниками во дворце пионеров и кружком молодых литераторов завода «Светлана». По просьбе издательства, составила и редактировала 4 коллективных сборника молодых поэтов, куда вошло более 200 новых имен. Таким образом практически я знаю работу почти всех молодых поэтов города.

Работа Бродского, как начинающего поэта, известна мне по его стихам 1959 и 1960 годов. Это

были еще несовершенные стихи, но с яркими находками и образами. Я не включила их в сборники, однако считала автора способным. До осени 1963 года с Бродским лично не встречалась. После опубликования статьи «Окололитературный трутень» в «Вечернем Ленинграде» я звала к себе Бродского для разговора, так как молодежь осаждала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. Бродский на мой вопрос — чем он занимается сейчас? — ответил, что изучает языки и работает над художественными переводами около полутора лет. Я взяла у него рукописи переводов для ознакомления.

Как профессиональный поэт и литературовед по образованию, я утверждаю, что переводы Бродского сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, не часто встречающимся талантом художественного перевода стихов. Он представил мне работу из 368 стихотворных строк, кроме того я прочла 120 строк его переводных стихов, напечатанных в московских изданиях.

По личному опыту художественного перевода я знаю, что такой объем работы требует от автора не менее полугода уплотненного рабочего времени, не считая хлопот по изданию стихов и консультаций специалистов. Время, нужное для таких хлопот, учету, как известно, не поддается. Если расценить даже по самым низким издательским расценкам те переводы, которые я видела собственными глазами, то у Бродского уже заработано 350 рублей новыми деньгами, и вопрос лишь в том, когда будет напечатано полностью все сделанное.

Кроме договоров на переводы, Бродский представил мне договоры на работы по радио и телевидению, работа по которым уже выполнена, но также еще полностью не оплачена.

Из разговора с Бродским и людьми, его знающими, я знаю, что живет Бродский очень скромно, отказывает себе в одежде и развлечениях, основную часть времени просиживает за рабочим столом. Получаемые за свою работу деньги вносит в семью.

Адвокат : Нужно ли для художественного перевода стихов знать творчество автора вообще ?

Грудинина : Да, для хороших переводов, подобных переводам Бродского, надо знать творчество автора и вникнуть в его голос.

Адвокат : Уменьшается ли оплата за переводы, если переводил по подстрочникам ?

Грудинина : Да, уменьшается. Переводя по подстрочникам венгерских поэтов, я получала за строчку на рубль (старыми деньгами) меньше.

Адвокат : Практикуется ли переводчиками работа по подстрочнику ?

Грудинина : Да, повсеместно. Один из крупнейших ленинградских переводчиков, А. Гитович, переводит с древне-китайского по подстрочникам.

Заседатель Лебедева : Можно ли самоучкой выучить чужой язык ?

Грудинина : Я изучила самоучкой два языка в дополнение к тем, которые изучила в университете.

Адвокат : Если Бродский не знает сербского языка, может ли он, несмотря на это, сделать высокохудожественный перевод ?

Грудинина : Да, конечно.

Адвокат : А не считаете ли вы подстрочник предосудительным использованием чужого труда ?

Грудинина : Боже сохрани.

Заседатель Лебедева : Вот я смотрю книжку. Тут же у Бродского всего два маленьких стишка.

Грудинина : Я хотела бы дать некоторые разъяснения, касающиеся специфики литературного труда. Дело в том...

Судья : Нет, не надо. Так, значит, какое ваше мнение о стихах Бродского ?

Грудинина : Мое мнение, что как поэт он очень талантлив и на голову выше многих, кто считается профессиональным переводчиком.

Судья : А почему он работает в одиночку и не посещает никаких литобъединений ?

Грудинина : В 1958 году он просил принять его в мое литобъединение. Но я слышала о нем, как об истеричном юноше и, не приняла его, оттолкнув собственными руками. Это была ошибка, я очень о ней жалею. Сейчас я охотно возьму его в свое объединение и буду с ним работать, если он этого захочет.

Заседатель Тяглый : Вы сами когда-нибудь лично видели, как он лично трудится над стихами или он пользовался чужим трудом ?

Грудинина : Я не видела, как Бродский сидит и пишет. Но я не видела и как Шолохов сидит за письменным столом и пишет. Однако это не значит, что...

Судья : Неудобно сравнивать Шолохова и Бродского. Неужели вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась ? Ведь у Бродского всего семь классов.

Грудинина : Объем знаний у него очень большой. Я в этом убедилась, читая его переводы.

Сорокин : Читали ли вы его нехорошие порнографические стихи?

Грудинина : Нет, никогда.

Адвокат : Вот о чем я хочу вас спросит, свидетельница. Продукция Бродского за 1963 года такая : стихи в книге « Заря над Кубой », переводы стихов Галчинского (правда, еще не опубликованные), стихи в книге « Югославские поэты », песни гаучо и публикации в « Костре ». Можно ли считать это серьезной работой ?

Грудинина : Да, несомненно. Это наполненный работой год. А деньги эта работа может принести не сегодня, а несколько лет спустя. Неправильно определять труд молодого поэта суммой полученных в данный момент гонораров. Молодого автора может постичь неудача, может потребоваться новая длительная работа. Есть такая шутка : разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда ест.

Судья : Нам не понравилось это ваше заявление. В нашей стране каждый человек получает по своему труду и потому не может быть, чтобы он работал много, а получал мало. В нашей стране, где такое большое участие уделяется молодым поэтам, вы говорите, что они голодают. Почему вы сказали, что молодые поэты не едят ?

Грудинина : Я так не сказала. Я предупредила, что это шутка, в которой есть доля правды. У молодых поэтов очень неравномерный заработок.

Судья : Ну, это уж от них зависит. Нам этого

не надо разъяснять. Ладно, вы разъяснили, что ваши слова шутка. Примем это объяснение.

Вызывается новый свидетель — Эткинд Ефим Григорьевич.

Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. (Берет паспорт) Эткинд... Ефим Гиршевич.. Мы вас слушаем.

Эткинд (он член Союза писателей, преподаватель Института имени Герцена): По роду моей общественно-литературной работы, связанной с воспитанием начинающих переводчиков, мне часто приходится читать и слушать переводы молодых литераторов. Около года назад мне довелось познакомиться с работами И. Бродского. Это были переводы стихов польского поэта Галчинского, стихи которого у нас еще мало известны и почти не переводились. На меня произвели сильное впечатление ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха. Поразило меня и то, что Бродский самостоятельно, без всякой посторонней помощи изучил польский язык. Стихи Галчинского он прочел по-польски с таким же увлечением, с каким он читал свои русские переводы. Я понял, что имею дело с человеком редкой одаренности и — что не менее важно — трудоспособности и усидчивости. Переводы, которые я имел случай читать позднее, укрепили меня в этом мнении. Это, например, переводы из кубинского поэта Фернандеса, опубликованные в книге «Заря над Кубой», и из современных югославских поэтов, печатаемые в сборнике Гослитиздата. Я много беседовал с Брод-

ским и удивился его познаниям в области американской, английской и польской литературы.

Перевод стихов — труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход — дело далеко будущего. Можно несколько лет переводит стихи и не заработать этим ни рубля. Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры другого народа — все это дается далеко не сразу. Все, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее. Это не только мое мнение. Бюро секции переводчиков, узнав о том, что издательство расторгло с Бродским заключенные с ним договоры, приняло единодушное решение ходатайствовать перед директором издательства о привлечении Бродского к работе, о восстановлении с ним договорных отношений.

Мне доподлинно известно, что такого же мнения придерживаются крупные авторитеты в области поэтического перевода, Маршак и Чуковский, которые...

Судья: Говорите только о себе.

Эткинд: Бродскому нужно предоставить возможность работать как поэту-переводчику. Вдали от большого города, где нет ни нужных книг, ни литературной среды, это очень трудно, почти невозможно: на этом пути, по моему глубокому убеждению, его ждет большое будущее. Должен сказать, что я очень удивился, увидев объявление: « Суд над тунеядцем Бродским ».

Судья: Вы же знали это сочетание.

Эткинд : Знал. Но никогда не думал, что такое сочетание будет принято судом. При стихотворной технике Бродского ему ничего не мешало бы халтурить, он мог бы переводить сотни строк, если бы он работал легко, облегченно. Тот факт, что он зарабатывал мало денег, не означает, что он не трудолюбив.

Судья : А почему он не состоит ни в каком коллективе ?

Эткинд : Он бывал на наших переводческих семинарах...

Судья : Ну, семинары...

Эткинд : Он входит в этот семинар в том смысле...

Судья : А если без смысла ?

(Смех в зале).

То-есть я хочу спросить : почему он не входил ни в какое объединение ?

Эткинд : У нас нет членства, поэтому я не могу сказать « входил ». Но он ходил к нам, читал свои переводы.

Судья (*Эткинду*) : Были ли у вас недоразумения в работе, в вашей личной жизни ?

Эткинд (с удивлением) : Нет. Впрочем, я уже два дня не был в Институте. Может быть, там что-нибудь и произошло.

(Вопрос аудитории и, по-видимому, свидетелю остался непонятным).

Судья : Почему вы, говоря о познаниях Бродского, напирали на иностранную литературу ? А почему вы не говорите про нашу, отечественную литературу ?

Эткинд : Я говорил с ним как с переводчиком и поэтому интересовался его познаниями в обла-

сти американской, английской, польской литературы. Они велики, разнообразны и не поверхностны.

Смирнов (свидетель обвинения, начальник Дома Обороны) : Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Разум — оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он — умный, и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не пошел, потому что был единственный кормилец семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят, — талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И антисоветские строчки?

Бродский : Это неправда.

Смирнов : Ему надо изменить многие свои мысли. Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни. Это сиятельные друзья стали звонить во все колокола и требовать — ах, спасите молодого человека. А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению.

Бродский : Когда меня освободили, как единственного кормильца, отец болел, он лежал после инфаркта, а я работал и зарабатывал. А потом болел я. Откуда вы обо мне знаете, чтоб так обо мне говорить ?

Смирнов : Я познакомился с вашим личным дневником.

Бродский : На каком основании ?

Судья : Я снимаю этот вопрос.

Смирнов : Я читал его стихи.

Адвокат : Вот в деле оказались стихи, не принадлежащие Бродскому. А откуда вы знаете, что стихи, прочитанные вами, действительно его стихи ? Ведь вы говорите о стихах неопубликованных.

Смирнов : Знаю и все.

Судья : Свидетель Логунов.

Логунов (заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части) : С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался. Я сравниваю Бродского с Олегом Шестинским — Олег ездил с агитбригадой, он окончил Ленинградский государственный университет и университет в Софии. И еще Олег работал в шахте. Я хотел выступить в том плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому.

Адвокат: Надо же все-таки, чтобы свидетели говорили о фактах. А они...

Судья: Вы можете потом дать оценку свидетельским показаниям. Свидетель Денисов.

Денисов (трубоукладчик УНР-20): Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеки — нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом? Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу высказать мнение, что меня его трудовая деятельность, как рабочего, не удовлетворяет.

Судья: Свидетель Николаев.

Николаев (пенсионер): Я лично с Бродским не знаком. Я хочу сказать, что знаю о нем три года по тому тлетворному влиянию, которое он оказывает на своих сверстников. Я отец. Я на своем примере убедился, как тяжело иметь такого сына,

который не работает. Я у моего сына не однажды видел стихи Бродского. Поэму в 42-х главах и разрозненные стихи. Я знаю Бродского по делу Уманского. Есть пословица : скажи, кто твои друзья. Я Уманского знал лично. Он отъявленный антисоветчик. Слушая Бродского, я узнавал своего сына. Мой сын тоже говорил, что считает себя гением. Он, как Бродский, не хочет работать. Люди, подобные Бродскому и Уманскому, оказывают тлетворное влияние на своих сверстников. Я удивляюсь родителям Бродского. Они, видимо, подпевали ему. Они пели ему в унисон. По форме стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносили. Бродский не просто тунеядец. Он — воинствующий тунеядец. С людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады. (Аплодисменты).

Заседатель Тяглый : Вы считаете, что на вашего сына повлияли стихи Бродского ?

Николаев : Да.

Судья : Отрицательно повлияли ?

Николаев : Да.

Адвокат : Откуда вы знаете, что это стихи Бродского ?

Николаев : Там была папка, а на папке написано « Иосиф Бродский ».

Адвокат : Ваш сын был знаком с Уманским ?

Николаев : Да.

Адвокат : Почему же вы думаете, что это Бродский, а не Уманский тлетворно повлиял на вашего сына ?

Николаев : Бродский и иже с ним. У Бродского стихи позорные и антисоветские.

Бродский : Назовите мои антисоветские стихи. Скажите хоть строчку из них.

Судья : Цитировать не позволю.

Бродский : Но я же хочу знать, о каких стихах идет речь. Может, они не мои ?

Николаев : Если бы я знал, что буду выступать в суде, я бы сфотографировал и принес.

Судья : Свидетельница Ромашова.

Ромашова (преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухиной) : Я лично Бродского не знаю. Но его так называемая деятельность мне известна. Пушкин говорил, что талант — это прежде всего труд. А Бродский ? Разве он трудится ? Разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу ? Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэтом, так по-товарищески советовал ему учиться. Я, как секретарь партийной организации училища имени Мухиной, могу сказать, что он плохо влияет на молодежь.

Адвокат : Вы когда-нибудь видели Бродского ?

Ромашова : Никогда. Но так называемая деятельность Бродского позволяет мне судить о нем.

Судья : А факты вы можете какие-нибудь привести ?

Ромашова : Я, как воспитательница молодежи, знаю отзывы молодежи о стихах Бродского.

Адвокат : А сами вы знакомы со стихами Бродского ?

Ромашова: Знакома. Это у-ужас. Не считаю возможным их повторять. Они ужа-а-сны.

Судья: Свидетель Адмони. Если можно, ваш паспорт, поскольку фамилия необычная.

Адмони (профессор Института имени Герцена, лингвист, литературовед, переводчик): Когда я узнал, что Иосифа Бродского привлекают к суду по обвинению в тунеядстве, я счел своим долгом высказать перед судом и свое мнение. Я считаю, себя вправе сделать это в силу того, что 30 лет работаю с молодежью, как преподаватель вузов, в силу того, что я давно занимаюсь переводами.

С И. Бродским я почти не знаком. Мы здороваемся, но, кажется, не обменялись даже двумя фразами. Однако, в течение, примерно, последнего года или несколько больше я пристально слежу за его переводческими работами — по его выступлениям на переводческих вечерах, по публикациям. Потому что это переводы талантливые, яркие. И, на основании этих переводов из Галчинского, Фернандеса и других, я могу со всей ответственностью сказать, что они требовали чрезвычайно большой работы со стороны автора. Они свидетельствуют о большом мастерстве и культуре переводчика. А чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа. Даже если переводчик работает по подстрочнику, он должен, чтобы перевод был полноценным, составить себе представление о том языке, с которого он переводит, почувствовать строй этого языка, должен узнать жизнь и культуру народа и так далее. А Иосиф Бродский, кроме того, изу-

чил и сами языки. Поэтому для меня ясно, что он трудится — трудится напряженно и упорно. А когда я сегодня — только сегодня — узнал, что он вообще кончил только семь классов, то для меня стало ясно, что он должен был вести поистине гигантскую работу, чтобы приобрести такое мастерство и такую культуру, которыми он обладает. К работе поэта-переводчика относится то, что Маяковский говорил о работе поэта: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Тот указ, по которому привлечен к ответственности Бродский, направлен против тех, кто мало работает, а не против тех, кто мало зарабатывает. Тунеядцы это те, кто мало работают. Поэтому обвинение И. Бродского в тунеядстве является нелепостью. Нельзя обвинить в тунеядстве человека, который работает так, как И. Бродский — работает упорно, много — не думая о больших заработках, готовый ограничить себя самым необходимым, чтобы только совершенствоваться в своем искусстве и создавать полноценные художественные произведения.

Судья: Что вы говорили о том, что не надо судить тех, кто мало зарабатывает?

Адмони: Я говорил: суть указа в том, чтобы судить тех, кто мало работает, а не тех, кто мало зарабатывает.

Судья: Что же вы хотите этим сказать? А вы читали указ от 4 мая? Коммунизм создается только трудом миллионов.

Адмони: Всякий труд, полезный для общества, должен быть уважаем.

Заседатель Тяглый: Где Бродский читал свои

переводы и на каких иностранных языках он читал?

Адмони (улыбнувшись): Он читал по-русски. Он переводит с иностранного языка на русский.

Судья: Если вас спрашивает простой человек, вы должны ему объяснить, а не улыбаться.

Адмони: Я и объясняю, что он переводит с польского и сербского на русский.

Судья: Говорите суду, а не публике.

Адмони: Прошу простить меня. Это профессорская привычка — говорить, обращаясь к аудитории.

Судья: Свидетель Воеводин. Вы лично Бродского знаете?

Воеводин (член Союза писателей): Нет. Я только полгода работаю в Союзе. Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретят его стихи и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может.

В Союз писателей была передана папка стихов Бродского. В них три темы: первая тема — отрешенности от мира, вторая — порнографическая, третья тема — тема нелюбви к родине, к народу, где Бродский говорит о родине чужой. Погодите, сейчас вспомню... «однообразна русская толпа». Пусть эти безобразные стихи останутся на его совести. Поэта Бродского не существует. Переводчик, может, и есть, а поэта не существует. Я

абсолютно поддерживаю мнение товарища, который говорил о своем сыне, на которого Бродский влиял тлетворно. Бродский отрывает молодежь от труда, от мира и жизни. В этом большая общественная роль Бродского.

Судья : Обсуждали вы на комиссии талант Бродского ?

Воеводин : Было одно короткое собрание, на котором речь шла о Бродском. Но обсуждение не вылилось в широкую дискуссию. Повторяю, Бродский ограничивался полупохабными эпиграммами, а в Союз ходил редко. Мой друг, поэт Куклин, однажды громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского.

Адвокат : Справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия ?

Воеводин : С Эткиндо́м, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали.

Адвокат : А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно ?

Воеводин : Нет, она известна не всем членам комиссии.

Бродский : А каким образом у вас оказались мои стихи и мой дневник ?

Судья : Я этот вопрос снимаю. Гражданин Бродский, вы работали от случая к случаю. Почему ?

Бродский : Я уже говорил : я работал все время. Штатно, а потом писал стихи. (С отчаянием). Это работа — писать стихи.

Судья : Но ваш заработок очень невелик. Вы говорите, за год получаете 250 рублей, а по справкам, которые представила милиция — сто рублей.

Адвокат : На предыдущем суде было постановлено, чтобы милиция проверила справки о зарботке, а это не было сделано.

Судья : Вот в деле есть договор, который прислали из издательства. Так ведь это просто бумажка, никем не подписанная.

(Из публики посылают судье записку о том, что договоры сначала подписывает автор, а потом руководители издательства.)

Судья : Прошу мне больше записок не посылать.

Сорокин (общественный обвинитель) : Наш великий народ строит коммунизм. В советском человеке развивается замечательное качество — наслаждение общественно-полезным трудом. Прощает только то общество, где нет безделья. Бродский далек от патриотизма. Он забыл главный принцип — кто не работает, тот не ест. А Бродский на протяжении многих лет ведет жизнь тунеядца. В 1956 году он бросил школу и поступил на завод. Ему было 15 лет. В том же году — увольняется. (Повторяет послужной список и перерывы в штатной работе снова объясняет бездельем. Будто и не звучали все объяснения свидетелей защиты о том, что литературный труд — тоже работа.)

Мы проверили, что Бродский за одну работу получил только 37 рублей, а он говорит — 150 рублей.

Бродский : Это аванс. Это только аванс. Часть того, что я потом получу.

Судья : Молчите, Бродский.

Сорокин : Там, где Бродский работал, он всех

возмущал своей недисциплинированностью и нежеланием работать. Статья в «Вечернем Ленинграде» вызвала большой отклик. Особенно много писем поступило от молодежи. Она резко осудила поведение Бродского. (Читает письма). Молодежь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан. У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына на консультацию в диспансер и он приносит оттуда справку, которую принял легковерный военкомат. Еще до вызова в военкомат Бродский пишет своему другу Шахматову, ныне осужденному: «Предстоит свидание с комитетом обороны. Твой стол станет надежным убежищем моих ямбов».

Он принадлежал к компании, которая сатанинским хохотом встречала слово «труд» и с почтением слушала своего фюрера Уманского. Бродского объединяет с ним ненависть к труду и советской литературе. Особенным успехом пользуется здесь набор порнографических слов и понятий. Шахматова Бродский называл сэром. Не иначе. Шахматов был осужден. Вот из какого зловонного местечка появился Бродский. Говорят об одаренности Бродского. Но кто это говорит? Люди, подобные Бродскому и Шахматову.

Выкрик из зала: Кто? Чуковский и Маршак подобны Шахматову?

(Дружинники выводят кричавшего).

Сорокин: Бродского защищают прощелыги, туняйцы, мокрицы и жучки. Бродский не поэт, а человек, пытающийся писать стишки. Он забыл,

что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности : станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Надо выселить его из города-героя. Он — тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Почитатели Бродского брызжут слюной. А Некрасов сказал :

*Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.*

Мы сегодня судим не поэта, а тунеядца. Почему тут защищали человека, ненавидящего свою родину ? Надо проверить моральный облик тех, кто его защищал. Он писал в своих стихах : « Люблю я родину чужую ». В его дневниках есть запись : « Я уже давно думал насчет выхода за красную черту. В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли ». Он писал еще так : « Стокгольмская ратуша внушает мне больше уважения, чем пражский Кремль ». Маркса он называет так : « Старый чревоугодник, обрамленный венком из еловых шишек ». В одном письме он пишет : « Плевать я хотел на Москву ».

Вот чего стоит Бродский и все, кто его защищают.

(Затем цитируется письмо одной девушки, которая с неуважением пишет о Ленине. Какое отношение ее письмо имеет к Бродскому, совершенно нам неясно. Оно не им написано и не ему адресовано).

В эту минуту судья обращается ко мне :

— Прекратите записывать.

Я : Товарищ судья, я прошу разрешить мне записывать.

Судья : Нет.

Я : Я журналист, член Союза писателей, я

пишу о воспитании молодежи, я прошу разрешить мне записывать.

Судья : Я не знаю, что вы там записываете. Прекратите.

Из публики : Отнять у нее записи.

Сорокин продолжает свою речь, потом говорит защитница, речь которой я могу изложить только тезисно, поскольку писать мне запретили.

Тезисы речи защитницы :

Общественный обвинитель использовал материалы, которых в деле нет, которые в ходе дела возникают впервые и по которым Бродский не допрашивался и объяснений не давал.

Подлинность материалов из заслушанного в 1961 году специального дела нами не проверена и то, что общественный обвинитель цитировал, мы не можем проверить. Если речь идет о дневнике Бродского, то он относится к 1956 году. Это юношеский дневник. Общественный обвинитель приводит, как мнение общественности, письма читателей в редакцию газеты «Вечерний Ленинград». Авторы писем Бродского не знают, стихов его не читали и судят по тенденциозной и во многом неверной по фактам газетной статье. Общественный обвинитель оскорбляет не только Бродского : « хам », « тунядец », « антисоветский элемент », но и лиц, вступивших за него : Маршака и Чуковского, уважаемых свидетелей. Вывод : не располагая объективными доказательствами, общественный обвинитель пользуется недозволенными приемами.

Чем располагает обвинение ?

а) Справка о трудовой деятельности с 1956 по

1962 год. В 1956 году Бродскому было 16 лет; он мог вообще учиться и быть по закону на иждивении родителей до 18 лет. Частая смена работ — влияние психопатических черт характера и неумение сразу найти свое место в жизни. Перерывы, в частности, объясняются сезонной работой в экспедициях. Нет причины до 1962 года говорить об уклонении от труда.

(Адвокат говорит о своем уважении к заседателям, но сожалеет, что среди заседателей нет человека, который был бы компетентен в вопросах литературного труда. Когда обвиняют несовершеннолетнего — непременно есть заседатель педагог, если на скамье подсудимых врач, среди заседателей необходим врач. Почему же этот справедливый и разумный обычай забывается, когда речь идет о литературе?)

б) Штатно Бродский не работает с 1962 года. Однако, представленные договоры с издательством от XI.1962 г. и X.1963 г., справка студии телевидения, справка журнала «Костер», вышедшая книга переводов югославских поэтов свидетельствуют о творческой работе. Качество этой работы. Есть справка, подписанная Е. Воеводиным, резко отрицательная, с недопустимыми обвинениями в антисоветской деятельности, справка, напоминающая документы худших времен культа личности. Выяснилось, что справка эта на Комиссии не обсуждалась, членам Комиссии неизвестна, является собственным мнением прозаика Воеводина. Есть отзыв таких людей, лучших знатоков, мастеров перевода, как Маршак и Чуковский. Свидетели В. Адмони — крупный литературовед, лингвист, переводчик, Е. Эткинд —

знаток переводческой литературы, член бюро секции переводчиков и член Комиссии по работе с молодыми авторами — все они высоко оценивают работу Бродского и говорят о большой затрате труда, требуемого для издания написанного им за 1963 год. Вывод: справка Воеводина не может опровергнуть мнение этих лиц.

в) Ни один из свидетелей обвинения Бродского не знает, стихов его не читал; свидетели обвинения дают показания на основании каких-то непонятным путем полученных и непроверенных документов и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи.

Другими материалами обвинение не располагает.

Суд должен исключить из рассмотрения:

1. Материалы специального дела, рассмотренного в 1961 году, по которому в отношении Бродского было вынесено постановление — дело прекратить.

Если бы Бродский тогда или позднее совершил антисоветское преступление, написал бы антисоветские стихи, — это было бы предметом следствия органов госбезопасности.

Бродский, действительно, был знаком с Шахматовым и Уманским и находился под их влиянием. Но, к счастью, он давно от этого влияния освободился. Между тем, общественный обвинитель зачитывал записи тех лет, преподнося их вне времени и пространства, чем, естественно, вызвал гнев у публики по адресу Бродского. Общественный обвинитель создал впечатление, что Бродский и сейчас придерживается своих давнишних взглядов, что совершенно неверно. Многие моло-

дые люди, входившие в компанию Уманского, благодаря вмешательству разумных, взрослых людей, были возвращены к нормальной жизни. То же самое происходило в последние два года с Бродским. Он стал много и плодотворно работать. Но тут его арестовали.

2. Вопрос о качестве стихов самого Бродского.

Мы еще не знаем, какие из приложенных к делу стихов принадлежат Бродскому, так как из его заявления видно, что там есть ряд стихов, ему не принадлежащих.

Для того, чтобы судить, упаднические это стихи, пессимистические или лирические, должна быть авторитетная литературоведческая экспертиза, и этот вопрос ни суд, ни стороны сами разрешить не смогут.

Наша задача — установить, является ли Бродский тунеядцем, живущим на нетрудовые доходы, ведущим паразитический образ жизни.

Бродский — поэт-переводчик, вкладывающий свой труд по переводу поэтов братских республик, стран народной демократии в дело борьбы за мир. Он не пьяница, не аморальный человек, не стяжатель. Его упрекают в том, что он мало получал гонорара, следовательно и не работал. (Адвокат дает справку о специфике литературного труда, порядке оплаты. Говорит об огромной затрате труда при переводах, о необходимости изучения иностранных языков, творчества переводимых поэтов. О том, что не все представленные работы принимаются и оплачиваются.)

Система авансов. Суммы, фигурирующие в деле, неточны. По заявлению Бродского, их больше. Надо было бы это проверить. Суммы

незначительные. На что жил Бродский? Бродский жил с родителями, которые на время становления его, как поэта, поддерживали его.

Никаких нетрудовых источников существования у него не было. Жил скудно, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом.

Выводы :

Не установлена ответственность Бродского. Бродский не тунеядец, и меры административного воздействия применять к нему нельзя.

Значение указа от 4/II.1961 года очень велико. Он — оружие очистки города от действительных тунеядцев и паразитов. Неосновательное привлечение дискредитирует указ.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 10/III.1963 года обязывает суд критически относиться к представленным материалам, не допускать осуждения тех, кто работает, соблюдать права привлеченных на то, чтобы ознакомиться с делом и представить доказательства своей невиновности.

Бродский был необосновано задержан с 13/II. 1964 года и был лишен возможности представить доказательства своей невиновности.

Однако, и представленных доказательств того, что было сказано на суде, достаточно, чтобы сделать вывод о том, что Бродский не тунеядец.

(Суд удаляется на совещание. Объявляется перерыв).

Суд возвращается, и судья зачитывает приговор :

Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству

материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГБ в 1961 году и в 1962 — милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет указ от 4/V.1961 года: сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда.

Дружинники (проходя мимо защитницы): Что? Проиграли дело, товарищ адвокат?

Записала Ф. Вигдорова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

*Обсуждение рукописи «Материя стиха»
в Ленинградском отделении Союза писателей
5 июня 1970 года*

В.М. Жирмунский. Читал рукопись Е.Г. Эткинда два раза и буду читать еще. Это работа большого масштаба, работа, которая ставит вопросы стиховедения и стилистики на очень конкретных примерах. В книге Эткинда, как это часто бывает в такого рода книгах, нет учебной системы; нельзя сказать, что она посвящена и вопросам эстетики. В ней решается несколько комплексных проблем на основе интерпретации стихотворений.

Эткинд — мастер интерпретации. Я знал только одного такого мастера — это был Г.А. Гуковский. Ни Эйхенбаум, ни Тынянов этим не занимались. Принцип содержательной формы, которым руководствуется автор, очень плодотворен. Для анализа привлекаются и языкознание, и стилистика, и стиховедение. В книге преодолевается школьный формализм и лингвистическая стилистика. Лингвистические факты везде рассматриваются функционально. Р. Якобсон дает не интерпретацию стихотворений, а скелет лингвистических форм, хотя, анализируя стихи Пушкина, надо говорить не о том, как он дает параллелизм форм, а о том, как он избегает этого параллелизма, как он варьирует их, как придает им функциональное эстетическое значение. В книге всё рассмотрено на основе понятия о единстве стиля, хотя на этом не делается ударения. Очень интересен репертуар примеров. Автор нашел такие стихи, такие примеры, до которых не докопались лучшие знатоки поэзии. Например, стихотворение Вяземского «Метель». Удачно выбраны «Балет» Некрасова, «Полководец» Пушкина, десять сражений — все очень интересно. Эткинд хорошо владеет приемами сравнительного анализа. Его анализы проведены очень убедительно. При анализе он искусно избегает школьной терминологии. Вообще книга получилась замечательная. Она будет большим подарком для любителей поэзии.

Л.Я. Гинзбург. Мне хотелось бы видеть не рукопись книги, а печатный ее экземпляр. Это — нужная, необходимая для читателя книга, написанная с тонким пониманием поэзии. Она интересна, читается с увлечением, поднимает важные,

центральные, боевые вопросы : о форме и содержании, специфике поэзии, о контексте стиха, о литературных направлениях. Построена на интерпретациях целостных стихотворений, охватывает большой круг произведений от Хераскова и до Пастернака, Цветаевой... Очень интересно написано о Лермонтове. Разумеется, не все в ней бесспорно, но это и естественно для книги со столь обширным замыслом.

Т.Ю. Хмельницкая. Книгу Е.Г. Эткинда нельзя назвать литературоведением или стиховедением в тесном смысле слова, хотя это и стиховедческая и литературоведческая книга. Важно, что эта книга популярная, для широкого читателя, который, прочтя работу Эткинда, пойдет самостоятельным путем анализа. Это — книга эссе, книга популярных очерков о стихе. Очень хорошо, что поставлен вопрос об ассоциациях в стихе. Современный стих без многослойных ассоциаций представить невозможно. Есть спорное, например, отдельные положения главы о поэзии и музыке. Символисты стремились к симфонизму. Но «Балет» Некрасова приводит нас не к музыке, а скорее к прозе. Некоторые исторические акценты сделали бы книгу более убедительной. Но, повторяю, книга интересная, нужная, читается, как роман.

В.Я. Бухштаб. Работа очень талантливая, свежая, хорошо читается. Она может стать популярной книгой и принести большую пользу, потому что учит целостному анализу стихотворения.

Б.О.Костелянец. Прекрасно понимаю В.М. Жирмунского, который читал книгу дважды. Книга очень талантливая, очень интересная, я читал

ее не останавливаясь. Я тоже был на лекциях Г.А. Гуковского, помню, как он анализировал и интерпретировал стихи. Но время идет вперед. И теперь анализ делается по-новому. При всей научности, книга Эткинда написана очень популярно. В стихотворном лабиринте, который разворачивает перед читателем автор, много ценного, нового и интересного. Самое ценное в нем — это интерпретация. Я даже не уверен, что это интерпретация. Это анализ, анализ точный. Здесь есть своя точность, опирающаяся на стиховедение. Она способна опровергнуть любительские интерпретации. Я уверен, что многие работы Эткинда станут хрестоматийными. Хотелось бы, чтобы эта книга скорей дошла до читателя, это принесло бы ему большую пользу.

В. Шор. Я знаю методику Эткинда, основанную на учете каждого формального элемента стихотворения. В этом комплексном анализе он не имеет соперников. Его интерпретации дают ощущение трехмерности стихотворения, обращают внимание на то, что это прежде всего искусство слова — носителя смыслов, открывают интеллектуальную глубину искусства.

А.В. Македонов. Книга Е. Эткинда рассматривает важные и еще мало разработанные вопросы современного стиховедения. Понятие «Материя стиха» употребляется Е. Эткиндром примерно в том смысле, как «стихотворный язык» Ю. Тыняновым... Но работа Е. Эткинда сделана с других, не формалистических, а вполне современных методологических позиций, учитывает достижения после Тынянова, в частности и многолетние наблюдения над стихом самого Эткинда. В целом

это совершенно оригинальное исследование, изобилующее новыми фактами и мыслями.

В методологическом отношении особенно важной и плодотворной чертой работы Эткинда является последовательное и углубленное осуществление принципа содержательности формы, причем именно специфической стихотворной формы... Е. Эткинд написал *очень интересную*, местами просто блестящую, и *очень нужную* книгу, которая несомненно будет одной из настольных книг и у специалистов стиховедов, и у читателей — любителей поэзии. Желательно *скорейшее опубликование* книги Эткинда.

Г.М. Цурикова. Книга хорошо читается. Но кроме занимательности, есть еще в ней точность, движение острой аналитической мысли, понимание стихотворения как сложного единства. Это единство раскрывается путем целостного анализа формы. Такого рода книги очень нужны и поучительны. Хотелось бы, чтобы она была скорей издана.

А. Урбан. Важно, что в книге Эткинда «материя стиха» не разрезана на лоскутки. При анализе формы стиха, разных его элементов всегда держится на примете его смысл. И смысл этот раскрывается перед читателем не отдельно, а в самой форме, в самой структуре и иначе не мыслится. В результате, книга «Материя стиха» трактует не только вопросы его номенклатуры, не собственно вопросы материи. В каждом случае мы получаем образ стихотворения, отражающий мир поэта. Избранный метод анализа дает возможность прикоснуться к этому миру, вступить на почву его сложных законов, непосредственно

связанных с жизнью творческой личности. Это очень серьезное достижение. Дальнейшее совершенствование методики анализа поможет выработать научные, бесспорные и точные приемы, помогающие проникнуть в психологию творчества через форму самого стиха. Причина занимательности книги — наличие системы, наличие движения от одного уровня к другому, развернутого в своего рода сюжет. Каждая интерпретация стихотворения может рассматриваться как своего рода новелла, играющая, однако, важную роль в общей системе.

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

*Обсуждение рукописи « Материя стиха »
в секторе стилистики и поэтики Института
Русского языка Академии Наук СССР*

Выступали профессор Виктор Давидович Левин, руководитель сектора и виднейший специалист по русской исторической стилистике, Александра Дмитриевна Григорьева, автор книги « Поэтическая фразеология Пушкина », Юрий Иосифович Левин, автор работ о поэтике Мандельштама и о русской метафоре, многие другие. В официальном отчете сказано :

« Все выступавшие дали исключительно высокую оценку обсуждаемой работы, говорили о ее важности и актуальности. Было отмечено, что работа отличается сочетанием строгой научности с изяществом изложения, что делает ее одновременно и глубоким научным исследованием, и книгой для широкого круга читателей.

Отмечалась чрезвычайно удачная композиция книги, чередование в ней конкретных анализов поэтических текстов и важных теоретических обобщений...

...Сектор выразил пожелание скорейшего издания талантливой, яркой книги Е.Г. Эткинда, отметив при этом, что эта книга явится не только важным научным исследованием, но и исключительно полезным пособием для филологических факультетов университетов и педагогических институтов ».

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4

Уважаемый Георгий Филимонович !

Около месяца назад я получил от руководимого Вами издательства часть рукописи книги « Материя стиха », написанной мною на основании заказа « Советского писателя » (см. письмо за подписью главного редактора М.М. Смирнова от 27.VI.1967 г.), причем в эту странную бандероль не было даже вложено никакого сопроводительного документа. Не понимая смысла этой акции и желая, чтобы моя рукопись воссоединилась в единое целое, возвращаю Вам присланный мне фрагмент рукописи моей книги, причем выражаю надежду, что Издательство, уже продержавшее у себя мою работу в течение более чем 7 (семь) ! месяцев, наконец, возможность эту рукопись рассмотреть и высказать о ней свое суждение.

Член Союза писателей СССР

Е.Г. Эткинд

2 марта 1971

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РЕДАКЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение

22 июля 1971 г.

Уважаемый Ефим Григорьевич,

Мы получили Ваше письмо от 6 июля 1971 года. Нам кажется по меньшей мере странным Ваше заявление в этом письме, что Вы рассматриваете рецензию Ю. Андреева, как выражение мнения редакции о предложенной рукописи. С рецензией Ю. Андреева мы познакомили Вас в предварительном порядке, хоть по установленному положению Вы должны были в первую очередь познакомиться с редакционным заключением.

Что же касается рецензии Ю. Андреева, то в ней содержатся весьма серьезные, глубоко принципиальные критические замечания, требующие коренного пересмотра концепции Вашей книги. А те положительные суждения, которые присутствуют в рецензии, больше всего относятся к возможностям автора, как ученого вообще, нежели к конкретной оценке работы «Материя стиха».

Утверждение же Ю. Андреева, что речь идет только лишь об улучшении рукописи, не соответствует характеру его замечаний о коренных ее недостатках.

Издательство «Советский писатель» призвано издавать произведения, посвященные современности, современному литературному процессу, произведения, решающие актуальные проблемы вре-

мени, которые стоят перед нашей литературой и вытекают из решений XXIV съезда КПСС.

К сожалению, Ваша монография не отвечает этим высоким требованиям и не может вызвать удовлетворительного отношения к ней со стороны издательства.

Неприемлемым в Вашем труде является то, что современная литература, в частности поэзия, находится вне поля зрения автора. И это в книге, посвященной жанру стиха, в книге, призванной научить нашего современника пониманию поэзии.

В своем анализе Вы исходите из субъективного, личного восприятия поэтических ценностей, отдавая предпочтение страдальческим стихам Цветаевой и Мандельштама, проходя по сути дела мимо крупных явлений русской советской поэзии. Предвзятый и односторонний подход в выборе художественного материала лишает Вашу монографию главного — той научной убедительности, которая определяет ценность любого литературоведческого труда.

Совершенно справедливо указывает Ю. Андреев, что в Вашей работе из общего разговора о содержании поэзии в подавляющем большинстве случаев выпали такие элементы, как стремление поэта осмыслить не просто некие общечеловеческие категории, но категории социальные, политические, идеологические, национальные, что в книге ослаблена важнейшая тема — партийность, социальная страстность поэзии, ее гражданственность. Получается, что поэзия — абсолютная величина, вне зависимости от своего общественного назначения.

Имея в виду и другие существенные недочеты

(см. рецензию Ю. Андреева, пятый пункт), мы считаем, что все они — результат крупных ошибочных положений методологического характера, которые легли в основание рукописи.

Из всего вышеизложенного совершенно ясно, что издательство не может принять Вашу работу к изданию и, следовательно, отклоняет ее.

Извините, что это заключение несколько задержалось.

С уважением

Директор Ленинградского отделения издательства « Советский писатель »

Г. Кондрашов

Главный редактор

А. Чепуров

П Р И Л О Ж Е Н И Е 6

Главному редактору издательства

« Советский писатель »

Валентине Михайловне Карповой

Уважаемая Валентина Михайловна,

подтверждаю получение Вашего письма от 12 декабря 1972 года, а также приложенной к нему рецензии Л. И. Тимофеева на мою рукопись « Материя стиха ». Прочитав оба документа, считаю необходимым сказать Вам следующее :

1. Рецензия Л.И. Тимофеева беспрецедентна. За мою довольно уже долгую литературную и научную жизнь я впервые сталкиваюсь с подобным отзывом, который отличается : а) полной произвольностью суждений, отсутствием каких

бы то ни было доказательств или хотя бы попыток привести таковые; б) ошибочностью всех без единого исключения фактических ссылок или упреков — они опираются либо на недочитанную фразу из рукописи, либо на извращенное толкование моих мыслей и формулировок; в) раздраженностью, даже злобностью тона, какого, как правило, ученые и литераторы не позволяют себе, оценивая работы друг друга.

Я постарался изложить возражения на отзыв Л.И. Тимофеева, и прилагаю к настоящему письму свой ответ. Обращаю Ваше внимание, Валентина Михайловна, на то, что я не оставляю без ответа и мотивированного опровержения ни одного пункта рецензии, ни одного даже попутно брошенного упрека Л.И. Тимофеева.

2. В своем письме от 12 декабря Вы пишете: «Существеннейшие критические замечания, высказываемые Л.И. Тимофеевым, во многом совпадают с суждениями Ю. Андреева, рецензировавшего рукопись по просьбе Ленинградского Отделения издательства».

Понимаю, что Вам, как одному из руководителей издательства, хотелось бы, чтобы рецензии совпадали. Однако Ваше утверждение ни на чем не основано — недаром Вы ведь и не приводите доказательств. «...во многом совпадают» — пишете Вы. В чем же?

1) Главное возражение Л.И. Тимофеева формулировано так:

«Книга... последовательно антиисторична... Хотя бы минимум историчности в обращении с историко-литературным материалом в книге не соблюден».

В рецензии Ю.А. Андреева читаем :

« Свою методологию автор применяет с *большим чувством историзма*, понимая, что поэзия, как все на свете, со временем меняется ».

2. Л.И. Тимофеев :

« Эффектное заявление, что форма есть содержание, на самом деле *сводит содержание к форме и отменяет понятие содержательности формы*, примата содержания, из которого мы исходим, говоря о содержательности формы ».

Ю.А. Андреев :

« Высокая квалификация, эрудиция и одаренность автора поставлены на службу утверждению и реальному доказательству того важного положения, что в подлинной поэзии *форма — существенна* и что сущность поэзии не проявляется нигде и никак вне элементов формы » и, ниже : « Автор выступает искусным и прекрасно вооруженным бойцом в защиту содержательной поэзии ».

Как похожи оценки обоих рецензентов !

3. Л.И. Тимофеев :

« Нет в книге... систематического теоретического стержня, постановка проблем совершенно произвольна ».

Ю.А. Андреев :

« *Методология* автора, проводимая им *последовательно, позволяет неопровержимо*, на основании аргументов, а не восклицаний, *опровергать как приверженцев формального подхода к поэзии*, так и тех, кто обедняет возможности поэзии, сводя ее роль лишь к иллюстрации уже известных положений ».

Суждения обоих рецензентов совпадают, неправда ли?

4. Л.И. Тимофеев :

«...никак не аргументированная теоретическая платформа позволяет автору толковать с абсолютной произвольностью любые тексты» и далее — об «авторской манере субъективной интерпретации текста».

Ю.А. Андреев :

Автор — специалист, владеющий «анализом стихотворных произведений на таком уровне, которого до сих пор удавалось достичь весьма немногим исследователям в отечественном и зарубежном литературоведении». «Обилие поэтического материала, замечательная разноаспектность его анализа, убедительность общего вывода о неисчерпаемом богатстве поэтического познания мира составляют важнейшую особенность монографии Е. Эткинда».

Неправда ли, позиции рецензентов близки?

Оставим иронию. Уважаемая Валентина Михайловна, Вы зря написали фразу о том, что «существеннейшие критические замечания» Л.И. Тимофеева «совпадают с суждениями Ю.А. Андреева». Не только они не совпадают, но прямо противоположны этим суждениям. Вы ведь сами подытожили в своем письме рецензию Л.И. Тимофеева. Вы пишете: «...Отсутствие строго продуманной методологии, антиисторизм подхода к явлениям поэзии, крайне субъективный характер интерпретации поэтических текстов — не дают оснований для пересмотра решения Ленин-

градского отделения издательства, отклонившего рукопись ».

Валентина Михайловна, Вы ошибаетесь. В рецензии Ю.А. Андреева, на которую Вы ссылаетесь, говорится не об отсутствии, а о наличии « строго продуманной методологии », не об антиисторизме, а о « большом чувстве историзма », не о « субъективном характере интерпретаций », а о таком уровне анализа, « которого до сих пор удавалось достичь весьма немногим исследователям в отечественном и зарубежном литературоведении ».

Значит, Вы все же *пересматриваете* решение Ленинградского отделения издательства, отмечая все доводы ленинградского рецензента и заменяя их совершенно другими. Вы это делаете, заявляя, что не видите « оснований для пересмотра »...

Итак, издательство сначала предъявляет автору одну группу обвинений, а затем, отменив первую, предъявляет другую группу иных обвинений, ничего общего с первыми не имеющих.

Складывается впечатление, что издательство хочет во что бы то ни стало уничтожить рукопись, расправиться с нею; издательству безразлична аргументация : пусть аргументы даже противоречат друг другу, лишь бы они помогали отвергнуть рукопись нежелательного автора.

Вам, Валентина Михайловна, хочется придать Вашему решению облик внешнего благообразия. Потому Вы пытаетесь изобразить дело так, будто возражения рецензентов совпадают, будто обе редакции « Советского писателя » единодушны... Настоящее письмо я написал для того, чтобы разбить эту видимость благообразия : рецензенты,

как мы видим, противоречат друг другу, московская и ленинградская редакции издательства — тоже.

Валентина Михайловна, Вы вернули мне рукопись, давая понять, что вопрос о моей книге «Материя стиха» считается закрытым. Позволяю себе не согласиться с Вами. Рецензия Л.И. Тимофеева (с которой Вы соглашаетесь) столь очевидно недобросовестна, тенденциозна и несправедлива, Ваше заключение о сходстве двух рецензий столь очевидно противоречит фактам, что я, разумеется, буду продолжать борьбу за издание моей книги.

22 декабря 1972

Е. Эткинд

П Р И Л О Ж Е Н И Е 7

Правлению

Ленинградской писательской организации

Правлению Союза писателей РСФСР

25 апреля секретариат ленинградской писательской организации при участии посторонних лиц принял решение об исключении меня из Союза писателей; десять дней спустя это решение было подтверждено секретариатом СП РСФСР. Два месяца спустя меня поставили в известность о принятом решении.

Ни до, ни после заседания секретариата ни один из руководителей Союза не удостоил меня беседой. Ни один из них меня не принял для разъяснения происшедшего. Ни один не спросил — согласен ли я с предъявленными мне обвине-

ниями, или, говоря на юридическом языке, признаю ли я себя виновным.

Заседание 25 апреля происходило в моем отсутствии — я был болен, о чем своевременно известил секретариат, прося перенести на несколько дней заседание. Почему-то секретариат очень спешил: видимо, ему не терпелось свершить надо мной обряд гражданской казни. Он так спешил, что даже пренебрег столь малой условностью: отсутствием обвиняемого. Уголовные суды не позволяют себе такого произвола — даже когда они имеют дело с убийцами или поджигателями. Творческий союз, к которому я принадлежу без малого 20 лет и в системе которого я вел постоянную активную, отнимавшую много времени и сил, требовавшую большой энергии работу, этот творческий союз допустил произвол, казавшийся мне невысказанным: разрешил своему секретариату исключить старого члена союза в его отсутствие, во время его болезни, не выслушав его оправданий, или, точнее, даже не предъявив ему обвинений.

Акцию, совершенную секретариатом 25 апреля 1974 года, считаю незаконной. Решительно требую рассмотрения моего дела на заседании Правления. Настаиваю на том, что решение секретариата принято на основании неподтвержденных, недоказанных и, более того, недоказуемых обвинений. Моя литературная и гражданская судьба перечеркнута на основании двух-трех фраз из частных писем, которые вообще не могут быть предметом публичного рассмотрения. Никто не имеет права устраивать общественное судилище, имея в виду даже не поступки человека, а его

мысли, — да и то произвольно реконструированные; исходя из нескольких фраз, не предназначенных для печати. Все прочее, что было нагромождено в обвинениях (мне не предъявленных), все прочее — чистейшая выдумка, которую опровергнуть ничего не стоит.

Повторяю: со всей решительностью настаиваю на обсуждении моего дела Правлением. Решение секретариата, принятое в моем отсутствии и без предварительного даже разговора со мной, считаю незаконным.

Доктор филологических наук
профессор

Е.Г. Эткинд

4 июля 1974 г.

Ленинград

О Г Л А В Л Е Н И Е

Вступление	7
Глава первая. НАКАНУНЕ	19
<i>Отступление о велосипедистах и новых феодалах</i>	21
<i>Отступление о режиссуре</i>	30
Глава вторая. ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ.	
<i>Драма в четырех действиях</i>	
Действие первое	44
<i>Отступление о гласности</i>	46
Действие второе	74
<i>Отступление о старом профессоре</i>	83
Действие третье	92
<i>Отступление о 1949 годе</i>	102
Действие четвертое	109
Глава третья. ПРАВОСУДИЕ	140
<i>Отступление о Пушкине в сослагательном наклонении</i>	164
<i>Отступление о взбесившейся форме</i>	172
Глава четвертая. «ДЕЛО О ФРАЗЕ»	182
<i>Горькое отступление</i>	193
<i>Лингвистическое отступление: «проработка»</i>	209
<i>Отступление о том, как жить не по лжи</i>	241
<i>«Дело о фразе». Окончание</i>	257
<i>Отступление о миллипутах и Гулливере</i>	259
Глава пятая. «РОМАН ОДНОГО РОМАНА»	270
<i>Отступление о прогрессе и законе «обратного развития»</i>	296
Глава шестая. «РАЗГОВОР О СТИХАХ»	315
<i>Отступление о достоинстве и свободе выбора</i>	319
<i>Отступление о людоедах</i>	333

Глава седьмая. ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ	349
<i>Отступление на тему: «Кому это нужно?»</i>	366
Глава восьмая. БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВО- ВАНИЕ	374
1. Внутри	374
<i>Отступление о революционном право- сознании</i>	390
<i>Отступление лирическое: Дом писателя имени Маяковского</i>	396
<i>Отступление о государственной безо- пасности</i>	403
2. Во-вне	409
<i>Отступление об эмиграции</i>	420

ПРИЛОЖЕНИЯ

От автора	437
1. Ф. Вигдорова. Запись второго суда над И. Бродским 13 марта 1964 года	438
2. Обсуждение рукописи «Материя стиха» в Союзе писателей 5 июня 1970 года	467
3. Обсуждение рукописи «Материя стиха» в Институте Русского языка Академии Наук СССР	472
4. Письмо автора Г. Ф. Кондрашеву от 2 марта 1971	473
5. Редакционное заключение издательства «Советский писатель» о рукописи «Материя стиха» 22 июля 1971 г.	474
6. Письмо автора В.М. Карповой от 22 де- кабря 1972 г.	476
7. Письмо автора Правлению Ленинград- ской писательской организации от 4 июля 1974 года	481

P.I.U.F. 3, rue du Sabot, 75006 — PARIS